



ЮНОСТЬ

6

1964

Передовая	3
Стихи: * Лаз ТИМОФЕЕВ. Времена года. Ночной полет. * Вячеслав ШАПОШНИКОВ. Багульник. Журавль. Знакомому мальчишке. * Николай РУБЦОВ. «Я весь в мазуте, весь в тавоте...». «Я забыл, как лошади запрягают...». «Загородил мою дорогу обоз...». Улетели листья. * Николай НОВИКОВ. Районные клубы. «С чемоданом худым...». Уют. * Надежда МАЛЬЦЕВА. «Отдайте мне тайны...». Восна. Телефоню. «Не тронь, ты мнешь мои цветы!...». «Люди проходят передо мной...»	4—8
Геннадий БОКАРЕВ. Мы. Повесть	9
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Дом с башенной. Рассказ	47
Алексей КОРОБОВ. Маяк. Рассказ	58
Стихи: * Валентина ТВОРОВОГА. Письмо. Дождь. Паленгские стихи. «Быть матросом чертовски трудно!...» * Александр ЮДАХИН. Боре Камышеву. * Алла АХУНДОВА. «Я верю в предсказания птиц...». «Если листья—зеленые флаги...» Зимняя сказка. * Сергей ШОПЫРЕВ. Исполница. «Ненастье было этой ночью...» * Леонид ГУБАНОВ. Художник.	65—68
Нинель КРАСКО. Заочники	69
Александр АРОНОВ. Сирень. Стихи.	72
Наука и техника	
Роберт ВИТОЛНИК. Серебристые облака	73
Тамара ЮЛЕВА. В поисках земной крови	76
К нашей вкладке	
Е. КИБРИК. Пользуясь поводом...	81
Сильные духом	
«...Это моя жизнь...» Письма и записки Георгия Савченко	83
Первая книга	86—87
Почта «Юности»	
Валерий Г. Человек в беде	88
Заметки и корреспонденции	
* Генрих ПОЖИДАЕВ. Письмо с Берингова моря. * А. СТЕПАНЯН. В раскаленной печи. * Илья СУСЛОВ. Путешествие в страну «Поззия». * Ю. МАКСИМОВ. Интервью с Натасей Ростовской. * Попутного ветра!	89—96
* Встречи с читателями.	97
Л. ПЛЕШАКОВ. Последний дом моряка...	
Спорт	
Степан СПАНДАРЯН. «Молодые ветераны»	101
Шахматы (Под редакцией В. Васильева)	
А. ТИШКОВ. И в шахматах есть композиторы...	104
«Пылесос». (Странички сатиры и юмора. Под редакцией Арк. Арканова).	
* Герман ДРОБИЗ. Строки любви. Железные нервы. * Б. ПУРГАЛИН. Критика. * Ф. САМОЙЛОВИЧ. Из народных устешек... * Владимир и Михаил КАШАЕВЫ. Литературные пародии	106—109
На стендах «Юности»	
Лев КАССИЛЬ. Воображения Нади Рушвозой	110

На обложке — рисунок художника Ю. ПЕТРОВА.

Художественный редактор
Ю. Цишевский

Технический редактор
Л. Зябкина

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83.
Рукописи не возвращаются.

А 06686. Подп. к печ. 1/VI 1984 г. Тираж 1 000 000 экз. Ил. № 1100.
Заказ № 1146. Формат бумаги 84х108/16. Бум. л. 3.63. Печ. л. 11.89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Д

орогие друзья!

Вы читаете необычный и вместе с тем традиционный номер «Юности». Он почти целиком сделан руками молодых прозаиков, поэтов, публицистов, художников, впервые выступающих со своим творчеством перед широкой аудиторией — перед вами, юные строители нашего сегодняшнего и завтрашнего дня. Традицией «Юности» уже стали такие номера, познакомившие читателей со многими талантливыми писателями, которые успешно работают сейчас в литературе.

Этот номер посвящен дебютам — и, как мы полагаем, удачным, многообещающим. Его страницы откроются перед вами, словно улицы молодого города, созданного энтузиастами. А творцов его вы знаете, они рядом с вами, бок о бок учатся и работают — на заводах, на полях и в лабораториях, — такие же молодые ребята и девочки, как и вы, влюбленные в свой труд. И пишут они о вас, потому что им интереснее всего поведать о себе, о своих друзьях, о времени, в какое мы живем. Их повести, рассказы, стихи, очерки, рисунки, в чем-то, может быть, и несовершенные, искренне славят героинку современности.

Еще вчера мы не знали их имен, завтра же мы узнаем и другие имена. В песню, которую складывает народ, вписываются новые мужественные строки. Наши авторы могли бы сказать о себе словами Сергея Чекарева: «Сначала я хочу жить, а потом уже писать о жизни, сперва любить, а потом писать про любовь». Они живут полнокровной жизнью великой страны, создающей будущее, и вот частица этой жизни встает со страниц их произведений.

Этот номер выходит в знаменательную годовщину июньского Пленума ЦК КПСС, поставившего актуальные боевые задачи перед всем идеологическим фронтом нашей борьбы. Партия на этом Пленуме вновь сказала о важной роли своих верных помощников — деятелей литературы и искусства, — чьи произведения должны правдиво отражать жизнь советского народа, разоблачать буржуазную идеологию, утверждать коммунистические идеалы, растить Человека в полном смысле слова.

На призывы родной партии советское искусство и литература отвечают творчеством, которое становится оружием народа — строителя коммунизма. Июньский Пленум ЦК КПСС особо подчеркнул важность воспитания молодой поросли творческой интеллигенции в духе партийности и народности.

Вдохновленные заботой партии, молодые литераторы подхватывают эстафету социалистического реализма. Мы надеемся, что голоса участников этого номера «Юности» влетутся в общий хор советского искусства.

Итак, слово молодым!



По окончании Института внешней торговли Лев Тимофеев работал по специальности в портах Норвежской и Находки. После этого некоторое время преподавал английский язык в одной из школ г. Рязани. В настоящее время готовит первую книгу своих стихов. Ему 27 лет.

Лев Тимофеев

Времена года

Еще прогноз на лето не объявлен — едва скворечники вознесены.
Еще глухим столам рабочих яблоны пока лишь снятся яблочные сны.

Еще в селе нерегулярна почта, еще разлил, еще в овраги льет, и жадно пьет перед посевом почва, как добрый конь перед работой цьет.

Но все готово, только ждут погоды — труби же, солнце, в медную трубу!.. Как уловить великий шаг природы навстречу ежегодному труду?

Какого ритма подготовить строчку?.. Едва ты зерна в почву опустил — они уж врвут тугую оболочку и пробивают земляной настил.

И нет зерна. Но есть листва и стебель, живые сети корневых систем; и лес в тени, на солнцепеке степи, и белый цвет среди зеленых стен.

И суше день, и долгие гаснет запад, и над землею близлежащих сел густым пластом лежит медвяный запах для привлечения работающих пчел.

Почти полгода мы клянемся маем, но за программой полевых работ проходит май, и мы не замечаем его цветов медлительный уход.

Наметив плод в последнюю неделю и убедившись, что земля суха, передает весна свои изделия на доработку в летние цеха...

Растут плоды, отяжеляя ветви... Их опускают в солнечный экстракт, полощет дождь, высушивают ветры, и на удар испытывает град.

И наступает солнечная спелость...
Ах, месяц август, середь твоих садов все то, что делалось, что говорилось, — пелось, — все отдавало привкусом плодов.

И я бывал твоих столов застольцем, разнорабочим был в твоих трудах — фасованное гранулами солнце напоминали зерна в бункерах.

Твои плоды руки моей касались, судьбы касалась женская любовь, я целовал в уста твоих красавиц среди еще не скошенных хлебов.

И засыпал легко. Мне снилась жатва: поля пустели на исходе дня, их прошивала солнечная дратва (иль таковой казалась мне стерня)...

В полях и въязь пустынно становилось, зато по деревням играли пир, но шумных праздников природа сторонилась, и засыпал ее усталый мир.

Ход осени отчетливо заметен: еще вчера была жива листва, но ганды: уже сентябрь пришел за медью и собирает сонные леса.

И дождик льет. На время прояснится, осветит лес, и снова дождик льет. Тебе ночами давний август снится, проснувшись утром, — видишь первый лед.

Мы учимся, полны библиотек, идет работа в зимних мастерских. Но спят леса... Давно замкнулись реки...

Усни и ты, мой запоздалый стих.

И спи светло, как зима в природе... Цари, зима, до будущего года!

Ночной полет

Блуждающей звездой судьба моя ведома, и ночь опять выводит нас в развезды. Ночная жизнь больших аэродромов похожа на движение созвездий.

Автоматически внезапные глаза вдруг появляются на этой звездной карте и сплунут. Проходившая гроза задерживала самолет на старте.

Но вот он начинает свой разбег, и вдруг в потоке восходящем виснет,

и не спеша, пренебрегая высью, вперед летит. И смотрит человек, и различает звезды: вот Стожары, вот Андромеды легкой гряды... Как будто бы подводные пожары, плывут внизу ночные города.

И, сбросив скользя и наклоняя крылья, машина круто входит в выражи...
За ночь,

за влет, за все, что ты открыла, благодарю тебя, скитальческая жизнь.

Вячеслав Шапошников

Багульник

Когда мороз
до испуганья лют
и вихри бродят
пьяною оравой,
а по тайге
отходную поют
и корчатся
на лысых взгорьях травы,—
внеси его
в тепло
на полчаса ты,

багульника хрустящий стебелек,—
таежные забродят ароматы,
наполнят в доме
каждый уголок.
Как будто вдруг
к тебе явилось лето.
Закрой глаза,
не думай про мороз...
Так отплатить
за счастье быть согретым
лишь может тот,
кто холод перенес.

Журавль

Помнится:
домой невесть откуда,
Догемна прошлявшись
среди болот,
Старший брат принес однажды
чудо —
Журавля,
убитого им в лёт.
Бросил он добычу у опека
И сказал,
устало сев на стул:
«Целый день — осечка за осечкой,
А когда не надо — вот...
пальнул!»
Трогал я запачканные крылья,
Пахнущие ветром и дождем,
И казался выше мне
и шире
Кособокий старенький наш дом.

После мне,
в подушку,
вместо ваты,
Серый пух зашили журавля.
Были сны
тревожны и крылаты
На подушке новой
у меня.
Жил в ней
задебранные глуши.
Был в ней
горы серебряный заштит.
В полночи метельные я слушал,
Как в затонах стонут камыши...
По утру,
когда у изголовья
Расцветали зори на стене,
Виделись мне дальние станова,
Слышались мне трубы в вышине...

Знакомому мальчишке

Твой дом —
под паровозным дымом.
А перед ним
стена — откос,
с мельканьем неуследимым,
с чугунным грохотом колес.

Сбежишь с крыльца
и по ступеням
взлетит без поручней
туда,
где под ноги
косые тени
тебе швыряют поезда.

Здесь,
в мире копти и шлака,

как зайчик солнечный белес,
ты рано разобрался в тактах
походкой музыки колес.

И вот,
опекой не стесненный,
здесь, у путей,
по целым дням
ты прожжешь эшелоны
к их запределным рубежам.
И там,
за глыбой сероватой
лакауза,
едва видна,
встает из синевы щербатой
тобой открытая страна.



Вячеслав Шапошников
родился в 1935 году в
г. Алатыре Чувашской
АССР. Работал на Севере
вальщиком леса, тракто-
ристом - трелевщиком.
Служил в армии. Заня-
чивает художественное
училище в селе Красном,
Костромской области, по
специальности гравера.





Николай Рубцов вырос в деревне. Работал матросом и кочегаром на рыболовецких судах в Баренцовом море. Сейчас учится в Литературном институте имени А. М. Горького.

Николай Рубцов

Я весь в мазуте,
весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте!

Я помню мол в огне заката,
Когда на несколько минут
В тельняшках флотские ребята
На берег вышли из кают.

Они с родными целовались.
И дул в лицо им мокрый норд.
Суда гудели, надрылаясь,
Матросов требуя на борт!

И вот по воле капитана
Опять к неведомой земле
По мощным гребням океана
Мы пробираемся во мгле.

✱

Сидим, обнявшись, словно братья,
Пою о тех, кто нас ласкал,
Кому мерещатся проклятья
Матросов, гибнущих у скал...

И вот опять —
святое дело!
И наш корабль, заботой полн,
Уже не так осиротело
Плывет среди бескрайних волн.

Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал,
Чтоб для отважных —

вечно
море,

А для уставших —
свой причал...

✱

Я забыл,
Как лошадь запрягают.
И хочу ее
Позапрягать,
Хоть они неопытных
Лягут
И до смерти могут
Залаять!
Мне не страшно.
Мне уже досталось
От коней,
И рыжих и гнедых.—

Знать не знали,
Что такое жалость,
Целясь в зубы прямо
И под «дым»!
Эх! Запряг бы
Я сейчас кобылку
И возил бы сено
Сколько мог!
А потом
Втыкал бы важно вилку
Поросенку
Жареному
В бок...

✱

Загородил
Мою дорогу
Обоз. Ступил я на жнивьё.
А сам подумал:
Понемногу
Село меняется мое!

Теперь в полях
Везде машины
И не видать худых кобыл,
И только вечный

Дух крушины
Все так же горек и уныл.

Идут, идут
Обозы в город
По всем дорогам без конца,—
Не слышно праздных
Разговоров,
Не видно праздного
Лица!..

Улетели листья

Улетели листья
с тополей —
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалею ты листья, не жалею,
А жалею любовь мою и нежность!

Пусть деревья голые стоят,
Не кланя ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья
улетели?

—

Николай Новиков

Районные клубы

Мне районные клубы
Попадались в пути.
Сквозь их медные трубы
Мне случилось пройти,

Где лихие фокстроты,
И кино, и концерт
Оставались в отчетах,
Как нехитрый процент.

Малый с низкою челкой
(Не последняя роль!)
Ловко семечки щелкал,
Отрывая контроль.

На окошках от шума
Занавески тряслись.
Мы сатиру и юмор
Вызывали на «бис».

Вот, расшаркавшись светски,
Начинал баянить,

И опять занавески
На окошках тряслись.

Замечтавшись о чем-то,
С веткой вербы в руках,
Выходила девчонка
В шестистящих шелках.

На едином дыханье
Робко песню несла.
Разговоры стихали,
Как круги от вёсла.

Ах ты, Валя Козлова,
Задержись-ка, постой,
Про рябину нам снова,
Про черемуху спой...

И следили мы грустно
Всей притихшей гурьбой,
Как шагало искусство
По тропинке домой.



С чемоданом худым
И в плаще, понятом дорогой,
Чуть зажмурясь от солнца,
Из метро поднимаешься ты.
«Успокойся,— себе говоришь,—
Ведь сюда очень много
Приезжает народу
С любой широты...»
Вот и дом во дворе.
А каким он казался доминиой!
От дождей посеревший забор,
Где играли в войну,
И скамейка с отчаянной надписью
«Коля+Инна»,
До сих пор сохранилась она.
Ну и ну!
Мальчуган со значком —
Здесь Гагарин (на наших был
Чкалов).

Деревянная сабля.
В зеленых чернилах щека.

Он в знакомую дверь
Недовольно стучит кулачками.
Так когда-то и ты
Дотянуться не мог до звонка.
...А расспросам конца нет!
Где жил ты, где побыл, где плавал?
Тот же самый мальчонка
Нацепил твой матросский ремень,
И по всей коридорной системе
Шествует слава.
И тебя, как Колумба,
Встречает она в этот день.
Ты вернуться мечтал —
И упорства на это хватило.
Только вырос ты очень:
Не сразу узнали друзья,
Только раньше тебе
Всей вселенной казалась квартира.
Только жить тебе здесь,
Как в игрушечном доме,
нельзя.

Уют

Да зараневует приветливость кают,
Где в сумраке табачном перед
утром,
Сменившись с вахты, чай из кружек
пьют
И черта поминуют поминутно.

Как будто лихорадит тонкий борт.
Гуляет шторм с девятибальным
шиком.
И если есть на свете этот черт,
То он, наверно, за стальной обшивкой.

Согреешься — познаешь, как
продрог.
Стащишь обледеневшую канадку,
Выплескивая воду из сапог,
Почувствуешь, что жить и вправду
сладко.

А море все грозитя сгоряча,
И душу выворачивает качка.
Великолепна жизнь,
И черен чай,
И крепче спирта добрая подначка!



Николаю Новикову 33 года. Он окончил Высшее военно-морское училище и командовал торпедным катером. После демобилизации плавал на питаном экспедиционного судна на Черном море. Ныне живет в Крыму, работает в газете, учится заочно на 5-м курсе факультета журналистики МГУ.





Надежда Мальцева — машинистка. Окончила вечернюю школу, работала в многоотраслевом заводе имени Ильича. Ей 19 лет.

Надежда Мальцева



Отдайте мне тайны:
Зеленую тайну,
И красную тайну,
И черную тайну.

Зеленую тайну
Весенним листочком
Я вновь посажу
На дрожащую ветку.

И красную тайну,
Как птицу из клетки,
Я выпущу
В мутную просесть рассвета.

А черную тайну,
Как злобного зверя,
Запру на замок я
В глубоком колоде.

Весна

С бантиком юрким, в капоре мятом
Девочка скачет по белым квадратам.

Солнцу подставив косые морщины,
В сквере старушка жует апельсин.

В купол сияющий крестится богу:
Кошка мяучит, присев на дорожку.

Кашляет в сторону кто-то
с портфелем,
Шаг свой чеканит вои в шинели.

В дымке зеленой, как в паутине,

Ветер стрекочет по веточкам синим.

На руку сел красноватый жучок.
Сонно и ласково кличет смычок

Прямо в окне, где живет мой скрипач...
Звонко в асфальт ударяется мяч.

Где-то в далеком всё это было —
И приходило и уходило.

Только девчонка в капоре мятом
Всё еще скачет по белым квадратам.

Телефону

Я ли тебя
Каждый день не ласкаю?
В черную трубку
Сердцем дышу,
Пальцами
Голос родной обнимаю,
Так,
Словно душу в ладошках держу.

Я ль не бегу к тебе,
Как мальчишка,
Лишь в коридоре
Раздастся звон?
Что же молчишь ты,
Что же молчишь ты,
Маленький, черный, злой
Телефон?



Не тронь,
Ты мнешь мои цветы!..
Не тронь,
Ведь это был не ты!
Я не могу остановить
Глаза свои,
Часы твои...
Молю, не тронь!
Там, в лепестках,
Мой дух живет —
Он хрупок так...

Не тронь,
Сломаешь ты его!
Там,
в сердцевишке,—
Леткий вздох...
Не тронь!
С тобой день ото дня
К земле
Пригнется стебелек...
Не тронь меня!
Не тронь цветов!



Люди проходят передо мной.
Здравствуй! — Прощай.
Кто-то хороший, кто-то плохой.
Здравствуй! — Прощай!

Все, как один, для меня близки.
Здравствуй! — Прощай!

Все, как один, от меня далеки.
Здравствуй! — Прощай!

Мимо проходят и говорят:
Здравствуй! — Прощай!
Кто-то из них вернется назад?
— Здравствуй!..



МЫ

Повесть

Рисушки И. Обросова.



Геннадий Бокарев родился в декабре 1934 года на Урале. По окончании средней школы служил в Советской Армии. После армии работал на заводе, сначала рабочим, потом техником. Сейчас Бокарев — инженер «Уралмаша».

Печатается впервые.

1

Я сижу, бросаю отяжелевшие руки вдоль кабатов и вытянув ноги. Я устал. Я очень устал. Мне хочется встать и уйти с ринга. Мне хочется под душ: тогда не будет так жарко и воздух не будет таким упругим. Но я знаю: через несколько секунд меня позвонит гонг, и я встану. Я встану и подниму перчатки, потому что впереди третий раунд.

Гонг. Я иду.

Противник бросается ко мне. Я делаю шаг в сторону — он проносится мимо, — и, мягко развернувшись на носках, я длинно бью справа. Попал! Теперь загнать в угол и бить, бить, бить!

Но я не успеваю. Противник, прикрываясь плечом, поворачивается ко мне. Я снова вижу смутный треугольник его лица, а на лице — только глаза, настоженные и какие-то ищущие.

Он атакует. Я ловлю его левый прямой правой ладонью и пытаюсь уйти, но он догоняет меня. Ослепляющий удар в подбородок, ком тупой боли в правом боку... Я перекрываюсь локтями и перчатками и тоже бью — коротко и зло.

Мне плохо. Мне совсем плохо. Противник «задавил» меня в ближнем бою. Я проигрываю. Нужна атака. Одна хорошая, смелая атака — и там посмотрим!

Противник на мгновение отпускает меня. Тогда иду я. Он предупреждающе поднимает перчатки, но я все-таки иду.

Больше я ничего не помню.

В нос ударяет что-то острое, неприятное. Я открываю глаза. Прямо передо мной — полное лицо с ярким пятном рта. Я знаю это лицо. Оно всегда рядом с тем, кому плохо. Сегодня оно рядом со мной, — значит, это был нокаут...

Постепенно ко мне возвращаются звуки. Я слышу сбродушное:



— Отдохнете месяц-другой, и все будет в порядке!

Я пристально вглядываюсь в это мягкое, улыбающееся лицо. Я пытаюсь понять, почему вдруг я должен буду отдыхать да еще месяц-другой. А лицо отодвигается, и я вижу, как высокая фигура в белом удаляется, неся в руке маленький чемоданчик с красным крестиком на крышке. Бесшумно затворяется дверь. В комнате остается только резкий запах нашатыря. И я. И еще кто-то. Этот «кто-то» поддерживает мою гудящую голову.

Я поднимаю глаза. Это Ленька. Мой противник. Он улыбается.

— Как дела?

Я не отвечаю и пытаюсь встать. Ноги противно дрожат, и мне приходится опереться на горячую Ленкину руку.

— Дуешься? — тихо спрашивает Ленька.

Я не отвечаю. Я злюсь. Я злюсь и ничего не могу с собой поделать.

— Зря! — говорит Ленька. — Зря полз в ближний! Ведь ты же выиграл два раунда! Надо было просто танцевать время! — и бой был бы твоим!

Я молчу. Я и сам знаю, что бы можно было выиграть. Но я знаю еще и то, что Ленька никогда бы не стал танцевать время. Он дрался бы до конца.

2

Мы идем по улице и молчим. Я чувствую: нужно сказать что-нибудь или ткнуть Леньку кулаком в бок. Тогда Ленька сразу улыбнется, и нам обоим станет легко и просто. Но я не могу.

А низкое солнце бьет прямо в глаза, и косые тени деревьев ложатся нам под ноги. Устало прихрамывая на стрелках, ползут полупустые трамваи.

Ленька, потянув меня за рукав, сворачивает направо. Я не сопротивляюсь. Мне сейчас очень не хочется быть одному...

Возле Ленкиного дома — кучка парней. Они смотрят на нас и перешептываются.

— Вон тот, длинный, ох, и здорово дерется! — доносится до меня, и я краснею.

Мы подходим к парням.

— Привет! — кивает Ленька.

Парни отвечают хором и почтительно пропускают нас.

— Как сегодня? — спрашивает кто-то.

Ленька неопределенно хмыкает.

— Выиграл. Нокаутом. У меня, — отвечаю я, стараясь не опускать глаз, и слышу восхищенное: — Молодец!

Нам открывает Полина Викторовна, Ленкина мама. Критически оглядев нас, она улыбается.

— Ну, Кирибеевичи, марш обедать! А это, — она показывает на Ленкин снык, — можно было заработать и возле пивной. Незачем было два года подряд пихать кулаками во всякие там мешки и груши...

Она не спрашивает, кто победил. Она знает и так. И она рада — я вижу это по ее глазам.

Мы сидим за маленьким кухонным столом и уплетаем котлеты. Полина Викторовна продолжает так же иронически:

— Вы знаете, Боря, — это она ко мне, — мой милый сын собирается выигнуть очередной фортель...

— Мама! — негодуяюще произносит Ленька и кладет вилку.

— Он, видите ли, пожелал совершить вояж в одну из зарубежных стран...

— Мама!

— Ешь. Котлеты стынут. И уж позволю мне открыть твою страшную тайну...

Тайны на самом деле нет. Я знаю, о чем хочет рассказать мне Полина Викторовна. Знаю потому, что мы с Ленкой решили уехать вместе. Еще в прошлом году. Это получилось совсем неожиданно.

Ленкин отец работал на нашем заводе. Директором. А потом он получил новое назначение и уехал. В Индию. Вместе с ним уехали трое парней с нашего завода. Все трое — бульдозеристы. И мы с Ленкой подумали тогда: если могут они, то почему не можем мы? И решили: можем!

— Монтигомо в новом издании! Он полагает, что краденое пистолета и мешка с сухарями ему вполне достаточно, чтобы защитить и ослепить Кубу. Думаю все же, что лопата там нужнее.

Все правильно: мы решили уехать именно на Кубу. Но мы не возьмем с собой ни краденых пистолетов, ни мешков с сухарями. Мы возьмем с собой только права бульдозеристов. Как те трое, из транспортного. Правда, мы еще не бульдозеристы пока. Мы токари. Но через месяц мы кончаем курсы дизелистов при ДОСААФе и получаем права. Это будут права трактористов, но ведь это уже больше половины дела. Бульдозер мы одолеем еще быстрее, а потом...

А потом будет Куба!

Мы, наверно, не стали бы связываться с тракторами и курсами, если бы не было Кубы. Но Куба есть. А раз она есть, мы должны быть там.

Полина Викторовна, посмотрев на меня, вздыхает: — Кажется, я ошиблась адресом... Вы тоже хотите на Кубу, Боря?

Я изображаю улыбку и давясь котлетой.

— Ну? — говорит Ленька, когда мы остеемся одни.

— Давай! — говорю я.

На столе появляется кучка чистых листов бумаги и один грязный. Потом — карандаши и линейка. Мы упираемся взглядами в грязный лист. На нем — десяток эскизов, понятных только нам с Ленкой. Мы набросали их вчера после смены. И вот почему.

Детали, которые образуют наш участок, совсем как будто простые. Но на них уходит страшно много времени, потому что на каждую нужно не меньше двух переналадок. И скорость. Уже целую неделю нас тошнит от ленивых оборотов шпинделя и от ровного, какого-то сытого гудения станков. А увеличить скорость нельзя: на этом слове садятся даже быстрорезы. Мы едва-едва натягиваем норму, и от этого нам тоже становится не по себе. Ведь это, наверно, плохо, когда человек всю жизнь делает только норму.

Мы сидим и молча грызем карандаши. Вдруг Ленька хватает чистый лист и выводит на нем загогулину. Рядом — вторую.

— Так! — спрашивает он и подвигает листок мне.

Теперь я понимаю, что эти немислимые загогулины должны обозначать резцы, и молча ставлю на листе жирный крест.

— Почему? — удивляется Ленька.

— Потому что сидят, — говорю я. — Угол не тот.

И рисую рядом с крестом чертика без рогов, но зато с двумя хвостами. Обязательно с двумя, потому что резцов в нашем приспособлении должно быть два. Или даже три. И я пририсовываю чертику третий, самый длинный хвост.

— Э значит, на сколько? — спрашивает Ленька.

— Значит, почти на два квартала. Если без припосабливания.

— Или?

— Или всего на месяц. Если выйдет.

— Надо, чтобы вышло...

Мы сидим и молча грызем карандаши, а в окно мягко стучится город.

3

Солнце над крышами и на влажной спине мостовой. Всюду солнце, хотя еще только семь часов. На улицах пусто, но у проходной уже очередь. Она очень маленькая пока, и я скоро выйду на заводской двор. Там тоже солнце и зеленые тени.

Я толкаю гофрированную дверь механического, шагаю через высокий — почти до колен — порог и быстро иду вдоль бесконечного ряда станков. Выстроившись в колонну по четыре, дремлют грузные полуавтоматы. Только у входа в четвертый пролет они почтительно расступаются: смутной горой металла там высится громадный карусельный. Слово мамонт в свечном стаде.

Я люблю приходить в цех пораньше. Все темно и немножко таинственно тогда. И верится почему-то, что в тихих закоулках цеха живут маленькие, смешные и очень деловитые гномы. Гномы XX века. В спецовках и с ключами в руках. Если остановиться на минуту и прислушаться, можно очень ясно услышать тихое постукивание и частое, прерывистое дыхание: это гномы обходят участки перед сменой ночной смены.

Гномы жили в старых сказках и в кино о Белоснежке. Пусть это и смешно, только мне хочется, чтобы они жили и в нашем цехе...

Я прохожу в самый конец последнего, четвертого пролета, свернувшись направо, открываю еще одну дверь и попадаю в маленькую квадратную комнату, заставленную станками. Это наш участок. Мелкосерийный.

Мне нравится работа мелкосерийщика. Заработок, правда, ниже, чем на потоке, зато интереснее. Очень часто меняют детали, и приходится призывать к каждой. И есть возможность подумать, как, например, сейчас.

Я подхожу к своему станку, достаю из кармана эскизы и раскладываю их на тумбочке. Надо как следует присмотреться к деталям и еще раз подумать. И я думаю.

— Здорово!

Две тяжеленные ручки опускаются мне на плечи. Я, не оборачиваясь, киваю. Я знаю, кто это. Это Кочкин и Машенко, «братья-разбойники». Они совсем не братья на самом деле. Их зовут так потому, что никто и никогда не видел Кочкина без Машенко и наоборот.

Две скорлупы чубатые головы свешиваются над эскизами. Пять минут усиленного соления, и:

— Бачишь?

— Бачу.

— Аг..

— Эге ж!

Они поняли друг друга, и я понял их. Поэтому я заявляю:

— Посмотрим!

— Бачимый! — в голос отвечают они и вразвалку — бывшие морячки — толкают со своим станком. Тотчас

же в их руках появляются белые тряпочки: «братья-разбойники» начинают «драть медяшку», а попросту — протирать и без того сияющие станки.

— Привет, работяги!

На участке появляется Тютя, он же Сашка Лямин. Его никто не зовет Сашкой, а тем более Ляминим. Его все зовут Тютей и, по-моему, правильно делают.

А Тютя, mimоходом заглянув в мои бумаги, презрительно сплевывает и говорит пришепетывая:

— Тарляма-барляма-барлюшечки! Ну-ну!

Я не отвечаю. Я вообще стараюсь не разговаривать с Тютей, потому что не люблю его. Не люблю его шикарную походочку и шепелявый говорок. Тютя почему-то уверен, что именно так говорят одесситы. Он никогда не был в Одессе, но всегда называет ее Одесса-мама. И это мне тоже не нравится.

А Тютя вдруг заявляет:

— Бабу бы тебе, студент, дареную да водочки с полкило — куда б те твои бумаги девались!

С меня хватит. Сейчас я оборнусь и скажу Тютя что-нибудь интересное. Но я не успеваю.

— Эй ты! Мыслитель! — раздается сзади. Чего растопырился! Проходи!

Я сразу узнаю голос Фобоса. Он стоит за спиной Тютя, воинственно выткнув нос. Тютя, оглянувшись на него, ухмыляется.

— Не шуми, Фома. Я тут, понимаешь, пацана воспитываю. По-нашему, по-рабочему.

— Пошел, пошел! — говорит Фобос, худым плечом отодвигая Тютю. — Видали мы таких...

Тихо на участке. «Братья-разбойники» топчутся вокруг станков, все еще помахивая тряпочками. Тютя копается в тумбочке, Фобос роется в ящичке с заготовками, а я думаю. И очень жду Леньку.

Нашей бригаде нет еще и двух месяцев от роду, и мне пока все здесь кажется чужим. Особенно ребята. Нас перевели на мелкую серию из разных цехов и разных участков. Мы встречаемся в восемь утра и расходимся в четыре. И никто из нас не знает, куда уходить после работы другие.

Наконец появляется Ленька. Он сразу бросается ко мне.

— Ну как?

— Все так же...

— А почему ж?

Я объясняю. К нам подходят Кочкин и Машенко. Слушают, старательно разглядывая эскизы. Фобос тоже, наверно, слушает, потому что заготовки начинают греметь тише. Только Тютя, жинув в рот папиросу, отворачивается и уходит.

Но каждую пятницу.

Лишь солнце закатится,

Кого-то жуют под бананом!..

Это Ромка. Он появляется неожиданно, таща за собой очередную нелепую песенку. Мне никогда не удается сосчитать, сколько их у него, таких вот бродячих песенок. Он поет их всегда: за станком и в трамвае, на улице и в столовой. Но особенно он расходится, если в руки ему попадает гитара. Тогда песенки, смешные и глупые, цепляются одна за другую.

Ромка знает и хорошие песни, но почему-то редко поет их.

И вообще он парень со странностями. Он пришел на наш участок позднее всех, только месяц назад. В первый же день он удивил нас, выдав почти полторы нормы. А на второй удивил еще больше: на том же станке и на той же детали не натянул и половины.

Так и пошло. Ромка пел, свистел, мусолил какие-то книжки с мудреными латинскими названиями, надолго исчезал из цеха — в общем, волянка. Потом, словно сбесившись, мертвой хваткой вцеплялся в станок и не отходил от него ни на минуту. В эти дни он работал прямо-таки исторически и снова возникла выработка до полутора норм. А назавтра опять слышались его песни и звучные, непонятные фразы. — Бонжур! — поет Ромка, делая всем нам ручкой. Мы отвечаем, а он, ласково похлопав по задней бабке своего станка, мурлычет:

— Доброе утро, крошка!

Сунуз нос в наши скиззы, тут же заявляет:

— Мудрено! И, я бы сказал, ни к чему. Суета сует и всяческая суета.— И, глянув на часы:— Ну что же, коллеги! Начнем создавать материальную базу коммунизма!

Заглушая звонок, мягко звывают моторы: включаются Конкин и Мащенко. Следом—Фобос. За ним—я и Ленька. Ромка возится с наладкой станка. Тут же все еще нет.

А гул становится все плотнее, и скоро ему уже будет тесно в громадной коробке цеха.

4

Я не очень люблю свой дом. Наверно, потому, что почти всегда живу один. Отчим часто уезжает в командировки, а когда возвращается, дни и ночи торчит на работе.

Маму я плохо помню. Она умерла через год после того, как мы переехали к отчиму. Мне было тогда семь лет. И вот уже двенадцать я живу у отчима. Я спросил его как-то, почему он не женится второй раз. Если из-за меня, то я ведь могу перебраться и в общежитие.

Он ответил коротко:

— Почему не женись? Полюбишь — поймешь. А уезжать не смей. Я не хочу, чтобы ты уезжал.

Он всегда говорит коротко и ни о чем меня не расспрашивает.

Уезжая, он оставляет мне деньги. Я не беру их, но он все равно оставляет. Каждый месяц. Там, в верхнем ящике письменного стола, накопилась, наверно, уже не одна сотня. Я не беру эти деньги не потому, что мне неприятно. Просто мне хватает своих.

Сегодня я очень спешу. Я знаю, что сегодня у отчима кончается командировка и что к вечеру он должен быть дома. Мне хочется домой, когда он дома. В эти дни я реже бываю у Леньки и раньше ухожу от него.

Я молнией влезаю к себе, на четвертый, и подбегаю к двери. Я не лезу в карман за ключами. Я не хочу открывать дверь. Я хочу, чтобы мне открыли ее, и поэтому изо всех сил даваю на кнопку звонка.

Тихо.

Я еще раз даваю на кнопку и долго не отпускаю ее. Где-то там, в пустой квартире, хрипит и захлебывается звонок.

Постояв немного перед закрытой дверью, я поворачиваюсь и начинаю медленно спускаться. На площадке между вторым и первым этажом останавливаюсь и лезу в наш почтовый ящик.

Так и есть. Телеграмма. Он задерживается еще на два месяца.

Забыв прикрыть дверцу ящика, я выхожу на улицу. Стою и смотрю в землю. Потом ухожу. Ухожу к Леньке.

Мы идем по улице и смеемся. И смотрим по сторонам. Это очень интересно — смотреть по сторонам, когда кругом город и люди. Большой город и много людей.

Я люблю, я очень люблю наш город. Он, говорят, мало похож на Ленинград или Киев, но — частное слово! — я не променял бы его ни на какой другой.

Здесь часто пять этажей стоят рядом с вросшими в землю избушками, и засыпанная шлаком дорога тянется вдоль строгих квадратов бетона. Здесь жарко летом, холодно зимой и всегда дымно. Здесь даже главная улица перекрестнута четырьмя нитками железнодорожных линий, и над городским прудом висит тяжелый шлейф дыма. Но это наш город, это мой город, и я люблю его.

Я мало ездил и, может быть, поэтому нигде не видел такого строгого зимой и синего летом неба. И улиц таких, как эта...

Мимо нас идут люди. Разные, совсем разные. Мимо нас идут песни. Они тоже разные. И девчонки. Много красивых девчонок. И поэтому мы смотрим по сторонам и улыбаемся.

Нам с Ленькой нравятся девчонки. Конечно, только красивые. Но мы всегда проходим мимо. Во-первых, потому, что нам вполне хватает друг друга, а во-вторых, потому, что у нас просто нет времени. Три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу — мы тренируемся, два раза — во вторник и четверг — ходим на занятия. На курсы. Остается суббота и воскресенье. Но остается еще и много разного. Например, кафе. Наше заводское кафе. Оно открыто по субботам, а сегодня как раз суббота.

Мимо нас идут девчонки. Много девчонок. И поэтому мы смотрим по сторонам и улыбаемся.

Мы подходим к нашему кафе. У магазина напротив — тесная кучка парней. Парни явно навеселе, они стоят поперек тротуара плечом к плечу и громко смеются. Перед ними — девушка. Очень красивая девушка в очень красивом платье. Она растеряна. А парни смеются.

Девушка сходит с тротуара на мостовую и пытается обойти парней слева, но они снова загромождают ей путь.

Мы прибавляем шаг.

Парни снова смеются. Особенно один, в серой кепке. Он стоит прямо перед девушкой и приплясывает. И быстро говорит ей что-то.

— Эй, кепка! — негромко осликает его Ленька. — Отойди в сторонку. Дай пройти человеку.

Парни не двигаются. Они вскидывают головы и удивленно смотрят на нас. Потом, переглянувшись, суют руки в карманы.

Я ненавижу пьяных. Ленька — тоже. Мы не любим, мы очень не любим драться на улицах, но нам часто приходится драться. И почти всегда с пьяными, потому что они мешают жить трезвым.

Парни не двигаются. Мы идем прямо на них. Они стоят, нагнув головы и шупая нас взглядами. Здоровые парни. «Левой» — крайнего, правой — длинного, короткого рядом...» — думаю я, незаметно подбавляя ногу, чтобы бросить удар вместе с последним шагом.

До парней остается всего один шаг — последний, когда они расступаются. Недобро поблескивая их прищуренные глаза.

Ленька берет девушку за локоты, и они проходят

вперед. Я чуть задерживаюсь, чтобы прикрыть Леньку с тыла. «Только бы не ударили сзади!» — мечется в голове, но я прохожу, не оглядываясь. За спиной — ни звука.

Мы подходим к двери.

— Спасибо! — говорит девушка.

— Ерунда! — отвечает Ленька.

6

В кафе шумно и тесно. Навстречу торопится Ромка.

— Я Рома! — объявляет он девушке и протягивает руку.

Девушка улыбается. Улыбается просто так. Она совсем не смотрит на Ромку. Она смотрит по сторонам. Как будто ищет кого-то. И она находит.

С эстрады, бросив контрабас, срывается очень худой и очень черный перень. Он прибирается к нам, на ходу сочиняя обиженную мину.

— Феликс! — обрадованно вскрикивает девушка и убегает.

— Я Рома! — жалобно вопит ей вслед Ромка. — А вы?

Девушка даже не оборачивается. Очень красивая девушка в очень красивом платье.

— Нда-с! — говорит Ромка. — Я всю жизнь нравился только одной женщине — моей маме. Но вы-то? Будь у меня ваши кулаки, я бы не потерпел никаких романов с контрабасом!

— Ничего. Мы потерпим, — отвечаю я, стараясь не замечать Ленькиного взгляда. Он очень странно смотрит на эту девушку. Мне еще не приходилось видеть, чтобы он смотрел так на кого-нибудь.

Мы — Ленька, Ромка и я — сидим за столиком. Мы с Ленькой всегда занимаем этот столик, потому что он задвинут в самый угол и сюда влезает только два стула. Но сегодня в кафе пришел Ромка, и мы попробовали поставить третий. Мы попробовали, и у нас получилось. Видимо, когда между двумя стульями никак не влезает третий, нужно только захотеть, чтобы он влез. И он влезает.

В нашем кафе нет ничего, кроме маленьких разноцветных столов и таких же стульев. Столы и стулья стоят вплотную, потому что в нашем кафе танцуют только тогда, когда нет концерта или дискуссии. А у нас почти всегда что-то затевается.

На столе — «Мандариновая» и яблоки. Я беру одно, медленно жую и осматриваюсь. В нашем кафе никогда не бывает ничего спиртного. И вода только «Мандариновая».

Здесь хорошо. Наверно, потому, что тесно. И потому еще, что здесь все свои. Заводские. Мы знаем здесь всех, и нас знают все.

Я помню, сколько было шума из-за этого кафе. Мы дрались за него полгода. А когда нам разрешили наконец занять помещение столовой № 17, мы едва не плюнули на эту затею. В этой якобы столовой были зеленые стены, серые клеенки и мухи. Здесь подавали щи и котлеты с макаронами. В общем, было смешно и тошно. Мы попытались уговорить директора столовой на маленький ремонт, но он отказался наотрез, потому что у него было незавершенное дело по борщам и компотам. Тогда на столовую, по словам директора, был произведен типично бандитский налет.

За пять минут до закрытия столовой в кабинет ди-

ректора вошли двое. Один — это был я — встал у двери, второй — это, конечно, был Ленька — молча положил руку на телефонную трубку. Директор, оценев от ужаса, сидел в своем вытертом кресле и тихо потел. А за стенами кабинета трещала мебель, что-то падало и грохотало, гремели десятки голосов.

Когда вошли за стеной поутулки, двое неразговорчивых стражей с подозрительной поспешностью исчезли из кабинета. Директор вылетел след за ними и схватился за сердце: столовая № 17 перестала существовать. Под ее низкими грязноватым потолком не осталось ни одного нарядовского стола, ни одного ширпотребовского стула. Зато вдоль стен стояли шеренгами веселые парни и девочки и деловито помахивали кистями. Директору показалось, что он сходит с ума: незваные малыры красили стены разными красками! А у входа уже ревели грузовики, набитые новенькими столами и стульями.

Если бы директор был безнадежно идиотом, нам бы, наверно, не поздоровилось. Но все обошлось: спустя два часа он сидел с нами за столиком, угощал «Мандариновой» и все допытывался, где мы достали такую шикарную мебель.

А мы и не доставали ее. Ее сделали парни из деревообделочного. Мы только заплатили за материал. Да и то половину: вторую оплатил профсоюз.

В плотный шум зала врывается высокий вскрик трубы. Он разом приглушает все звуки и заставляет все головы повернуться к эстраде. За трубой выступает оркестр.

— О-о!... — закатив глаза, стонет Ромка. — Какой класс!..

— Еще бы! — откликается кто-то с соседнего столика. — Это же политехники! Даром, что студенты...

А я... я во все глаза смотрю на эстраду. Там — девушка. Та самая, в красивом платье. Она подходит к микрофону и начинает петь.

У нее очень приятный голос. Низкий, как у Пьехи. Она и поет, как Пьеха. В той же манере. Я очень люблю слушать Пьеху, но мне почему-то хочется, чтобы эта, в красивом платье, пела не так. Мне хочется, чтобы она пела по-своему.

Ромке уже не сидится. Он вертится на стуле и толкает нас локтями.

— Поздравляю! — шепчет он. — Вы бесконечно выросли в моих глазах! Одно мне непонятно: где вы откопали такое сокровище!

Я многозначительно приподнимаю брови, а Ленька молчит. Он, кажется, ничего не слышит. И ничего не видит. Он сидит, откинувшись на спинку стула, и не сводит с эстрады глаз.

Девушка спела две песни. Потом еще две — на бис. А когда ее сменил низенький курносый парнишка с громкоподобным басом, она спустилась с эстрады и села за ближний столик. Туда тотчас же ушел Ромка, и теперь его белобрыса голова маячит рядом с высокой причинской девушкой.

Я знаю, что сейчас говорит Ромка. Он говорит сейчас такую ерунду, от которой у психически нормального человека может закружиться голова, но от которой становится весело. И я завидую Ромке. Ленька, по-моему, тоже.

А Ромка встает. Он встает, берет девушку под руку и ведет к нашему столику. Мы вскакиваем.

— Знакомьтесь, — воркует Ромка, — солистка эс-



радного оркестра политехнического института Диана Островерхова!

— Ну зачем так официально! — смеется девушка. — Просто Динка...

Мы с Ленкой учтиво кланяемся, и я немедленно запускаю какую-то длинную тираду о пользе музыки. Запутавшись в бесконечных «так как» и «следовательно», я беспомощно умолкаю, а Ромка поет:

— Предупреждаю: бойтесь этого нахального типа с голубыми глазами! Записной сердцеед и к тому же иногда заговаривается. Это у него после второго развода, — доверительно сообщает он, нагибаясь к самому уху Динки.

Динка смеется, а Ромка вытягивает из-под кого-то стул и пытается втиснуть его между нашими. Стул жалобно потрескивает, но влезает, и в нашем углу, где всегда было только двое — я и Ленка, — теперь уже четверо.

На эстраде — заминка. Видимо, готовится какой-то большой номер. Но нам — по крайней мере Ленке и мне — уже не до эстрады. Ленка смотрит на Динку, а я — на Ленку. Я еще никогда не видел Ленку таким, как сегодня.

Динка с интересом оглядывается.

— Ну как? — спрашивает Ромка.

— Хорошо, — говорит Динка. — Я слышала, что здесь хорошо, но не думала, что настолько.

— Можно узнать, почему? — что-то уж очень сильно заинтересовывается Ромка.

Динка неуверенно улыбается.

— Ну... все-таки... от завода...

Ромка в восторге.

— Вы полагали, конечно, что здесь, под низким, закопченным потолком, за слесарными верстаками сидят этикие разухабистые парни в телогрейках, хлещут самогоном пивными кружками и, уронив на мозолистые ладони давно не мытые буйные головы, исполняют «Во саду ли, в огороде»!

Ромка выпаливает это, не переводя дыхания, и протягивает Динке яблоко. Динка смеется.

— Не совсем, но что-то в этом роде...

— Стыдитесь! — патетически восклицает Ромка и тычет себя пальцем в грудь. — Перед вами типичный представитель современной трудовой молодежи. К сведению: пью только коньяк и только тогда, когда есть лимоны. Танцую чарльстон и презираю польку-бабочку. Обожаю Дега, рыдаю, слушая Арм-



стронга, и ношу брюки (Ромка задирает ногу) не шире шестнадцати сантиметров!

— Браво! — смеется Динка и вдруг спрашивает у Ленки: — А вы?

— А он наоборот! — торопится Ромка. — Он употребляет лимоны только тогда, когда есть коньяк... Они болтают, а мы с Ленкой молчим и улыбаемся. Ленке, по-моему, хорошо сейчас, а значит, и мне тоже. И нам совсем не тесно, хотя наш стол — всего на двоих.

Концерт кончился. Ушли артисты. Ушла и Динка. Ее увел все тот же худой и черный. В одной руке он нес контрабас, а другой держал Динку за руку. Мы, все трое, проводили ее взглядами до дверей.

— Да-а-а... — сказал Ромка. — Мужчина без женщины, что пистолет без курка, говорил старик Гюго. Он, конечно, имел в виду таких, как эта...

А сейчас нам скучно. Во всяком случае, Ленке и мне. Даже Ромка притих и сидит теперь молча, потягивая «Мандариновую» прямо из горлышка.

В зале галит. От стола к столу мечутся взъерошенные фигуры и орут, стараясь перекрыть друг

друга. Все правильно: идет обсуждение стихов Рождественского и песен Окуджавы.

Только наш столик молчит.

— А солдатик! Бумажный солдатик! Это вам не философия! — свирепо орет какой-то парень, подбегая к нам. — Все мы солдатики! Все мы бумажные!

— Брысь! — лениво роняет Ромка и снова принимается за «Мандариновую».

Парня хватают за пиджак и со смехом увлакивают в глубь зала. На эстраде появляется Женька из кузнечно-прессового.

— Полундра-а! — приседал, ревет он, и лицо у него сразу становится малиновым. Все замолкают и растерянно смотрят на него. А он говорит спокойно: — Давайте без балагана. Хочешь блеснуть — выходи сюда. Кто первый?

И спрыгивает с эстрады.

Мы знаем, что сейчас будет. Появятся ораторы, и начнется диспут, а точнее, обыкновенная драчка. Это будет злая драчка с непеременимыми остротами и руганью до хрипоты. Мы еще не пропустили ни одной такой. Только вот сегодня нам не до споров.

— Может, пойдем? — спрашивает Ленка.

Я встаю. Следом за мной встает Ромка.

На улице душно. Устало поводят широкими плечами и протяжно вздыхают тополя.

— Ночь, улица, фонарь, аптека,— меланхолически начинает Ромка.—Бессмысленный и тусклый свет...

— Мировая скорбь? — усмехаясь я.

— Нет. Это Блок,— скучно острит Ромка.— Но, в общем...

Резкий свист обрывает Ромку. Мы круто оборачиваемся.

Мы видим: из-за угла выскакивают темные фигуры. Мне кажется, что их много, очень много, и у меня холодеет под ложечкой.

Фигуры быстро приближаются. Я узнаю их. Это парни, с которыми мы едва не подрались сегодня. У кафе. Из-за Динки. Но теперь я вижу, что их всего пятеро, и веселею.

Парни бегут. Они уже очень близко, но мы стоим не двигаемся. И вдруг их шаг начинает гутаться. Чем ближе парни, тем короче их шаг.

Они останавливаются в метре от нас.

— В чем дело, джентльмены? — спрашивает Ромка.

Парни молчат. Слышно только их угрожающее сопение.

— Сейчас они будут кричать маму...— многозначительно говорит один из них и лезет в карман.

У него длинные руки и тело. На длинной шее круглое лицо. И на лице все кругло: глаза, и уши, даже рот. Очень странное лицо!

— Ты, мужик!

Это круглолицый. Он обращается к Леньке:

— Знаешь меня? Я Ряха.

— Вижу! — усмехается Ленька.

— С тебя причитаются. Понял?

— Тебе сейчас выписать или подождать? — все так же усмехается Ленька.

Ряха, диннув плечом, выдергивает руку из кармана. В руке у него что-то блестит. Наверно, нож. Остальные придвигаются ближе и тоже суют руки в карманы.

— Мальчики! Вас били когда-нибудь? — безмятежно улыбаясь, неожиданно спрашивает Ромка.

Парни ошарашенно молчат.

— Нет? Жаль. Но вы не расстраивайтесь. Сейчас вас будут бить. Вас будут бить ногами по головам. И по животу тоже,— утешает Ромка и вдруг, шагнув вперед, зло рывкает: — Брось нож, скотина!

Ряха отскакивает. Теряются и остальные. Мы с Ленькой удивлены не меньше: вот так Ромка! — но, оценив обстановку, бросаемся вслед за ним.

И — чудо! — парни бегут! Они сразу срываются с места и бегут, не оглядываясь. Ромка вопит что-то им вслед и устрашающе толкает ногами. Потом, сунув в рот пальцы, отчаянно свистит. Парни припускаются еще пуще. А когда они исчезают за углом, мы с Ленькой начинаем смеяться. Мы просто задыхаемся от смеха. Мы очень долго смеемся и хлопаем Ромку по плечам. Ромка скромничает:

— С перепугу! Ей-ей, братцы, с перепугу это я! Потом мы идем домой и болтаем о всякой всячине. Нам почему-то страшно весело и да-

же немного досадно, что мы так рано ушли из кафе.

А на улице — ночь и музыка. Очень хорошо на улице!

Сегодня я прихожу на завод раньше обычного: мне не терпится приникнуть на месте, чего стоит наша новая идея. Ленькина и моя. Мы наткнулись на нее вчера, и, по-моему, теперь все будет в порядке. То-то удивится вся наша братия, когда мы с Ленькой разложим эти эскизы! Ромка, конечно, постарается не показать вида или отделается каким-нибудь афоризмом тысячелетней давности. «Братья-разбойники» будут долго таращить глаза и только потом начнут хлопать нас по спине и говорить по очереди: «Вот так клюква!» Фобос... Кто его знает, что скажет Фобос! А Тютя... О Тютя я не думаю. Мне даже думать о нем не хочется.

Одним духом пролетаю я весь цех, врываюсь на наш участок и... наткнулся на «братьев-разбойников». Они стоят возле одного из станков и чешут затылки. Увидев меня, начинают поеживаться и пихать друг друга локтями.

— Мы... — гудит Кочин.

— Это самое... уточняет Машенко.

— Приспосаблиение...

— Хотим вот...

И они протягивают мне два замусоленных листика с по-детски неумелыми рисуночками. Но рисунки эти не на шутку заинтересовывают меня. А через пять минут я убеждаюсь, что «братья-разбойники» явно переплюнули нас с Ленькой.

Я все еще хлопаю глазами, когда из-за двери доносится:

Выкушали водочки станавчик,
Стели подселодочки адроем...

Ну, конечно же, это Ромка! Он открывает дверь и с минуту обделало смотрит на нас. Потом ухмыляется и расшаркивается.

— Молодым рационализаторам — мое нижайшее!

— Ты знаешь,— кричу я,— эти изверги высидели оригинальную идею!

— Да ну! — удивляется Ромка.— Прямо так вот и высидели! А мне, дураку, думать пришлось!

Я настораживаюсь.

— Ты хочешь сказать...

— Ты ничего не хочешь сказать,— перебивает меня Ромка.— Я хочу послушать, что скажешь ты.

И он протягивает мне большой лист миллиметровки. На листе — эскиз.

Мы разглядываем Ромкин чертеж. Теперь уже четвергом. И, честное слово, тут тоже что-то есть! Я не успеваю до конца разобраться в этом «что-то», как вдруг над самым моим ухом раздаётся:

— Пшено!

Это Фобос. На его губах знакомая и успешная всем надость презрительная усмешка.

— Знаешь, что? — говорю я.— Иди-ка погуляй по чистому воздуху! Цветочки понюхай!

— Пшено! — повторяет Фобос и швыряет на тумбочку форматку атлмана.

Я смотрю на нее и лишаюсь языка: на форматке тоже чертеж. Меня почему-то особенно поражает то, что не ней есть даже штамп, а в графе «Нормоконтроль» красуется подпись самого Фобоса.

Ромка вдруг начинает хохотать. Он хватается за живот. Нетерпеливо, со вкусом расходится «братья-разбойники». Тогда начинаю смеяться и я.

— В чем дело?

Сквозь слезы я вижу удивленное Ленкино лицо, но никак не могу остановиться. Остальные — тоже.

Проходит немало минут, прежде чем мы, отдышавшись, показываем Ленке чертежи. Ленка, отхлебав свое, берется за эскизы, и мы все начинаем сравнивать их. И тут нам приходится удивиться еще раз: проект Фобоса, как ни крути, самый удачный.

— Ну, я думаю, все ясно! — заключает Ленка. — Попробуем вот это. Ты как? Не возражаешь?

Фобос недовольно ворчит:

— А чего мне возражать? Что я, хуже вас?

Мы не успеваем договорить до конца. Нас разгоняет звонок, и скоро шесть наших станков начинают усердно подпевать общему хору. Седьмой включается чуть позже: Тютя влетает на участок вместе со звонком.

9

Перерыв. Мы только что пообедили и теперь сидим в курилке. Ребята курят, а мы с Ленкой шуршим на солнце.

Мы уже почти все обговорили и сейчас пытаемся прикинуть, что нам даст предложение Фобоса. Похоже, скорость можно будет увеличить почти втрое и, раз не придется перитись с заменой резцов, выгадать еще пять минут на каждой детали. И все-таки это не совсем то, чего мы хотели.

Тогда я предлагаю.

Мы с Ленкой давно уже заметили, что все детали, которые обрабатывает наш участок, очень похожи по технологии обработки. И это очень здорово, потому что если раньше каждый из нас делал какую-то одну деталь, то теперь можно будет делать каждому одну-две операции на всех деталях. Это еще час с походом на всю бригаду или две-три лишние детали в смену.

Ребята усиленно дымят сигаретами. Соображают. Только Тютя скучающе глядит в сторону. Он, по-моему, совсем не слушал нас, а тем более меня. И не сказал еще ни слова.

— Так что? — спрашивает Ленка.

— Мы... — начинает Кочкин.

— Того... — поддерживает Мащенко.

— Согласны будто...

— Эх! Один раз живем! Давай! — заявляет Ромка.

— Ладно уж... — снисходительно машет рукой Фобос.

Тютя молчит.

— Ну, а ты? — спрашивает у него Ленка.

Тютя оборачивается. Усмехается, оглядывает всех нас и сплевывает. Потом начинает:

— Гляжу я на вас, второй месяц гляжу и все удивляюсь. Вы что? Хотите флажон заработать? Из красного ситчика и с надписью: «Бригада коммунистического труда»?

— Допустим... — медленно говорит Ленка. — А что?

— На здоровье! А я несогласный!

— Может, объяснишь?

— Так ведь оно вроде бы и так ясно. Задача на сложение, как во втором классе.

— Ты давай покороче.

— Можно и покороче. Сейчас нам по сотне на нос дают? Дают. Была бы, что и с хвостиком. А вам мало? Видать, мало. Только ведь больше все равно не дадут. Как выстругаете вы по десятку деталек

вместо пяти, сейчас нормировщик приберет, секундомерчиком своим — чик-чик! — и порубают нам расценочки под самый корешок! Тогда и запрыгаете. За ту же сотню так вкалывать будете, что не до курева станет! Так-то вот, братишечки. Молодые вы еще, зеленые. А производительность — ее тоже с головой повышать надо!

Тютя умоляет и с торжеством оглядывает нас. Он старший и дольше всех работает на нашем заводе. Он здорово умеет работать, но никогда не работает в полную силу. И теперь я понимаю, почему.

Мы молчим. Я смотрю на ребят и жду. Я вижу, как, яростно дернув плечом, отворачивается от Тюти Фобос, вижу, как тяжело задумываются «братья-разбойники». На Ленку я не смотрю. Я и без того знаю, что он думает.

— Принцип материальной заинтересованности! — непонятно чему улыбается Ромка и добавляет: — *Summ cuique!*

Я не знаю, что такое *Summ cuique!*¹, но, по-моему, он не одобряет Тютю. Может быть, я и ошибаюсь, потому что плохо знаю Ромку, но мне хочется, чтобы это было так.

«Братья-разбойники» совещаются.

— Э-э? — говорит Кочкин.

— Хм! — сомневается Мащенко.

— Плеваты! — вдруг раздражается Кочкин. — Меньше сотни все равно не заработаем, а что вкалывать придется на всю катушку, так на то мы и работаем! Он вытирает сразу вспотевший лоб и облегченно вздыхает.

— Все, что ли? — улыбается Ленка.

Мы начинаем шумно двигаться и пересмеиваться. Минутку, начальники! — снова подает голос Тютя. — Не выйдете!

Снова молчание. Тяжелое и короткое.

Первым взрывается Фобос.

— Да что вы с ним цацкаетесь! — сотрясаясь, орет он. — Гнать его в шею, и весь разговор!

Ромка опять непонятно улыбается, а нам с Ленкой совсем не до смеха. Мы очень хочется взять Тютю за шиворот, а Ленке — проделывать все остальное.

Тютя медленно встает. Усмехается.

— Гоните, значит?

Мы молчим.

— Ну-ну!

И он уходит. Уходит своей вихляющей походочкой, оставляя после себя молчание.

Но мы молчим недолго.

— Полупный ветер! — заключает Ромка, и мы начинаем обдумывать, как и где можно сделать приспособление Фобоса.

10

Такси нарасхват сегодня. Но нам все-таки повезло: удалось поймать старенькую машину, и теперь мы путаемся в мешанине из автобусов, велосипедов и мотороллеров где-то у самого выезда на загородное шоссе.

Впереди как будто пробка. Так и есть: радиатор нашей машины упирается в широкий зад автобуса, а справа и слева тотчас же втискиваются дрожащие тела «Волги».

Нас трое: Ленка, Ромка и я. Мы с Ленкой сидим сзади и злимся: мимо нас, тяжело переваливаясь

¹ Каждому свое.

КУРИЛКА



11

через глубокий кювет, проползают мотоциклы и мотороллеры. Они выбирают на узенькую тропинку и уходят вперед. Они будут на месте — на озере Лесном — раньше нас. И если мы проторчим здесь еще минут десять, на лодочной пристани не останется ни одной лодки.

А Ромка болтает. Он смотрит по сторонам и болтает. По-моему, болтать для Ромки так же естественно, как для Ленки молчать.

— Батюшки-светы! Народищу-то! Что твоя демонстрация! И чего людям не спится? Один, понимаешь, и день-то в неделю, когда поспать можно, так ведь нет же! Взбодрились чуть свет, и я с ними!

Сзади на нас надвигается грузная туша трехтонного «ЗИЛа». Цепляясь колесами за самый край кювета и отчаянно сигнала, медленно пробирается он мимо испуганно голосащих «Волг». В кузове «ЗИЛа» — девушки. Много девушек. Они сидят, обняв друг друга за плечи, и поют.

— Внимание! — оживает Ромка. — Справа по борту — симпатичный грузовичок с тремя тоннами модных причесок и таких же песенок.

И, покосившись на нас, добавляет:

— А у нас ни полфунтика. И все из-за вас, праведники чертовы!

Мы смеемся, а Ромка, высунувшись в окно, кричит: — Бабыньки! Переходите к нам! Потеснимся! Три места в порядке живой очереди! Просьба к желающим не устраивать паники!

Паники нет. Желающих — тоже. Девушки смотрят на Ромку сверху вниз и поют. И кричат что-то. Наверно, смеются. А Ромка, высунувшись из окна до половины, смотрит им вслед.

Все правильно. Им, этим девчонкам, весело и без нас. Как и нам без них. По крайней мере мне и Ленке.

— Пожалуйста, браться! — сокрушенно роняет Ромка, глядя на густую толпу у лодочной пристани.

Мы, конечно, опоздали и теперь наверняка останемся без лодки.

А солнце уже высоко, и на берегу становится тесно. Крикают и стонут волейбольные мячи, и вылезшие из кустов радиомашинки железными голосами уговаривают отдыхающих не нырять вниз головой.

— Что будем делать? — уныло спрашивает Ромка.

Мы пожимаем плечами. Было бы, конечно, гораздо лучше, если бы нам удалось достать лодку. Мы бы отправились тогда на наш остров. Но на худой конец можно устроиться и здесь.

— Пойдем, — говорю я. — Вон там, кажется, еще не очень...

Но Ромка не двигается. Ромка делает стойку.

— Минуточку! — бормочет он. — Минуточку...

И вдруг бросается в толчю у лодочных касс.

— Будет лодка! — улыбается Ленка.

Я тоже так думаю.

Мы с Ленкой отходим в сторону и садимся на горячий песок. Но почти сразу же вскакиваем: из толпы выбегает Ромка, а вместе с ним девушка. Та, красивая, что пела тогда в кафе. Динка. Она смотрит на нас и улыбается.

— На колени! — командует Ромка, потрясая квитанцией на лодку.

— Не надо на колени, — говорит Динка. — Мне повезло не меньше, чем вам...

— Это еще вопрос! — торопится Ромка. — И вопрос сложный. Давайте так: сейчас я быстренько подтащу



сюда наш ковчег, мы погрузимся в него и уж тогда займемся выяснением, кому повезло и почему именно. Думаю, к вечеру выясним.

— Спасибо! — говорит Динка. — Но я же не одна...

— Чудненько! — снова тарыхтит Ромка. — Чем больше, тем лучше!

— Не всегда, — улыбается Динка. — Нас — восемь...

— Восемь!!

Динка смеется.

— Не пугайтесь. У нас есть катер. У него закапризничал мотор, и я встала в очередь за лодкой. На всякий случай. А теперь все в порядке. Так что если бы не вы, мне пришлось бы сдать лодку...

Динка говорит и улыбается, а Ромкино лицо мрачнеет. Наши, наверно, тоже, потому что Динка вдруг замолкает и смотрит сначала на Ленку, потом на меня и Ромку.

— Может, не надо катера? — говорит Ромка. — Может, лучше на вслах? Ближе к природе, знаете ли...

Динка молчит. Мы с Ленкой смотрим на нее и ждем.

— Спасибо, — говорит она, — но я не могу. Я же с ними...

Она говорит это как-то так, что мне хочется еще раз предложить ей остаться, но Ленка спрашивает:

— А паспорт?

— Пустышки! — снова улыбается Динка. — Занесете как-нибудь. В нем же есть адрес.

И уходит. Уходит, не оглядываясь.

— Ну, конечно! — бурчит Ромка. — Там же гусар-

одиночка с мотором! Чтоб у него все поршни позаклинивало!

— Переживем! — говорю я. — Лодка у нас все-таки осталась.

Ленка молчит. По-моему, он был бы рад остаться без лодки. Но с Динкой.

12

— А знаете? — говорит Ромка. — Кто-то из нас трюх, наверно, очень счастливый. И сдастся мне, что этот «кто-то» не я...

Мы с Ленкой лежим на траве и ковыряем ложками в консервной банке, а Ромка стоит в трех шагах от нас и смотрит поверх кустов куда-то.

Мы высадились на наш остров полчаса назад и теперь завтракаем. Рядом лениво ворочается озеро, и серые валуны купают в нем свои зеленые бороды.

— Эй, ты! Философ! — говорю я. — Торопись! Или мы не оставим тебе даже соли...

— Ничтожные, жалкие люди! — возглашает Ромка. — Ваш удел — чревоугодие!

— Смотри, — говорю я, — тебе жить!

— Я спер у вас полметра колбасы, — утешает меня Ромка, — так что теперь могу философствовать, пока она не кончится.

Он все еще стоит спиной к нам и смотрит куда-то. И продолжает, усиленно жуя:

— Кто-то сказал, что миром правит случай. Но что такое в конце концов случай, как не точка пересечения необходимостей?

Ромкина болтовня становится подозрительной. Я бросаю ложку, подхожу к нему и только теперь понимаю смысл его разглагольствований: к острову приближается маленький белый катер. На носу катера стоит какой-то длинноногий парень, а рядом с ним стоит Динка.

— Будь я проклята, если сегодня в нашей лодке не станет на одного человека больше! — патетически восклицает Ромка.

— Тебе нужны адъютанты? — спрашиваю я.

Ромка, покосившись на меня, потом на Ленюку, хитро прищуривается.

— Я рискую быть проклятым... В нашей лодке может остаться трое — без одного из вас... Но вы ведь не будете хватать друг друга за горло и выдавливать большими пальцами глаза? Это было бы очень незастыдливо!

— Болтун! — тихо говорю я.

А катер уже у берега. Динка прыгает в воду, и тысячи маленьких солнц опускаются ей на плечи.

— Хочешь фокус? — спросил Ромка у Ленюки, когда мы вернулись к нему.

— Я хочу спать, — сказал Ленюка.

— А фокус хочешь? Хороший, первоклассный фокус. Такого ни в одном цирке не увидишь. Даже у Киса.

— Ну давай, — сказал Ленюка.

— Закрой глаза! — потребовал Ромка. — И пожелай невозможного. Например, выигрыш в лотерею или что-нибудь еще поредостнее. Только нужно очень сильно пожелать! Изю всех сил! И не открывать глаз, пока я не скажу!

Ленюка закрыл глаза. Помолчал и сказал:

— Есть...

И Ромка убежал.

Теперь Ленюка лежит на спине и честно жмурится, а я сижу рядом, смотрю на него и жду Ромку. Я знаю, что он придет с Динкой. И мне почему-то грустно немного.

Мы с Ленюкой всегда были вместе. И нам вполне хватало друг друга. Нам не нужен был больше никто. И я думал, что так будет всегда. Но, похоже, я ошибался. Ведь я знаю, что загадал Ленюка. Он, конечно, уверен, что его желание не исполнится, но ведь он все-таки загадал...

А может быть, мне грустно совсем не поэтому? Может быть, мне просто хочется лечь рядом с Ленюкой, тоже закрыть глаза и ждать? Думать, что ждешь впустую, как думает сейчас Ленюка, но ждать?

Ленюка лежит на спине и честно жмурится. Я сижу рядом, смотрю на него и жду Ромку. Я знаю: он придет сейчас, и мне снова станет весело. Я забуду о том, что думал, когда ждал его. Но ведь я все-таки думал...

Вот и Ромка. Он появляется так неожиданно, и у него такая плывоватая рожа, что я сразу понимаю: Динка рядом. И забываю обо всем.

А Ромка вешает:

— Желаемое, исполнись!

И раздвигает кусты.

Ленюка открывает глаза. В лицо ему бьет солнце, и он щурится, улыбаясь. Потом вздрагивает и рынком садится: он видит Динку.

Ромка позвигает от восторга, я смеюсь тоже, а Динка совсем не смеется. Она смотрит на Ленюку и краснеет. Потом отворачивается.

Ромка докладывает:

— Похищение сабинянок. Моторизованные гусары топтались вокруг своего миноносца и хором пели «Дубинушку». Теперь пусть поет Лазаря...

Ленюка стоит на коленях и ковыряется в пустом рюкзаке. Очень старательно ковыряется и не поднимает глаз.

— Так что? — продолжает Ромка. — Отчаливаем?

— Давай! — говорю я и сталкиваю лодку на воду.

— Прощу! — воркует Ромка и протягивает Динке руку.

— Не знаю... — смеется Динка и смотрит на Ленюку. Ленюка молчит. Он все еще ковыряется в рюкзаке, хотя, по-моему, слушает очень внимательно.

Я, покосившись на него, обоими глазами моргаю Ромке, и Ромка делает второй заход.

— Решайтесь! Всего один шаг, и вам будет весело, как в комнате смеха. Фирма гарантирует!

— Ну, если так, — смеется Динка, — тогда рискнем!

И она перешагивает через борт лодки.

Я вижу, как по Ромкиному лицу расплывается широкая улыбка, и сам улыбаюсь тоже. На Ленюку я не смотрю. По-моему, есть минуты, когда не надо смотреть на человека. Даже если этот человек — твой друг.

13

Лодка качается, и качается над ней синев-синее небо. Я сижу на корме рядом с Ленюкой и Динкой, а Ромка лежит на носу, подсунув под голову ковшик и свесив ноги за борт. И болтает без передышки:

— Моя бедная любимая мама очень хотела, чтобы ее выдающийся сын пошел в артисты. В народные вли в крайнем случае в заслуженные. Как Шуров и Рыкунин, Рудаков и Нечаев и трио Лос Панчос. Но ей крупно не повезло. Сын повесил подаренную мамой гитару на крепкий гвоздик и самым непочтительным образом напелвал на всемирную славу.

— И что же мама? — смеется Динка.

— Ничего, — дрыгая ногами, отвечает Ромка. — Мама поняла, что куплетиста-эстрадника из меня не получится, и согласилась на токаря средней руки.

— Хорошая мама! — говорит Динка и перестает улыбайся.

— Между прочим, я очень похож на свою маму, — доверительно сообщает Ромка и без всякого перехода спрашивает: — А вы давно поете?

— Давно, — помолчав, говорит Динка.

— Так сказать, в свободное от лекций время?

— Нет! — усмехается Динка. — Я хожу на лекции в свободное от пения время.

— А это обязательно?

— Что? — не понимает Динка. — Петя?

— Нет, — смеется Ромка. — Учить.

Динка пожимает плечами.

— По крайней мере так думает моя мама.

— А вы?

Динка, помолчав, непонятно улыбается.

— Я вообще никак не думаю.

— И давно? — интересуется Ромка.

— Так же, как и пою. С первого курса.

— Значит?

— Значит, почти три года.

Теперь Динка отвечает, не задумываясь. Она сидит, подтянув к подбородку колени и охватив их руками. Она совсем не смотрит на Ромку. Она смотрит туда, где дрожит упавшее на воду солнце.

— Так в чем дело? — недоумевает Ромка. — Пошлите к дьяволу эти ваши лекции и пойте на здоровье! Учиться даже идютам не возбраняется, а вот петь...

— Это иногда тоже скучно, — не дослушав, усмеивается Динка.

Я не понимаю, почему Ромкина болтовня так действует на Динку, но чувствую, что Ромке пора закругляться. Мы пригласили Динку совсем не для того, чтобы портить ей настроение. А оно у нее портится. Ромка, конечно, не виноват в этом, но было бы лучше, если бы он замолчал.

Я хочу незаметно толкнуть ногой и без того уже замолчавшего Ромку, но Ленька опережает меня.

— Знаете что? — говорит он и встает. — Вон там, кажется, есть павильон. В прошлом году там продавали чай...

— И пиво! — вскакивая, обрадованно вопит Ромка. — Пейте пиво! Пиво — это жидкий хлеб!

Я сажусь за весла. Ленька собирается сесть тоже, но Ромка отпихивает его.

— Навались! — командует он, и узкие белые лопатки весел косо врезаются в густую зеленую воду.

Дрогнув, сразу выравнивается желтая ниточка берега и темная полоска леса на ней. Мокро шлепает динье лодки по широким лицам волн. Я сижу, упершись ногами в пробковый круг. В моих ладонях — жаркая ручка весла, рядом — потное плечо Ромки, а Ленька и Динка сидят на корме и улыбаются.

Качается лодка, и кажется над ней синее-синее небо.

— Охо-хо! — вздыхает Ромка, хотя мы не успели отойти от берега и ста метров. — Сколько еще до шоссе?

— Пять, — отвечаю я.

— Святую Иосиф!

Ромкиному отчаянию нет предела. И Динка улыбается. Она как будто хочет что-то сказать, но, видимо, передумывает.

Мы с Ленькой тоже не разделяем Ромкиных печалей. Нам нравится идти по этой зеленой, вымощенной солнцем дороге. Хотя бы потому, что рядом с нами идет Динка.

Мы обещали Динке, что ей будет весело с нами. И мы не обманули ее. Если, конечно, не считать Ромкиных вариаций на музыкальные темы. Зато потом Динке все-таки стало весело. И в этом был виноват тоже Ромка. Он, что называется, показал товар лицом: слушая его, мы хохотали не переставая. Особенно Динке. Теперь она идет рядом с нами и улыбается.

Это хорошо, когда улыбается Динка. Потому что тогда улыбается Ленька, а значит, и я тоже.

А Динка вдруг спорочивает на узкую тропинку.

Мы останавливаемся и переглядываемся. Мы не знаем, идти нам за Динкой или нет.

— Ни с места! — приказывает, улыбаясь, Динка и уходит туда, где из-за кустов торчит высокая черепичная крыша «Общества охотников и рыболовов».

Мы стоим и ждем. А Динки все нет. Может быть, она вернулась к тем, с которыми приехала?

— Мне это что-то не очень нравится, — начинает беспокоиться Ромка. — Рыбаки, знаете ли, бывают разные. Не говоря уже об охотниках...

Ромка не успевает выразить до конца свое крайнее недоверие к рыбакам и охотникам: прямо на него, тяжело переваливаясь на ухабах, выползает из кустов новенький синий «Москвич». Он приближается к нам задом, и мы видим на стекле кабины редкие крупные буквы: «Прокат». А за стеклом мы видим Динку. Она останавливает машину и открывает дверцу. Смотрит на нас и смеется.

Первым в себя приходит, конечно, Ромка. Он молча подхватывает свой тощий рюкзак и ныряет в кабину. Тогда усаживаемся и мы с Ленькой.

Я сажусь сзади, рядом с вконец разомлевшим от счастья Ромкой, а Леньке волея-неволей приходится сесть вперед. Я знаю, что, если бы я не опередил Леньку, он сел бы на мое место. Но я очень хочу, чтобы он сидел рядом с Динкой. Просто потому, что этого хочет сам Ленька.

14

Смена давно уже кончилась, и в цехе устоялась гулая тишина. Тихо и на нашем участке, хотя домой не ушел никто. «Братья-разбойники», шумно вздыхая, сплываются из угла в угол. Ромка мурлычет что-то себе под нос и роется в ящике с заготовками, а мы с Ленькой листаем «Тракторы» Барского и Ломовского. Даже Тютя здесь. Обычно он начинает уборку за двадцать минут до конца смены и уходит ровно а четыре, а сегодня все еще крутится возле своего станка, лениво помахивая грязной ветошью.

С треском, как от удара ногой, распахивается дверь, и на пороге появляется Фобос. В руках у него тяжелый сверток. Это, конечно, — приспособление. Фобос потял над ним целую неделю. Он приходил на работу в шесть и уходил в двенадцать. И никого не подпускал к верстаку.

Фобос бережно опускает сверток на тумбочку и начинает медленно разсорачивать его. Мы толчемся вокруг и мешаем ему.

Наконец приспособление вынуто. Фобос, отойдя а сторону, оценивающе созерцает его. Потом удовлетворенно прищипывает языком, а мы молча поднимаем большие пальцы.

Фобос начинает настраивать станок. Он делает это еще медленнее, чем всегда, поминутно выверая установку приспособления и резцов. В последний раз пройдясь ключом по болтам резцовой головки и даже чуть ли не обнюхав ее, он отходит от станка и лезет в карман за папиросами.

— Не томи! — едва выдыхает Ромка, но Фобос, не удостоив его даже взглядом, командует Леньке:

— Давай!

Ленька удивляется. Мы — тоже.

— Ну, чего встал? — раздражается Фобос. — Давай!

— Может, все-таки ты? — неуверенно спрашивает Леняка.

— Право первой ночи! — деревянно смеется Ромка, а Фобос подталкивает Ленюку к станку.

Леняка включает станок. Мягкий гул его быстро поднимается до пронзительного визга. Очень, очень большие обороты!

Ленякины пальцы касаются ручки поперечной подачи. Губы его сжаты, глаза прищурены — совсем как на ринге.

Головка, утыканная резцами-зубьями, начинает приближаться к сизому боку заготовки. Вот эти кривые зубы врезаются в ее плотное тело. Визг становится еще пронзительнее. Синяя стружка летит с резцов, сваяная в тугие клубочки.

Мы стоим вокруг и не дышим. «Братья-разбойники», сцепившись друг в друга руками, напирают на Ленюку сзади, и ему приходится оттихивать их локтем. Ромка, прижав ладони к щекам, беззвучно шепчет что-то. Тютя лихорадочно жует потухшую папиросу, а Фобос крошит свою дрожащими пальцами и медленно бледнеет.

И вдруг я понимаю, что все пропало. Я слышу нервную ноту в визге станка, вижу, как темные клубочки стружки сменяются злой металлической пылью, и понимаю, что все пропало: сели резцы.

Леняка выключает станок.

— Привет! — касмешливо ухмыляется Тютя. Циркнув спичкой, зажигает папиросу, сует руки в карманы и уходит.

Он уходит, а мы остаемся.

Фобос, яростно работая ключом, сдирает приспособление и швыряет его в угол. Туда же летит запоротая деталь.

— Дыши ровнее! — пробует урезонить его Ромка.

— Заткнись! — орет Фобос. — Все бы тебе чирикал, бабынька несчастная!

Ромка виновато улыбается и разводит руками, а Леняка говорит тихо:

— Ну, чего психуешь? Может, это я виноват...

Фобос только машет рукой и бредет к двери. У самого порога останавливается, поднимает приспособление и взвешивает его на ладони. Потом, не скрывая гримасы самого невероятного омерзения, бросает его на тумбочку.

Мы начинаем думать. «Братья-разбойники» запускают пальцы в свои роскошные чубы, Ромка многозначительно погмыкивает, Леняка разглядывает резцы и поверхность детали, покрытую сипью мелких вмятин, Фобос боком подвигается к нему и тоже копится на деталь, а я достаю карандаш и бумагу. По моему, все это нам пригодится, и очень скоро.

карта Кубы. Кусок зеленоватой с коричневыми прожилками суши среди похонного на густую синюю океана.

Карибское море... Я называю его по-прежнему — Карибское. Так мне больше нравится.

Когда мне было двенадцать и Куба была еще далекой-далекой, это море я видел во сне. Я видел, как сшибались на бордаже фрегаты с черными парусами и как первым вскакивал на борт чужого корабля высокий человек со шлягой в одной руке и с пистолетом в другой. Я слышал дикий рев свистки и мрачные, протяжные песни... А высокий человек в шляпе с перьями стоял на пустой корме, смотрел на волны и думал. Глухо шумело море, тоненько пошвыстывал а вантах свежий ветер, и над горизонтом всходило веселое солнце...

Я и сейчас могу увидеть все это. Стоит только закрыть глаза, как снова зазвучат влажные голоса моря и песни, которых я никогда не слышал.

Я и сейчас могу увидеть все это. Но не хочу. Я знаю, что мне будет смешно и немножко грустно, и поэтому не хочу. А Карибское море я все-таки называю Карибским. И я всегда буду называть его так.

Куба... Там жили когда-то два старика. Один ловил рыбу, другой писал книги. Они были очень похожи друг на друга, потому что оба были сильными и смелыми. Их сыновья были смелыми тоже.

Их было меньше десятка, когда они ушли в Сьерра-Маэстра, унося раненных и оставляя убитых. А потом они вернулись, и Куба, о которой я почти ничего не знал и слышал гораздо меньше, чем о ее море, стала очень знакомой.

Я знаю, что такое Куба. Когда еще в прошлом году я сказал отнимку, что обязательно уеду на Кубу, он долго молчал, а потом сказал негромко:

— Поезжай.

И добавлял еще тише:

— Я тоже эздил. В Испанию. В тридцать шестом. И я запомнил: Куба — это для нашего поколения Испания. Там даже говорят на одном языке...

Я медленно читаю:

— «Мансанилья... Сьенфугос... Санта-Крус-дель-Сур...»

Это как музыка. Мы с Ленюкой редко говорим об этом вслух, но я знаю, что он тоже сидит иногда над точно такой же картой.

Пока у нас есть только карты. И книги. Но скоро будет Куба. Через год.

16

15

Мне весело. Я сижу, забравшись с ногами на стул и положив локти на стол. Еще нет и десяти вечера, а я уже дома, хотя обычно просиживаю у Ленюки до двенадцати. Сегодня я заставил Ленюку лечь пораньше, потому что завтра у него бой. Матчевая встреча. Леняка покаутировал меня тогда и теперь будет выступать за команду. Сейчас он уже спит: запер в шкаф всю бумагу и книги, а ключ взял с собой.

Но мне все равно весело. Я сижу, забравшись на стул и положив локти на стол. Передо мной

Леняка разогревается. Он проводит короткий бой с тенью и пробует несколько серий на «лапах», которые держу я. Ленякины быстрые, сухие удары отдаются в моих плечах и предплечьях, и по силе этой отдачи я чувствую, что они очень точны. Особенно длинный крюк слева и правый прямой. Это коронные Ленякины удары. Он и покаутировал меня тогда встречным справа...

— Хватит! — останавливаю я Ленюку.

Снимаю «лапы», накидываю ему на плечи полотенце и достаю из чемодана коробочку с капой.

В двери раздевалки показывается Вячеслав Вячеславич, а попросту Вячячя. Наш тренер.

— На выход! — командует он Леняке и добавляет тихо: — Ни пуха. А правую руку все-таки держи по-шашу.

Обычно всех наших ребят секундирует сам Вячвяч. И только мы с Ленькой всегда секундируем друг друга. Если, конечно, не работаем в одной паре.

Динамик над дверью зычно провозглашает:

— На ринг вызываются боксеры второго среднего веса...

Мы выходим.

Народу сегодня много, очень много. Даже в проходах стоят люди. Они смотрят на нас.

Вот и помост и ринг на нем. Ленька избегает по ступенькам, ныряет под канаты и поворачивается ко мне. Я вешаю полотенце на спинку стула и подвигаю Леньке ящик с канифолью. Ленька растирает ее подошвами боксерок, а я негромко говорю ему что-то. Я совсем не слезу за тем, что говорю: Ленька все равно плохо слышит меня сейчас. Я говорю просто потому, что это успокаивает немного. И Леньку и меня...

Леньку вызывают на середину, а я бросаю короткий взгляд в первые ряды. Где-то там, в зале, должен быть Ромка. Он хотел прийти сюда с нами, но перед самым выходом из дому куда-то исчез. Может быть, он и здесь уже, но я не вижу его, потому что все лица отсюда кажутся желтыми и одинаковыми.

Ленька возвращается. Последние, самые медленные и самые быстрые секунды... Я уже ничего не говорю. Я просто смотрю Леньке в глаза. И когда до меня доносится традиционный вопрос рефери «Ваш боксер готов?», я отвечаю громко:

— Готов!

Гонг. Ленька круто поворачивается лицом к противнику. Я успеваю легонько шлепнуть его по плечу и сразу же забываю обо всем, кроме желтого квадрата ринга, на котором сейчас сходятся двое — Ленька и его противник.

Первые удары. Это не удары даже, а быстрые, легкие прикосновения. Внимательнее, Ленька! Собирайся и держи повыше руки!

Противник чуть ниже Леньки и, кажется, сильнее физически. Это плохо, потому что Ленька любит ближний бой.

Атакуют противник. Он сильно бьет слева, ныряет под ответный крюк. делает два коротких шага вперед и бьет снизу. Ленька спокойно отходит и вдруг бросает режущий удар справа. Приседая, бьет по корпусу. Еще по корпусу — и в голову. Резко и точно. Молодец, Ленька!

Они сходятся на середине ринга. Они оба хотят победить, и победит тот, кто больше хочет победы. Жестче, Ленька!

— Стоп! — вскинув руку, кричит рефери и начинать считать.

Я вскакиваю. Неужели нокаут? Да. Это нокаут... Противник отбегает в нейтральный угол, а Ленька стоит, покачиваясь, и я сразу понимаю, что ему очень плохо. Странно! Я даже не видел, когда это случилось...

— Шесть... Семь... Восемь...

Руки, Ленька! Подними руки и прими стойку, или сейчас будет «девять», и ты проиграешь!

Ленька, сильно тряхнув головой, поднимает руки. Все в порядке! Бой еще не проигран! Значит, его еще можно выиграть!

— Бокс!

Противник идет напролом. Он знает, что теперь нужен всего один и даже не очень сильный удар. И он бьет изо всех сил. Бьет, стараясь попасть в подбородок.

Ленька уходит. Он плотно прикрывается плечом и «контрит» только левой. Держись, Ленька! Еще немножечко, совсем чуть-чуть, и раунд кончится!

Гонг!

Ленька подходит ко мне. Я подаю ему стул и хватаюсь за полотенце. Обтираю Ленькино лицо и кладу на затылок мокрую губку.

Я не слезу за своими руками: они знают, что делать. Я смотрю на Леньку и весело: Ленька приходит к себе.

— Как дела? — негромко спрашиваю я.

— Нормал! — улыбается Ленька.

Второй раунд. Противник снова атакует. Но теперь все идет правильно: два прямых сразу же останавливают его.

А дальше... Дальше я начинаю ерзать на стуле и едва удерживаюсь от того, чтобы не зорать во всю мочь: Ленька идет вперед! Он не отступает противника ни на шаг и бьет, не переставая. Спокойно, Ленечка! Отпусти его чуть-чуть — и резко справа! Вот так!

Теперь уже Ленька стоит в углу, а противник беспомощно виснет на канатах. И снова до меня доносятся бесстрастные «пять... шесть... семь...» Но насколько они приятнее тех!

А зал ревет. Раньше он, конечно, кричал и хлопал так же, но я ничего не слышал.

— Бей!..

— Сделай ему два зуба, один глаз!..

— Еще разок!..

Я знаю, что кричит такое. Эти крикуны никогда не выходили на ринг. Они любят его издали и только за то, что на нем дерутся. Когда Леньке было плохо, они издавались и над ним. Им все равно, кого бьют, лишь бы били...

Ленькин противник едва держится на ногах. Но он поднимает руки. Он просто молодец, этот невысокий упрямый парень! И, уж конечно, он гораздо сильнее тех, кто кричит на трибунах. Он мог бы не поднимать руки, и для него все было бы кончено. Но он поднимал...

— Бокс!

Ленька медленно приближается к противнику. Он бьет, но совсем не так, как раньше. Ленька «мжает». Он попадает по перчаткам, по плечам и локтям. И я улыбаюсь. Он хитрый, Ленька! Он знает, что выиграл, и теперь только имитирует бой.

Когда начинается третий раунд, я совсем успокаиваюсь. Ленька выиграл! Он легко кружит по рингу и артистически обрабатывает совсем обмякшего противника.

— Кончай его! — доносится из зала чей-то язвливый вскрик, но даже он не может сейчас разозлить меня. Я знаю, что Ленька никогда не работает на публику и не станет бить лежачего.

Гонг. Он застает Леньку и противника почти в нашем углу.

Они пожимают друг другу руки, и я слышу тихое, очень тихое:

— Спасибо...

Это противник. Честное слово, он парень что надо! И это ничего, что он пытался добить Леньку. Просто он очень хотел победить...

К нам подходит Вячвяч. Он говорит, поднимая Леньку руку:

— Все правильно! Понимаешь? Все!

Мы выходим на улицу через служебный выход и тут же попадаем в лапы «братьев-разбойников».

— Сила! — заявляют они и пугают Ленку по плечам. — Ты, брат, оказывается, и кулаками на все сто можешь!

— Дурацкое дело нехитрое! — скрипит из-за их спин Фобос. — Набили друг друга морды и радуется!

— Не нравится? — смеюсь я.

— Что я, дурак, чтоб мне нравилось?

— Тогда зачем пришел?

— А что я, хуже тебя?

Это обычные вопросы Фобоса, на которые никто не отвечает. Не отвечаю и я. И вдруг я вижу Динку. Она стоит чуть в стороне от толпы и смотрит на Ленку. Рядом с ней приплясывает Ромка.

— Гип-гип! — вопит он. — Это было как в сказке! Никогда не думал, что обыкновенная драка может быть таким искусством! Хотя искусство в общем-то — тоже драка...

Ленька молчит. Он смотрит на Динку и, наверно, не слышит Ромкиных слов.

— Поздравляю... — говорит Динка тихо и отворачивается.

А потом мы идем домой. К Леньке. Ромка трещит не переставая, Фобос продолжает ворчать, а «братья-разбойники» степенно толкуют о сайдстапах и кроссах справа.

Ленька и Динка идут рядом. Динка держит его под руку, и они оба молчат.

Нам открывает Полина Викторевна. — Здрасьте! — едва слышно бормочут «братья-разбойники», бочком протискиваясь в дверь.

Фобос, как всегда, не церемонится.

— Твоя мать, что ли? — спрашивает он у Леньки, кивая на Полину Викторевну.

— Да, — говорит Полина Викторевна. — Его мать.

— Угу, — бурчит Фобос и с интересом осматривается. — А у вас ничего! — заключает он. — Обоим только вот паршивые, и полны подгуляли малость.

— Вы уж извините, — говорит Полина Викторевна. — Мы...

— Нет, это уж вы нас извините! — вмешивается Ромка. — И не обращайтесь на него внимания. Это же Фобос!

— Фобос? — смеется Полина Викторевна. — Но ведь это в переводе, кажется, значит «ужас»!

— Ни больше ни меньше, — подтверждает Ромка. — Как? Соответствует?

— Ну что вы! Какой же это «ужас»? Это же очень милый мальчик!

Фобос лишается языка, а Полина Викторевна смеется и пожимает всем руки. Но я успеваю заметить, что на Динку она смотрит совсем не так, как на остальных.

В комнате столпотворение. Под потолком синие клубы табачного дыма, а на столе, вперемежку с недопитыми стаканами посыпанные пеплом листы и листики. Мы уже охрипли от ругани и теперь доругиваемся из последних сил.

— Дубы! — авторитетно заявляет Фобос. — Дубы вы, а не токар! Будь моя воля, я бы вас к станку только по праздникам подпускал!

— Сам пижон! — сипит Ромка. — Не в приспособлении дело! Угол резания не тот, понял?

— И понимать не хочу! Где у нас затерло? Вот, вот и вот!

Фобос яростно — так, что сгибается палец, — тычет в усеянный каракулями лист бумаги. Носы «братьев-разбойников» настороженно замирают, поворачиваются друг к другу и снова свешиваются над листом.

— Да пойми ты, чудак, — уговаривает Фобоса Ленька. — Легче переточить резец, чем с новым приспособлением возиться!

Мы спорим, наверно, уже час. Собственно, даже не спорим, а пытаемся убедить Фобоса. Но Фобос остается Фобосом.

— Бред! — упорствует он. — Как резец ни заточивай, его все равно поведет, если зажимы ни к черту!

— Уф! — отдувается Ромка. — Не могу! Не могу я с ним больше! Ну его в болото!

В комнату входит Полина Викторевна.

— Вам весело? — спрашивает она, подозрительно улыбаясь.

Мы непонимающе смотрим на нее.

— А что? — спрашивает Ленька.

— Да ничего! — отвечает Полина Викторевна, улыбаясь еще подозрительнее. — Просто я хочу передать привет всей вашей честной компании от девушки, с которой вы пришли. От Дины.

Динка!

Мы разом поворачиваемся к дивану. Диван пуст. — Где она? — остривает спрашивает Ленька.

— Ушла, — отвечает Полина Викторевна. — И правильно сделала.

Ромка, с грохотом отшвырнув стул, вылетает в переднюю, а Полина Викторевна продолжает, убирая стаканы:

— Я на ее месте тоже ушла бы. Что за охота сидеть в углу и глядеть на ваши глубокомысленные зады!

— А кто виноват? — возмущается Фобос. — Сидишь бы с нами. Слушала бы да ума набиралась.

Полина Викторевна улыбается снова.

— По-вашему, это очень интересно — слушать то, о чем вы только что говорили?

— А чего? — удивляется Фобос. — Нам же интересно!

— Товарищ Фобос очень хотел бы, чтобы токарно-слесарные проблемы трогали до слез всех без исключения?

Полина Викторевна выходит, не дожидаясь ответа. — Нехорошо! — крутят головами «братья-разбойники». — Прямо скажем, некультурно!

Ленька сидит вполборота к двери и легонько постукивает карандашом по краю стола. Ленька ждет. Грохает входная дверь. В комнату влетает Ромка.

— Не догнал! — говорит он и смотрит на Леньку. — Бежал — и не догнал!

— Неплелать! — отрезает Фобос. — Подумаешь, интеллигент!

Ромка взбешен.

— Ты зол, как сто львов, и глуп, как два осла! — высокомерно говорит он, но, не выдержав этого убийственного тона, срывается на привычный крик: — И вообще это ты во всем виноват, полупоточенный! Дернула тебя завести волюнку с приспособлением! Как будто другого времени нет.

И добавляет огорченно:

— Я думаю, Фобос — это редкость. Теперь знаю: все мы Фобосы!

Ленька нервничает. Он сидит между окном и телефонной трубкой и то высывается в окно, то косится на телефон.

Я сижу на диване и делаю вид, что не замечаю этого. Я уже в третий раз перечитываю устройство коробки передач гусеничного трактора, и все потому, что Ленька никак не может ее осилить. И это тем более непонятно, что мы уже давно прошли эту самую коробку, а теперь только повторяем. Если Ленька не осилит ее и после третьего раза, я выкину книгу в окно — а то самое, от которого не может оторваться Ленька — и пойду домой.

Я дочитываю раздел, захопываю книгу и спрашиваю:

- Как устроена коробка передач «ДТ-54А»?
- Ленька молчит и виновато хлопает глазами.
- Тогда я встаю. Я встаю и подхожу к окну. Книгу я, конечно, не выбрасываю: жалко. Я кладу ее на подоконник и снимаю телефонную трубку.
- Опоминись! — уговаривает меня Ленька.
- Но я занят. Я набираю номер.

Гудки. Я слушаю их и смотрю на Леньку. Если он действительно не хочет, чтобы я звонил Динке, он просто ударит по рычагу и разъединит нас. Но он не ударяет. Он только пересаживается на диван.

Наконец трубку снимают. Я слышу голос Динки.

- Здравствуй, — говорю я и протягиваю трубку Леньке. Он делает страшные глаза, но трубку берет. Я выхожу из комнаты. Я, по-моему, давно уже хочу пить.

Я выпиваю один стакан, думаю немного и выпиваю второй. Если бы это видел Вячеслав, он непременно сказал бы, что лишний стакан воды для боксера хуже стакана водки. Потом я долго полощу стакан, не горюясь, ставлю его в шкаф и возвращаюсь в комнату.

Ленька сидит на столе и болтает ногами. Увидев меня, сразу же начинает:

- Коробка передач «ДТ-54А» пятиступенчатая. Четыре передачи — по двухвальной системе, пятая — с помощью дополнительной...

Я очень удивляюсь, но слушаю. Ленька отвечает без запинки. Выпалив последнюю фразу, он подмигивает мне и улыбается. Я улыбаюсь тоже. Потом спрашиваю:

- Ты уходишь?
- Нет, — говорит Ленька.
- Двинем дальше?
- Давай!

Ленька снова садится к окну, а я беру книгу и забираюсь на диван. И все начинается сначала. Только теперь Ленька не смотрит в окно и не косится на телефон. Ленька слушает...

- Можно? — спрашивает Динка, кивая на «Тракторы».

Мы переглядываемся и молчим. Динка — ей, наверно, открыла Полина Викторевна — вошла неожиданно, и мы не успели спрятать книги.

Динка листает «Тракторы». Разглядывает схемы. Снова листает. А мы сидим и молчим.

- Странно! — говорит Динка и отдает мне книгу.
- Что? — не понимаю я.
- Все это, — говорит Динка.
- Почему? — не понимает и Ленька.
- Так, — говорит Динка,

Я встаю. Собираю раскиданные по столу схемы. Складываю их стопкой. Потом беру из шкафа книги. Первые попавшиеся. Одну — как будто Сэлинджера — кладу перед Ленькой, другую — томик Брюсова — перед собой. И спрашиваю у Динки:

- А теперь? Также странно?
- Не очень, — улыбается Динка.
- Почему? — спрашиваю я.
- Потому что интересно, — говорит Динка.
- Наоборот тоже интересно. Даже еще интереснее, — говорю я.

— Физики и лирики? — снова улыбается Динка. — Но, насколько я помню дискуссию в «Комсомолец», Полетаев имел в виду что-то ужасно электронное, кибернетическое. А здесь же...

Она пожимает плечами.

- Не тот размах? И не так модно? — спрашиваю я.

- Не знаю... — помолчав, говорит Динка.
- Ну хорошо, — говорю я. — А если нам нравится?
- Так не бывает, — смеется Динка. — И вообще нельзя, чтобы «Тракторы» нравились больше, чем Брюсов.

- Так бывает, — говорю я.
- В газетах, — говорит Динка.

Я не отвечаю. По-моему, глупо отвечать на такое. А Ленька смотрит на часы.

- Может, хватит на сегодня?
- Нет, нет! — пугается Динка. — Продолжайте. Я буду сидеть вот здесь и слушать.
- Сбежишь! — говорю я. — Как вчера...
- Нет! — смеется Динка. — А вдруг это и в самом деле интересно?

Кажется, Динка издевается. Ну и пусть! Я подаваю стул, беру «Тракторы» и начинаю читать вслух. Назло Динке.

Ленька сидит и смеется, а я все равно читаю. Я читаю очень громко, хотя не понимаю ни слова. Наверно, потому, что чувствую на себе насмешливый Динкин взгляд. Но я не оборачиваюсь и продолжаю читать.

Уже поздно. Мы идем вдоль совсем темной улицы и слушаем ее слепые шорохи и звуки. Мы — это Ленька, Динка и я. Динка пробывала у нас до двенадцати, и теперь мы с Ленькой провожаем ее.

Сегодня все было очень смешно и очень глупо. Я читал «Тракторы», Ленька смотрел на Динку, а Динка, наверно, скучала. Пожалуй, она на самом деле скучала, потому что минут через двадцать тихонько встала и вышла. Ленька выбежал за ней. А я все равно читал. Я стал читать еще громче, хотя и косил Динку глазом на дверь. Я читал и думал: уйдет Динка или не уйдет?

Динка не ушла. Ленька вернулся и сказал, что они с Полиной Викторвной засели за телевизор. И нам сразу стало легче. По крайней мере мы стали читать по-настоящему. Нам, правда, пришлось повторить то, что я читал при Динке, но дальше пошло уже лучше. А потом мы совсем забыли про Динку и вспомнили о ней только тогда, когда она собралась домой.

- Это правда? — тихо спрашивает Динка.
- Что?
- Ну... про Кубу...

— Правда...— помолчал, отвечая я.
Из открытого окна нас обдает музыка. Негромко поет что-то густой женский голос. Я не успеваю понять слов, потому что песня остается сзади.

— Тебе сказала об этом мама?— спрашивает Ленка.

— Да...— отвечает Динка.— Это плохо?

Конечно, это плохо. Мы с Ленкой никому не говорим о Кубе. И, по-моему, правильно делаем. Об этом должен знать только тот, кого это касается. А это касается только нас с Ленкой.

Но я ничего не отвечаю Динке. Не отвечает и Ленка. Пусть знает, раз уж узнала.

Нас обгоняют машины. Много машин. От красных точек их стоп-сигналов синее становится ночь.

— Вы бы, конечно, не сказали мне об этом...

— Сказали бы...

— Перед отъездом?..

— Раньше...

— Когда?

— Скоро... Очень скоро...

Пожалуй, Ленка прав. Пожалуй, Динке можно сказать об этом.

У самой обочины темнеет неуклюжая туша катка. От нее все еще несет сухим жаром и вкусно пахнет соляной. Перед ней— черное крошево облитого смолой гравия, за ней— плотный, ноздреватый асфальт.

— Ты узнала об этом сегодня?

— О Кубе? Да...

— Ты не говори. Никому. Хорошо?

— Я понимаю...

Мы идем по улицам и молчим. Мы— это Ленка, Динка и я.

20

Фобос орет так, что ежась даже «братья-разбойники».

— Хватит! Чтоб я еще раз! Хоть когда-нибудь!.. Да пусть она горит, программа эта самая, и с рационализацией вместе! У-у, зануда!..

И он замахиивается сухим кулачком на равнодушно поблескивающую резцовую головку.

Фобоса можно понять: сегодня у нас была вторая проба— и опять ничего... Правда, резцы выдержали, но деталь все-таки оказалась запоротой. Одна из четырех. Видимо, за счет прогиба самой детали, потому что именно это, четвертая деталь самая тонкая и длинная из всех.

Фобос орет, «братья-разбойники» слушают, Ромка, причесав за их спинами, трясется от смеха, а мы с Ленкой разглядываем резцы. Может быть, мы все-таки неправильно заточили выкружки, ослабляющие усилие резания?

— Здравствуйте, ребята!

Мы обобщаемся. В приоткрытой двери торчит чья-то худая голова. Она с любопытством поводит огромными глазами и вежливо улыбается.

— Посторонним вход воспрещен!— рявкает Фобос.

— Разве?— удивляется голова.— Но здесь ничего не написано... И мне сказали...

— Закрой дверь, тебе говорят!— еще круче забирает Фобос.

Но голова, как видно, не из пугливых. Дверь открывается шире, и вслед за головой появляется маленький человечек. Он такой маленький и худень-

кий, что даже Фобос рядом с ним кажется большим и толстым.

— Здравствуйте,— повторяет маленький незнакомец, не глядя на захохотавшего от злости Фобоса.— Я к вам по делу...

— Излагайте!— разрешает Ромка.

И незнакомец излагает. Он командирован на наш завод редакцией молодежной газеты. Должен написать очерк о молодых строителях коммунизма. В комитете комсомола ему посоветовали поговорить с нами, и вот он здесь...

Он говорит, а мы с Ленкой смотрим на него и пытаемся вспомнить, где мы видели это худенькое тельце, эти черные патлы и, наконец, эти феноменальные очки.

— Помнишь?— тихо спрашивает Ленка.

— Нет,— говорю я.

— Набережная. Около стадиона,— говорит он.

И я вспоминаю.

Это было в прошлом году осенью у старого стадиона. Там всегда темно и тихо, и можно поговорить без помех. И скамеек там очень удобные. Чьи-то заболитные руки постерлались запихнуть их в кусты— подальше от узенькой полоски асфальта, от набережной. И поэтому, если говорить вполголоса, никто ничего не услышит. Впрочем, вечерами там почти всегда пусто: это место считается самым страшным в нашем городе. Все убийства и ограбления, о которых толкуют в трамваях тетеньки пенсионного возраста, совершаются почему-то именно там. Может быть, это и так, только мы с Ленкой не видели ни одного. Ни убийства, ни ограбления. Хотя ходим туда очень часто.

В тот вечер мы пришли к старому стадиону после первого занятия на курсах.

Сидели на одной из скамеек и говорили. Конечно, о тракторах и о Кубе. И вдруг услышали, как кто-то сказал громко:

— Хулиганы! Я не боюсь вас!

Мы вскочили.

У паркета набережной, прижавшись спиной к чугунной решетке, стоял парень. Он был невысокого роста и весь какой-то узенький. У него были тонкие руки, тонкие ножки и как будто сдавленные плечи. Вокруг него топтались какие-то пьяные парни и, скудно мотаясь, старались щелкнуть его по носу. Он неумело прикрывая одной рукой лицо, а другой придерживал большие очки.

Мы разглядели все это в одно мгновение, а в следующее уже были рядом с очкастым. Двое пьяных— те, что стояли у нас на дороге,— нюхали асфальт, а остальные во все глаза глядели то на Ленку, то на меня, заметно трезвее. Потом они, отчаянно ругаясь, кинулись на нас.

Их было шестеро, и нам пришлось здорово повозиться, прежде чем они показали нам спины. Я схлопотал пару раз по шее, а Ленка— не берет же ему!— заработал очередной синяк.

Очкастый, к нашему удивлению, тоже полез в драку.

Он упал сразу же, но быстро поднялся, ощупывая нащел очки, надел их и снова полез в самое пекло. Мы, как могли, прикрывали его, но он все-таки вылез вперед, получил по носу и опять упал. Полежал немного, опять встал и опять воинственно замаха л руками.

Тогда Ленка крикнул ему:

— Куда лезешь, дурак! Стойди! Не мешай!

Очкастый вместо ответа нагнул голову и бросился ему на помощь. Парни попятились. Их осталось только трое: один стоял на четвереньках и мотал головой, а двое других снова улеглись поперек асфальтовой дорожки.

— Ата!— вдруг крикнул один из парней, и они сразу исчезли в кустах, увлакивая тех двоих, которых мы сбились последние.

Из-за стадиона бешеным галопом вылетел комсомольский патруль.

— В чем дело?— наскочил на нас шустрый парнишка лет шестнадцати.— Хулиганство? Драка?

Он крепко взял меня за рукав, но очкастый достал какую-то книжицу, сунул ее в нос парнишке и сказал:

— Все в порядке, ребята!

Парнишка сразу повеселел и увел свою шумную братию, крикнув на прощание:

— А вы все-таки поосторожней! Здесь, говорят, всякое бывает, товарищ корреспондент!

Мы с Ленкой переглянулись, а очкастый сказал:

— Кюммель.

— Как?— не поверили мы.

— Кюммель,— повторил он и протянул нам руку.

Мы назвали себя.

— Боксеры?— спросил он.

— Ну, допустим,— осторожно ответил Ленка.

— Заметно!— заулыбелся очкастый.— А я вот не боксер...

— Также заметно!— усмехнулся Ленка.

Мы помолчали. Я осторожно ощупывал ноющую шею, Ленка посасывал разбитую губу, а очкастый растянул вспухшую переносицу.

— Черт знает что!— вдруг рассмеялся он.— Не думаю, что придется когда-нибудь и за этакое задаться!

И он с отвращением посмотрел на свои ладони.

— Не нравится?— спросил Ленка.

— Да ведь джист же!

— Что джист?— спросил я.— Когда ты бьешь или когда бьют тебя?

— Хм!... То и другое, по-моему...

— А если все-таки бьют? Что делать?

— Н-не знаю...— протянул очкастый.— Ведь есть же милиция... И вообще человек не должен бить человека!

— А если все-таки бьют? И до милиции далеко? Тогда как?

— Н-ну...— помывшись, сказал очкастый,— наверно, давать сдачи... Только я все равно презираю драки и этот ваш бокс!

— На здоровье!— ответили мы и пошли домой.

— До свидания, ребята!— донеслось нам вслед.— Спасибо!

— Интеллигенция!— сказал я.— Его по щекам хлещут, а он в носу ковыряет и зычит: «Ах-ах! Какое варварство! Фи, как неприлично!»

— А ведь он не хныкал,— сказал Ленка.— Он дрался.

— Толку с такой драки! Только мух отгонять!

— Не злись,— сказал Ленка.— Он хороший парень, хотя и не умеет драться.

Я не ответил.

И вот теперь этот очкастый Кюммель стоит перед нами и рассказывает о своем не совсем понятном для нас деле.

— Очерк, значит?— прищуривается Ромка.— О молодых строителях коммунизма? Ну что ж! Валайте!

— Ходят тут всякие... Только людям мешают...— бурчит из угла Фобос, а «братья-разбойники» торпливо прилаживаются чужбы.

— Могу я узнать, над чем вы сейчас работаете?— спрашивает Кюммель и достает из кармана здоровенный блокнот.

— Пожалуйте сюда,— приглашает его Ромка.

Они подходят к станку, и Ромка начинает:

— Видите ли, одна американская фирма освоила выпуск приспособлений, значительно повышающих общую экспрессию станка, а также не меньше чем на двенадцать процентов снижающих его динамическую равнодействующую. Мы подумали, посоветовались со старшими товарищами, с завкомом, членами правления кассы взаимопомощи и взяли на себя повышенные обязательства: обеспечить к концу текущего квартала улучшение экспрессионных качеств станка вдвое против американского, а также добиться полной инграденции ориентированных суперагрегатов. Кроме того...

Ромка продолжает в том же духе, «братья-разбойники» растерянно хлопают глазами, Фобос судорожно дергает щекой и старается фыркать потише, мы с Ленкой прикрываем рты ладонями, а Кюммель все строчит и строчит в своем необъятном блокноте.

— Благодаря вас,— вежливо кивает он, когда Ромка выдыхается.

Потом прячет блокнот в карман, подходит к станку вплотную и берет с тумбочки штангенциркуль. Глядя на чертежи, быстро работает штангелем, потом — радиусомером.

Мы стоим вокруг и со страхом наблюдаем за ним. А он, не обращая на нас никакого внимания, откладывает инструмент и вдруг включает станок.

— Стой!— бросается к нему Фобос.— Это тебе не ундерауд!

Кюммель не оборачивается. Он несколько раз подводит резцы к детали, отводит их назад, снова подводит и внимательно приглядывается к ним. Потом выключает станок.

— Значит, не получается инграденция ориентированных суперагрегатов!— спрашивает он у остолбеневшего Ромки.

— Не получается,— признается Фобос.

— А со старшими товарищами советовались? С парткомом, завкомом, членами правления кассы взаимопомощи и, кстати, с инженерами?

— Нет,— говорю наконец я.

— Напрасно,— говорит Кюммель.— Они не всегда воспитывают. Иногда они помогают.

— А что?— оживляется Ромка.— Давно поре! А то как бы велосипед заново не изобрести.

— Бедный маленький мальчик!— ошестинивается Фобос.— Он хочет, чтобы ему помогли застегнуть штанишки!

Но разве может Фобос прожить хоть минуту без крика!

— А сам!— орет он.— А ты! Привыкли, понимаешь, чужим умом думать! Как что — так к старшим!

А семьдесят тебе стукнет, ты тоже на старших будешь оглядываться? Нет уж! Учись своими ножками толпать!

У Кюммеля странно блестят глаза, когда он смотрит на Фобоса. Он быстро сует руку в карман — наверно, за блокнотом, но Фобос, заметив это, рычит:

— Брось! Тут тебе не цирк. Тут завод. Понял? Кюммель покорно выкидает руку.

— Так-то лучше, — удовлетворенно говорит Фобос. — И вот тебе мой сказ: ты хороший парень, хоть и писатель, но лучше брось! Не пиши! А то выгоню.

— Но... почему? — терзается Кюммель.

— Потому! — объясняет Фобос. — Дашь слово, что не будешь о нас писать, — милости просим, а не дашь — иди к другим. К тем, которые в газетку твою хотят.

Кюммель растерянно смотрит на нас. Мы молчим. Мы ждем.

— Ладно! — отчаянно махнув рукой, говорит он. — Дую, чтоб вы сошли!

Мы смеемся, и Кюммель смеется вместе с нами. А Фобос снова ворчит:

— И чего ржете? Дело стоит, а они надсаживаются!

— Так в чем тут, собственно, завычка? — спрашивает Кюммель, усаживаясь на ящик с заготовками.

Мы садимся тоже, и Ромка начинает рассказывать ему историю наших мытарств. Уже без дураков.



21

«В» дизелях Д-54А грубая очистка топлива производится между топливным баком и подкачивающим насосом...» — читает Ленька, а я сижу на краю стола и разглядываю фигуру 86, на которой изображена система питания.

У нас запарка. До окончания курсов осталось меньше недели, и нам теперь совсем не хватает времени. И поэтому мы никуда не ходим. Даже на тренировки. Мы садимся за «Транкторы» сразу же после смены и отваливаемся от них в двенадцать. И так каждый день.

Ленька читает, я разглядываю фигуру 86 со схемой питания и стараюсь представить двигатель старого артиллерийского тягача, на котором мы практикуемся.

В передней звонок. Я сразу узнаю его — так звонит только Динка. Ленька выбегает в переднюю, а я швыряю книгу на стол и отворачиваюсь к окну.

Я не люблю, когда к нам приходит Динка. Я ничего не имею против самой Динки, но лучше бы она приходила пореже.

Мы бросаем книги, когда к нам приходит Динка, — это бывает теперь почти каждый день — и пытаемся развлекать ее. Но у нас получается плохо, потому что мы думаем о другом. Мы думаем об экзаменах, потому что, если мы сддим, до Кубы останется совсем немного. Всего год.

Когда кончается обмен новостями, которых почти нет, Динка берет Хемингуэя и садится в самый угол — так, чтобы нам ее не было видно. И сидит там, пока мы не кончим. Она, вероятно, думает, что никуда не мешает нам. Но какое может быть чтение, когда Динка рядом? Ленька все время косится на угол, в котором она сидит, и путает коленвал с валом отбора мощности, а я начинаю злиться.

Только тогда, когда Динка уходит к Полине Викторовне смотреть телевизор, все становится на свои места. И еще, когда мы прощаемся Динку...

Я ничего не имею против Динки. Я люблю смотреть на нее, потому что она очень красивая. Но лучше бы она приходила пореже. Ведь у нас запарка...

Входит Динка и Ленька. Динка, извиняясь, усаживается на диван, а Ленька — рядом со мной, на стол.

— Все сидите? — спрашивает Динка.

— Все сидим, — хором отвечаем мы.

— Похвально, — говорит Динка и, покопавшись в сумке, протягивает нам пять рублей. — Сходите и купите коньяк. Я угощаю.

Это что-то новенькое. Я вижу Динку такой впервые. И говорю:

— В этом доме не пьют ничего, кроме кефира.

Мы с Ленькой, конечно, пьем не только кефир. Иногда мы пьем кое-что и покрепче. Но Динка сказала: «Я угощаю». И сказала таким тоном, что я не мог ответить ей иначе.

Динка добавляет еще рубль. И говорит очень серьезно:

— Тогда купите ящик кефира.

Мы переглядываемся. Ленька прыгает со стола и подходит к Динке.

— В чем дело? Случилось что-нибудь?

— Вот именно — случилось! — усмехается Динка.

— Что?

— Случилось так, что я благополучно сдала сессию.

Это, наверно, очень смешно, потому что Ленька начинает смеяться. Он смеется, а я смотрю на Динку. С ней определенно что-то случилось. Она сидит очень прямо и смотрит мимо нас.

Ленька, отсмеявшись, выбегает.

— Я сейчас! — кричит он уже из передней, и сразу же громко щелкает замок входной двери.



Мы с Динкой остаемся одни.

— Я, как всегда, помешала? — спрашивает она.

— Да, — говорю я.

— Может, мне уйти?

— Нет, — говорю я. — Тогда будет еще хуже.

— Кому? — усмехается Динка. — Мне?

— Никому. Просто хуже.

— Значит, ты разрешаешь мне остаться?

— Значит, разрешаю.

— Если ты когда-нибудь умрешь, то явно не от избытка вежливости, — говорит Динка. — Но ты не умрешь. Ты превратишься в памятник самому себе.

— Ты хотела бы, чтобы я улыбался и кланялся? Но мне совсем не хочется ни улыбаться, ни кланяться.

— Ну, конечно, — говорит Динка и асает. — Ты же очень принципиальный. И прямой. Ты всегда решишь правду-матку в глаза.

— Это плохо? — спрашиваю я.

— Это грубо, — говорит Динка.

— Зато честно, — говорю я.

— Не всегда, — говорит Динка.

— Сядь, — говорю я. — Роковая женщина — это не очень красиво. Это скорее смешно.

Динка садится. Кладет ногу на ногу и смотрит мне в глаза. Смотрит так, что я начинаю злиться по настоящему.

— Ты, оказывается, злой, — говорит Динка. — Я не думала, что ты такой злой.

— Я добрый, — говорю я. — Просто я не люблю, когда хнычут. Даже так философически, как ты. И не умею вытирать слезы. Понимаешь?

— Понимаю, — говорит Динка. — А теперь лучше помолчим. Или...

Динка не успевает договорить: в комнату влетает Ленька. В руках у него бутылка. На бутылке наклейка: «Портвейн».

Ленька, не глядя на меня, ставит бутылку на стол и лезет в буфет за стаканами.

— Кефира нет, — говорит он, не оборачиваясь. — Есть только это...

Я смотрю, как льется в стаканы вино, как зажигается в них рыжий дрожащий огонь. Я слушаю, как тихоноcko позвякивает горлышко бутылки по краю стакана, и вдруг понимаю: у Леньки дрожат руки. Наверно, от быстрого бега.

Ленька поднимает стаканы. Мне и Динке. Берет свой.

— Выпьем?

— Выпьем, — говорит Динка. — За то, чтоб не было злых.

— Нет, — говорю я.

— Хорошо. Выпьем за то, чтоб все были злыми.

— Нет, — говорю я. — Я не буду пить.

Я вижу, как Ленька опускает стакан, вижу, как беспомощно смотрит на меня Динка, и понимаю: я должен выпить.

И я пью. Ставлю стакан и говорю:

— Вот и все.

Ленька улыбается и снова поднимает стакан. И пьет, не переставая улыбаться.

— Жертвы, жертвы и жертвы, — непонятно говорит Динка. — Несть им числа. А все от врожденного благородства...

По-моему, она опять задирается. А может быть, и нет.

Я почему-то перестаю понимать ее. Наверно, потому, что в голове у меня начинает шуметь.

Я отхожу к окну. Открываю его и ложусь на подоконник. Я слушаю, как шумит у меня в голове, и совсем ни о чем не думаю. Я не знаю, о чем сейчас говорят Динка и Ленька. И не хочу знать.

А на улице вечер. Желтый и синий. И первые звезды.

Маленькие и бледные. Здесь, у нас, они никогда не бывают такими яркими, как на юге. Но они все равно нравятся мне. Они строже и чище.

Интересно, какие звезды над Кубой? Такие же, как над Сочи? По-моему, нет. По-моему, над Кубой не может быть таких звезд, как над Сочи.

Я видел те, которые над Сочи. Они не нравятся мне. Это какие-то тепловатые, измененные звезды. А над Кубой должны быть такие же, как над Ленинградом,— холодные и звонкие.

Впрочем, может быть, я и путаю что-то, но мне очень хочется, чтобы звезды над Кубой походили на эти. На наши.

Вдруг я слышу над самым ухом негромкое:

— Подвинься...

Это Динка и Ленька.

Я подвигаюсь. Они тоже лезут на подоконник и начинают смотреть на звезды.

А улица уже спит. Очень прямая улица, уходящая к звездам.

22

Вой! Мы трактористы! Мы получили права! Маленькие книжечки— чуть больше заводского пропуску— лежат в наших карманах. Обыкновенные книжечки с обыкновенными картонными корочками...

Всего час назад я подходил к нашему старинному артиллерийскому тягачу, и у меня деравели шия и плечи. Я знал, что сойду с него уже трактористом, но ладони у меня все равно были влажными. Ленька стоял в стороне и улыбался: он уже сдал вождение, и ему, конечно, можно было улыбаться.

Я и сейчас слышу пулеметный треск пускача и добродушное ворчание двигателя. Я и сейчас вижу, как медленно ложится под гусеницы изжаренная траками земля, а руки мои все еще подрагивают, словно и сейчас в них теплые от чьих-то ладоней рычаги...

Если бы меня не остановили, я бы, наверно, тянул тягач целый день. А завтра пришел бы снова и снова влезал бы за рычаги. И послезавтра тоже, потому что очень уж редко нас подпускали к этому старому тягачу. Впрочем, это обыкновенный трактор выпуска сорок первого года. Но мы называем его тягачом, потому что он выкрашен в зеленую краску и на левой дверце у него две неровные заплатки, а на правой стойке кабины— пулзая пробирка.

Мы— Ленька, я и остальные тридцать восемь— молча постояли вокруг него перед тем, как идти за правами.

Потом мы ушли, а он остался на небольшом пустыре, который почему-то называется полигоном. Остался там, где его остановил последний курсант. Его решили не отводить в гараж, потому что завтра сюда придет вторая группа и чьи-то потные руки снова тронут его рычаги...

Это было всего час назад, и уже полчаса в наших карманах лежат права. Обыкновенные книжечки с обыкновенными картонными корочками.

Ленька еще раз достает свою, взвешивает на ладони. Улыбается.

— Почти год...

— Да,— говорю я.— Почти год...

Но я уже думаю не о том, что было. Пожалуй, теперь нам можно подумать и о том, что будет.

А будет, по-моему, просто. Осенью мы обязательно устроимся на курсы бульдозеристов. Кажется, такие курсы есть даже на нашем заводе. А если и нет, то ведь где-нибудь они все равно есть. Зна-

чит, к будущей весне мы сядем на бульдозеры. И тогда— Куба!

— Не знаю,— сомневается Ленька.— Трактористы из нас пока липовые. А без практики на курсы лучше не лезть. Не пригнут.

Ленька г-раг. Но где ее взять, эту практику, если мы наездили всего по два десятка часов? Если бы мы учились с отрывом от производства, нас бы обязательно послали стажироваться. Месяца два-три. Но нам очень не хотелось с отрывом...

23

Балды!— объявляет Ромка, выслушав нашу исповедь.— Это же свинство— удумать такую штуку и не сказать мне ни слова! Ну, ладно же! Я— вот увидите!— придумаю что-нибудь такое, но уж сказать вам— дудки!

Он бегаёт от окна к двери и страшно ругается. А мы сидим и посмеиваемся. Он очень смешно сердится, это маленький, толстенький Ромка!

Мы рассказали ему обо всем. О тракторах и о Кубе. Рассказали, хотя еще совсем недавно думали, что не расскажем никогда. Рассказали, потому что нам очень захотелось рассказать. И именно ему, Ромке.

— И вообще,— продолжает кипятиться он,— получается некрасиво: хорошие Леня и Боря поедут на Кубу, а плохой Рома останется в своей коммунальной квартире. Умные Леня и Боря будут пить черную кофе и танцевать пагачу, а глупый Рома— смотреть телевизор и играть в прерферанс! Так, да?

— Не хмыч,— говорит Ленька.— Пока еще умные Боря с Леней и глупый Рома сидят по домам.

— Так ведь это пока...— печально тает Ромка, и мне становится жаль его.

— Брось!— говорю я.— Может быть, у нас и не получится.

— Не утешай! Будь у меня права, как у вас, уж я бы...

— Никуда бы ты не делся. Наезд нужен. Практика. А ее нет.

— Мне вас учить, да?— удиляется Ромка.— Бросайте к дьяволу работу и устраивайтесь по специальности!

— Думали,— говорит Ленька.— Но, во-первых, с завода уходить что-то не очень хочется, а во-вторых, некуда устраиваться. Тракторов нет. Только бульдозеры или трубоукладчики. А к ним нас не подпустят. Там свои права нужны.

— Эка!— поражается Ромка.— Во всем городе— и ни одного нормального трактора!

— А что на них в городе делать? Асфальт переплачивать?

Ромка окаменевает.

— Постояй, постояй...— бормочет он.— Асфальт... Переплачивать...

Но он стоит так недолго.

— О! Вот так Рома! Вот так голова!— вдруг разражается он и начинает приплясывать. Он пробует даже присядку, но чуть не падает и снова принимается топтаться на одном месте.

Мы молча смотрим на него и ждем, когда ему надоест. Наконец он останавливается и говорит:

— Плюньте тому в глаза, кто вам скажет, что Рома не гений!

— Плонуем! — обещаем мы. — А дальше?

— Колхоз, — говорит Ромка. — Понятно?

— Нет, — говорим мы.

— Темнота! — торжествует Ромка. — Все же просто, как очищенная река! Вы берете отпуск. Я тоже. Вы едете в колхоз. Я тоже. Вы работаете трактористами. Я даю руководящие указания. Вопросы есть?

Вопросов нет. Мы сидим и хлопаем глазами — действительно гениально!

24

Динка стоит на самом краю небольшой вышки. Руки ее подняты над головой, и по ним стекает солнце.

— Привет! — говорит она нам и ныряет.

Мы с Ленькой на бегу срываем майки и взлетаем на вышку. Мы снова видим Динку. Она совсем близко. Она смеется и машет нам рукой.

Я бросаюсь вниз. Глухой удар о воду, легкий звон в ушах, а пальцы уже упираются в илистое дно. Толчок, сильный рывок всем телом — и вот уже снова солнце. И Динка.

— Догоняйте! — кричит она.

Я ложусь на бок. Но плыву не очень быстро. Я жду Леньку. И Ленька догоняет меня. С минуту мы идём с ним плыв в плыв, а потом я сбавляю темп и отстаю. И отворачиваюсь.

У самого берега по колено в воде стоит Ромка. Он черпает ладонями воду и, блаженно позвизывая, плещет себе на живот и на грудь. В двух шагах от него стоят какие-то девочки. Они смеются и что-то говорят ему. Наверно, издеваются.

Вдруг Ромка, испуганно ойкнув, плашмя падает в воду. Он барахтается, понемногу удаляясь от берега, и верещит что-то похожее на «спасите». Девочки миглом оказываются в воде и протягивают ему руки. Но Ромка, пуская огромные пузыри, уходит в глубину. Девочки ныряют.

А Ромка, проплыв под водой метров десять, выныривает и уходит от них бешеным кролем.

— Хулиган! — несется ему вслед негодующий девичий крик.

Нам весело. Мы сидим на влажной, остро пахнущей траве и потешаемся над Ромкой. Ромка обещался. Он убрал большие половники из того, что мы привезли с собой, и теперь лежит среди яичной скорлупы, пустых банок и охает, не забывая в промежутке между двумя охами запускать руку в кулек с конфетами.

Сегодня мы отдыхаем. Отдыхаем, пожалуй, в первый раз за последний месяц. И нам очень весело. Нам весело и потому еще, что, пожалуй, в первый раз за последний месяц мы не боимся не успеть и не доедать.

Нас четверо. Динка, Ромка, Ленька и я. Три дня назад мы с Ленькой сдали на права, и уже три дня мы бываем вместе. Позавчера мы ходили в театр, вчера — на два кино сразу, а сегодня Динка заехала за нами на том же прокатном «Москвиче», когда еще не было шести утра, и увезла нас на озеро.

Три дня мы вместе, и за эти три дня я ни разу еще не ругался с Динкой. Она стала теперь другой — такой, какой она мне нравится. Она больше не говорит загадками. Она просто смеется, просто мол-

чит, и мне с ней совсем просто. Как с Ленькой и с Ромкой.

— Матушка-заступница, Мария-троеручица! — стонет Ромка, роясь в кулке с конфетами. — Света Белого не вижу! Тяжко мне, родимые, тяжело!

— Излишество вредно! — говорю я и отбираю у него кулек.

Ромка сразу перестает стонать и укоризненно смотрит на меня.

— Любить никогда не вредно, — наставительно говорит он. — Даже кильку в томатном соусе.

— Не только кильку, — говорит Динка.

— Ну да, — соглашается Ромка. — И сайру тоже.

Динка смеется. И говорит, все еще улыбаясь:

— Мальчишки! Есть идея. У меня каникулы. У вас, я знаю, скоро отпуск. Давайте вместе, а? Куда-нибудь поведем.

— В Сочи! — спрашиваю я.

Динка внимательно смотрит на меня, потом говорит:

— Не обязательно.

— А почему? — удивляется Ромка. — Уж ехать так ехать!

— Вот именно, — говорит Ленька. — Ехать так ехать. Например, в Березовку.

Ромка с минуту сморщивает на него. Хлопает себя по лбу и виновато улыбается.

— Склероз, — говорит он. — Надо же — совсем забыл! Напрочь!

А я помню. Помнит и Ленька.

Все решено еще позавчера. Мы едем. Только не в колхоз, а в совхоз, потому что в совхозе легче устроиться на временную работу. Мы выбрали и деревню, в которую поедем.

На наше счастье, у Ромки нашлась карта области. Он выколотил из нее пыль, и мы начали подписывать что-нибудь подходящее. Мы с Ленькой действовали по принципу: чем дальше, тем лучше. Ромка, правда, клялся и божились, что во всех совхозах трактористы нужны одинаково, но нам с Ленькой кажется, что в тех, которые недалеко от города, трактористов хватает. Ромка в конце концов сдался, но выставил встречное требование: чтобы там, куда мы едем, обязательно были и река и лес. Мы, понятно, согласились, но долго не могли остановиться на чем-нибудь определенном.

Спорили до хрипоты: хотелось туда и туда. Потом Ромка закрыл глаза, ткнул пальцем в карту, открыл глаза и прочитал: Березовка. И мы согласились. Там более, что если верить карте, там есть и лес и река. Мы не знаем, правда, что там, совхоз или колхоз, но мы обязательно узнаем, ведь до отъезда еще далеко.

— Березовка? — спрашивает Динка. — Это что? Курорт?

— Почти, — говорит Ленька.

— Опять, — начинает сердиться Динка. — Опять тайны! Нельзя ли попроще?

— Можно, — говорит Ленька и рассказывает ей обо всем.

Динка слушает и молчит. И смотрит на Леньку очень серьезно.

— Понимаю, — медленно говорит она, когда Ленька заканчивает. — Вам опять надо, да?

— Надо, — говорю я.

Динка улыбается. Очень весело улыбается. Но глаза у нее злые.

— Хватит! — говорит она и встает.

Мы не двигаемся. Ленька краснеет почему-то, а я смотрю на Динку и стараюсь понять, что с ней случилось.

А Динка садится в машину и дает такой газ, что мотор, обижено взыв, сразу глохнет.

Я встаю и подхожу к машине. Открываю дверцу и сажусь рядом с Динкой.

— Слушай,— говорю я,— в чем дело?

— Ни в чем,— говорит Динка и снова со злостью прижимает педаль газа. Мотор опять глохнет.

— А все-таки? — говорю я.

Динка молчит.

— Слушай,— еще раз говорю я.— Отпусти газ. В городе же совсем нечего делать.

— А если мне надо? — не глядя на меня, говорит Динка.— Может быть так, что и мне куда-нибудь надо? Хоть раз!

Я пожимаю плечами. Выхожу из машины и выбираю траву рюкзак. Свой и Ленки. Потом начинаю сворачивать одеяло, потому что оно Динкино. Ленка сидит и смотрит то на меня, то на Динку.

— Ничто не вечно под луной,— непонятно говорит Ромка,— кроме самой застарелой проблемы...

Он не успевает договорить: к нам подходит Динка. Она поднимает рюкзаки и относит их в машину. Потом отбирает у меня одеяло и снова расстилает его.

Динка не смотрит на нас. Она старательно разглаживает складки на одеяле, а мы смотрим на нее и смеемся. Просто так.

25

Все мы стоим вокруг станка Фобоса и хохочем. Нам так весело, что мы смеемся даже тогда, когда острят «братья-разбойники». Еще бы! На тумбочке — целая куча еще не успевших остыть деталей. Все до одной в допуске.

Фобос бережно укутывает неуклюжую на вид резцовую головку в чистые тряпочки и прячет ее в тумбочку. Он все-таки настоял на своем и сделал ее заново.

— Ого-го! — ликуют «братья-разбойники». — Теперь мы покажем!

— Или не покажем,— словно невзначай роняет Ромка.

Фобос сразу ошетинивается:

— Не карчай! Вон, гляди: лежат детали-то. Не вершишь — пощупай!

— Верю,— говорит Ромка. — Да только...

Ромка имеет в виду отпуск. Тот самый, в который уходит он и мы с Ленкой. Мы уже написали заявления и сегодня отдали их начальнику цеха.

— Ну, что тебе надо? — не понимает Фобос.— Через недельку-другую поставим еще шесть головок и уж тут, брат, начнем щелкать детали, как семечки! Скажешь, нет?

Ромка мнется. Ромка вопросительно смотрит на нас, и мы понимаем, что больше молчать нельзя.

— Тут, понимаешь, вот какое дело... — нерешительно начинает Ленка.— Уезжаем мы скоро... В отпуск... «братья-разбойники», переглянувшись, недоверчиво хмыкают, а Фобос поджимает губы.

— На дачку, значит? Так-так... Очень интересно...

— Да ты погоди,— говорю я.— Ты слушай...

И я рассказываю обо всем. Кроме Кубы.

— Врешь ты что-то,— сомневается Фобос.

— Вот какой! — стараюсь не краснеть, смеюсь я.— Да ведь правда же! Мы просто хотим сменить специальность.

— Что-то не пойму я... — продолжает сомневаться Фобос.— А зачем?

— Просто хотим, и все!

— Не удовлетворяет, что ли? — догадывается Фобос.

— Ну да! Не удовлетворяет! — облегченно улыбаюсь я.

— Типичные интеллигентские штучки! — цедит сквозь зубы Фобос.— Эх, ах! Чистоплюи!

— Будем взаимно вежливы! — возмущается Ромка.— Это не штучки, а суровая необходимость!

Фобос берет за Ромку.

— Ну, ладно. Эти двое еще куда-сюда. А ты!

— А что? Мне нельзя, да?

— У них — права. А у тебя?

— А у меня... дядя директор! — вдохновенно врет Ромка.— В этом... в совхозе!

— Значит, если дядя, так и без прав можно?

— Клевещ! — обижается Ромка. — Я просто поговорю с дядей, и он сразу устроит их на работу!

Фобос хочет сказать еще что-то, но за нас вступаются «братья-разбойники».

— Не тронь хлопцев, Фома,— говорит Машенко.— Пускай едут...

— Оно, конечно, жалко... Только что ж... — поддерживает его Кочкин.

Мы с Ленкой стоим и прячем глаза. Очень трудно врать людям! Особенно таким, как эти...

Фобос линком закрывает тумбочку и машет рукой.

— Эх!.. Один раз в жизни... И все — к черту!..

26

Мы — Динка, Ленка и я — стоим на углу, у почтамта. Мы ждем Ромку, который, конечно, опаздывает.

— Он спит,— говорит Динка.

— Он ест,— говорит Ленка.

— Иногда он делает то и другое сразу,— говорю я.— Так что не будем уточнять.

Динка смеется, а Ленка говорит:

— Ничего! Скоро он разучится делать и то и другое. Даже в отдельности.

— Думаешь, выйдет? — не верю я.

— Думаю,— смеется Ленка.— Ведь там же не будет толстого ватного одеяла и горячих маминских пирожков.

Динка перестает улыбаться и спрашивает:

— Значит, вы все-таки уезжаете?

— Значит, уезжаем,— пробует улыбнуться Ленка.

— В Березовку?

— В Березовку.

Динка отворачивается и начинает разглядывать светофор над перекрестком, потом витрину кафе напротив, хотя и светофор и витрина остались сегодня точно такими же, какими были вчера.

Мы с Ленкой тоже молчим. Динка, наверно, улыбнулась бы снова, если бы мы могли сказать ей, что остоемся. Но мы не можем и поэтому молчим.

Вдруг Динка круто поворачивается к нам. И говорит, уснажаясь:

— Знаете, что я о вас думаю?

Мы пожимаем плечами. Мы и в самом деле не знаем, что думаем о нас Динка.

— Вам, по-моему, это как-то все равно,— опять

усмехается Динка.— Еще бы! Ведь я же не трактор! И не Куба!..

Мы рассказали Динке о Кубе совсем не для того, чтобы она говорила об этом таким тоном. И раньше она никогда так не говорила...

— ...Смешные маленькие мальчики! Вы, кажется, всерьез думаете, что Куба не обойдется без вас!..

Динка права. Куба обойдется без нас. Зато без Кубы мы не обойдемся мы. Или без такого же, как Куба...

— ...Боже, как это глупо! Глупо и смешно!..

С меня хватит. Если Динка не замолчит сейчас, я уйду. Вместе с мной уйдет и Ленька — я вижу это по его глазам. Динка, по-моему, тоже видит это, потому что вдруг замолкает и опускает голову. И отворачивается.

Динка и Ромка танцуют чарльстон. Ленька смотрит на них и смеется, а я сижу на подоконнике и думаю.

Сегодня нам было бы плохо без Ромки. Хуже, чем всегда. Мы долго молчали сегодня. Мы стояли у почтамта, ждали Ромку и молчали. Почти целый час. Это, наверно, плохо, когда люди могут молчать так долго и не смотреть друг на друга.

Мы не зря ждали Ромку. Он пришел, и нам сразу стало легче. Всем троим. Мы слушали Ромкину болтовню и отмажками понемногу.

Динка больше не говорила о Кубе. По-моему, она хорошо поняла, что говорить об этом не стоит. Говорить так, как говорила она. И не стоит разубеждать нас, потому что из этого все равно ничего не выйдет.

А потом все было хорошо как будто. Мы долго бродили по городу и болтали о всякой всячине. Сидели у Динки, слушали музыку и лениво потягивали принесенное Ромкой сухое вино.

Теперь мы танцуем. Собственно, танцуют Динка и Ромка, Ленька смотрит на них и улыбается, а я сижу на подоконнике и думаю.

Я очень не люблю не понимать. Особенно людей. С теми, кого не понимаешь, трудно. Как, например, с Динкой.

Динка разная. Никогда не знаешь, какой она будет через минуту. Наверно, потому, что мы плохо знаем ее. Вернее, совсем не знаем. Динка ничего не рассказывает о себе, а мы не расспрашиваем. Когда она поймет, что нам можно рассказать все, она расскажет. А строить догадки нам некогда.

Динка и Ромка танцуют чарльстон, а Ленька смотрит на них и улыбается. Динка — тоже. Она танцует с Ромкой, а смотрит на Леньку. И улыбается, совсем как он.

Она перестает улыбаться только тогда, когда в комнату входит высокий седой мужчина и женщина, еще молодая и красивая, как Динка. Мы с Ленькой вскакиваем, а Ромка замирает в неловкой позе.

Мужчина и женщина, едва кивнув нам, проходят в другую комнату и плотно прикрывают дверь.

— Однако, — говорит Ромка, — нам, кажется, пора!

— Глупости! — говорит Динка и добавляет тихо: — Они подумали, что вы мои старые знакомые. Они терпеть не могут моих старых знакомых!

— Мы тоже, — говорит Ромка. — И все-таки нам пора.

Мы выходим в переднюю.

— Значит, завтра? — спрашивает Динка.

— Значит, завтра, — улыбается Ленька.

— Ты что? — говорю я. — Завтра же у нас...

Завтра у нас снова начинается запарка. Топорь уже с приспособлениями. Мы должны сделать еще

три таких же головки, какую сделал Фобос. Для «братей-разбойников» и для Тютя. Нам троим — Ромке, Леньке и мне — головки пока не нужны, потому что мы уходим в отпуск.

— Тогда послезавтра, — говорит Динка.

— Послезавтра тоже не выйдет, — говорю я.

Послезавтра у нас то же самое. Потому, что чем раньше мы сделаем головки, тем раньше уйдем в отпуск. Я не говорю об этом прямо, но Ленька понимает меня.

Динка смотрит на нас и улыбается. Я знаю: не будет добра, когда так улыбается Динка. И я говорю: — Ты не сердись, Динка. Нам некогда. Нам очень некогда, понимаешь?

— Понимаю, — усмехается Динка. — Я все понимаю. Даже если мне совсем не хочется понимать.

— Ради всего святого не надо подтекстов! — трагически восклицает Ромка.

— Значит, в субботу, — говорит Ленька. — В восемь. Хорошо?

— Неплохо, — говорит Динка. — В субботу. В восемь. Здесь, у меня. И не опаздывайте! Слышите?

27

Мы стоим у проходной. Нас уже пятеро. Не хватает только Ромки, Фобос поглядывает на низкое серое небо и ворчит, потому что идет мелкий, занудливый дождик. Мы уже начинаем промокать, а Ромки все нет.

Раньше мы приходили и уходили каждый сам по себе. Теперь приходим и уходим вместе. Это получилось как-то само собой. Сначала один раз, потом — второй и третий, а потом стало получаться почти каждый день. Мы встречаемся у проходной, у проходной же расходимся после смены. Впрочем, теперь это случается гораздо позже. Кончив смену, мы направляемся в заводской столовой и уходим в слесарку. Мы — это «братья-разбойники», Ромка, Ленька и я. И Фобос. Тютя по-прежнему уходит один и не заглядывает в слесарку. Но нам наплевать на Тютю. Без него нам даже лучше.

Наконец появляется Ромка. Только совсем не оттуда, откуда приходит всегда. Сегодня он выходит из проходной.

— Эй, публика! — кричит он. — Аллур три креста! Есть новости!

Мы подбегаем к нему.

— Ну, граждане, — торжественно объявляет Ромка, — машина, кажется, завертелась: нас требует высшее начальство. Всех троих. И уж поверьте моему испытанному нюху — здесь пахнет отпуском...

Начальник цеха сидит за столом и перебирает какие-то бумаги.

— Это что? — спрашивает он и протягивает их нам.

— Заявления, — говорим мы. — На отпуск.

— Вы соображаете, что вы делаете?

— В общем и целом... — тянет Ромка.

— Ах, в общем и целом? А вы попробуйте подумать о частностях. Как будет с молкой серией? Где я возьму детали, которые дает ваш участок?

— Так мы же сделаем!

Ромка даже руки к груди прижимает для пущей убедительности.

— Вот когда сделаете, тогда и поговорим. А сейчас возьмите!

Мы забираем заявления и выходим.

— Вот! Энтузиастскую после этого! — сокрушается Ромка. — У людей, может, мечта всей жизни сгорит огнем горит, а он: «Программа! План!» Типичный бюрократ!

— Все ясно! — обрывает его Ленка.

— А!.. Ну да...

— Умница! — говорю я.

— Ну!!

Ребята стоят перед нами, вытянув носы.

— Мимо! — со вздохом признается Ромка.

— А чего? — удивляется Кочкин.

— Программу! — разводит руками Ромка. «Братья-разбойники» сожалеюще покачивают головами, а Фобос не скрывает улыбки.

— Хороший у нас начальник! — радуется он. — Прямо скажем — голова!

— Спокойно, юноша!

Это Кюммель. Он сидит на своем постоянном месте — на ящике с заготовками, который стоит в углу. Он приходит к нам на участок почти каждый день и просиживает до конца смены. Сидит, медленно поводит зловеще поблескивающими очками и молчит. И ничего не пишет. Мы уже так привыкли к этому, что если бы он не пришел почему-нибудь два дня кряду, нам бы, наверно, стало не по себе.

— Спокойно! — повторяет Кюммель, подбегая к нам. — Я уже в курсе. Относительно поездки. И знаете, это просто здорово! Ах, как это здорово, черт возьми!

Мы не совсем понимаем его.

— Что здорово? То, что нас не пускают?

— Вас отпусти! — воинственно изрекает Кюммель. — Пусть попробуют не отпустить! Это же удивление нового, замечательного почина! Отпуск в колхозе! Ах, как это красиво! И как широко!..

Кюммель в эстафе, а мы переглядываемся и пересмеиваемся.

— Вот что, — устает восторгаться, говорит он. — Сегодня же начинайте укладывать чемоданы. Вас обязательно отпустят! Я сейчас же пойду к начальнику цеха, к директору, в горком, в обком, куда угодно — и вас отпустят!

— Действуй! — напутствует его оживший Ромка.

И Кюммель бросается к дверям.

— Погоди!

Ленка едва успевает поймать его за рукав. Потом отводит в угол и усаживает на старое место. — Сиди здесь. И не прыгай.

— Да ты что? — возмущается Кюммель. — Сбесился?

— Никуда мы не поедем, — говорит Ленка. — Ясно?

— Это... как!! — теряется Кюммель.

— А вот так. До тех пор, пока у ящика, на котором ты сидишь, дно не покажется. И про почин забудь. Нет тут никакого почина.

— Нет, так будет! — вскакивает Кюммель. — Завтра же весь город узнает об этом! Да что город — вся страна!

— А послезавтра она узнает о безвременной кончине молодого и почти талантливого журналиста с алкогольной фамилией, павшего от руки озверевших героев очерка, — грустно покачивая головой, говорит Ромка.

— И пусть! — улыбается Кюммель. — Да вы представляете, что значит для журналиста такая находка, как вы и ваша поездка?

— Такой маленький, а уже карьерист! — сожалеет Ромка.

— Не карьеры ради, а идеи для! — отвечает Кюммель. — Ведь за вами пойдут тысячи!

— Не надо тысяч, — говорит Ленка. — И вообще ничего не надо.

— Да почему!! — стонет Кюммель.

— Все потому же, — отвечает Ленка.

Кюммель вскакивает.

— Хватит! Я терпеть вашу несносную опеку слишком долго. Теперь не желаю! Делайте, что хотите, а очерк я все-таки дам!

— И наешься, — спокойно говорит Ленка. — Откуда ты знаешь, зачем мы едем? Может, за длинным рублем?

— Что, в вас не знаю? — возмущается Кюммель.

— Блажен, кто верует...

— Истинно так! — подхватывает Ромка. — С детства мечтаю о пальте в серое яблоко. Исподники опять же покрасивше надо бы. И боровка бы не худо в хлевухон запустить...

— Трелачи! — фыркает Кюммель.

— Мы хоть между собой трепляемся, — подливаюсь и я, — а ты сразу на всю страну хочешь!

— Пойми! — говорит Ленка. — Эта поездка нужна только нам. Нам одином. Понял?

— Ни черта не понял! — признается Кюммель.

Так и должно быть. Ведь он же не знает о Кубе. Нас разгоняет звонок. Мы становимся по местам. А Кюммель никак не может успокоиться.

— Разбой! Среди бела дня ограбили! Такую тему увели! Ну, погодите! Дождетесь вы фельетона! Но мы уже не слушаем. Мы включаем станки.

28

Мы с Ленкой ходим по комнате на цыпочках и говорим вполголоса: уже первый час, и Полина Викторевна, наверно, давно спит. Мы пришли полчас назад, съели по тарелке еще теплого супа и теперь стелем постели. Пятый день подряд я ночую у Ленки и вообще не собираюсь домой до субботы — от Ленинского дома до завода ближе чуть ли не вдвое.

Ленка раздвигает диван, а я вожусь с раскладушкой, когда в комнату входит Полина Викторевна.

— Ты не спишь? — удивляется Ленка.

— Проснулась, — говорит Полина Викторевна и начинает вынимать из шкафа чистые простыни.

— Ты извини, — говорит Ленка.

— Бог простит! — улыбается Полина Викторевна. — Тем более что вы тут ни при чем.

— Что-нибудь от папы? — настораживается Ленка.

— И от него тоже, — говорит Полина Викторевна. — Он пишет, что скоро приедет.

— Когда? — быстро спрашивает Ленка и выпрямляется.

— Скоро! — улыбается Полина Викторевна. — Теперь уже скоро!

Они смотрят друг на друга и улыбаются. Если б не было меня, они бы, наверно, сказали еще что-нибудь. Но я вожусь с раскладушкой, и они молчат и только улыбаются.

— Радовать так радовать, — говорит, перестав улыбаться, Полина Викторевна. — Сегодня у меня была гостья. Дина. Знаешь такую?

— Когда? — спрашивает, помолчав, Ленка.

— Какая разница? Ведь вас все равно не было... Кстати, она была и вчера и позавчера...

Ленька начинает натягивать наволочку. Он натягивает ее наизнанку, а я разворачиваю простыни. Полина Викторовна стоит в дверях и опять улыбается. Улыбается так, как будто она недозохла чем-то.

— Мы смотрели телевизор,— говорит она.— Была безумно интересная передача! Сначала «Репка», а потом — беседа о профилактических мерах против дизентерии... Мы так смеялись!.. Иногда это очень полезно — смотреть телевизор. Между прочим, у Дини есть дома такая же...

Мы молчим, а Полина Викторовна добавляет очень серьезно:

— По-моему, кому-то из вас надо подумать. А может быть, и обоим. И можете не крутить головами и не вздыхать так тяжело! Я знаю, что вы давно уже взрослые, что вы очень заняты и что вы не любите нотаций, но... Нельзя так с человеком!.. Будь у вас хоть что-то дела, а все-таки нельзя! Спокойной ночи!

Полина Викторовна выходит, а мы с Ленькой продолжаем укладываться. Ленька ложится на диван и отворачивается к стене. Я сажусь на раскладушку — спиной к Леньке — и начинаю смотреть в окно. Потом говорю:

— Слушай! Мне это совсем не нравится!

Ленька молчит. Я не вижу его, но все равно знаю, что он не спит. Я знаю это потому, что и сам не могу спать тоже.

— Слушай,— повторяю я и поворачиваюсь к Леньке,— тебе надо что-то делать с этим. Что? — не двигаясь, спрашивает Ленька.

— Ну,— говорю я,— например, уходить сразу же после смены. Вместе с Тютей. Мы справимся и без вас.

— Да? — как будто удивляется Ленька.

— Конечно,— подтверждаю я.— Думаешь, нет?

Ленька сбрасывает одеяло и садится.

— Значит, вы будете работать, а я — смотреть телевизор?

— Не обязательно,— говорю я.— Можно сходить в кино. Или в театр. Или посидеть на скамеечке и птичек послушать. Чик-чирик!..

Ленька молчит, а я добавляю:

— И, наконец, должен же кто-нибудь смотреть телевизор!

— Чего ты злишься?

Ленька смотрит на меня в упор. Так смотрит, что мне становится стыдно.

— Я не злюсь,— говорю я и отвожу глаза.— Я так просто...

— Плохо мне, Борька... — вдруг признается Ленька. Так плохо, что...

Я встаю и подхожу к нему. Сажусь рядом.

— Ничего не плохо. Надо только уходить пораньше. Часов в восемь. Хотя бы раз в неделю.

Теперь мне и самому кажется, что тогда все будет в порядке. А уж я как-нибудь проживу эти три-четыре часа без Леньки. Во всяком случае, попробую.

— Не выйдет... — тихо говорит Ленька.

— Почему? — по-настоящему удивляюсь я.

— Подумай! — усмехается Ленька.

— Боишься, обидимся? Скажем — сачкуешь?

— Не боюсь,— говорит Ленька.— Даже если бы и сказали, я бы все равно ушел. Если б мог...

Больше я ни о чем не спрашиваю. Я просто сижу и слушаю, потому что сейчас надо молчать. Молчать и слушать.

Но Ленька ничего не говорит. Он ложится и снова отворачивается к стене.

Я всегда понимал Леньку. И он меня тоже. Нам ничего не надо было объяснять друг другу до тех пор, пока не появилась Динка. Но она появилась, и мы перестали понимать друг друга. Теперь, чтобы я понял, Леньке нужно говорить о том, о чем мы никогда не говорим вслух. Не говорим, потому что не умеем говорить об этом. И потому еще, что есть вещи, о которых можно только думать и которые нужно понимать без слов.

Все-таки я еще, кажется, могу понимать Леньку. И это пока не так уж трудно, надо только поставить себя на его место.

И я ставлю.

Быть с Динкой — значит уйти от ребят. И от Леньки. Уйти от тихого скрипа напильников, от желтых ламп над верстакими, от теплых еще головок, которые нужно доделывать как можно скорее. Уйти от Роминских сентенций, воркотни Фобаса и гмыканья «братьев-разбойников». И от Ленькиного молчания. Уйти от беспокойного: выйдет или не выйдет? Уйти от постоянного: надо, чтоб вышел!

Быть с Динкой — значит остаться в городе. Или уехать в Сочи. Уехать и валяться на пляже. Каждый день. А Ленька и Ромка уедут в совхоз. Потом на Кубу...

— Знаешь,— говорю я Леньке,— я, кажется, понял. Только ты не спеши. Может, не обязательно «или — или»? Может быть, можно ии — ии?

Ленька не отвечает.

— Ты попробуй,— повторяю я.— Мы обещали прийти к ней завтра, вот ты и попробуй...

— Ложись,— говорит Ленька.— Поздно уже...

Я ложусь.

А за окном начинается утро. Небо гладкое, и прохладное, и на нем совсем нет звезд.

29

Когда-то здесь был большой пустырь с глубокими лужами ржавой воды и узенькой, ленивой речкой посредине. Потом трест «Очистка» устроил на этом пустыре общегородскую свалку снега. Это было очень удобно для треста, потому что центр от пустыря совсем близко. Сотни самосвалов воздвигали здесь целые хребты серого, пропыленного снега, а весной на месте снежных куч оставались кучи жидкой грязи. Летом грязь высыхала, но пустырь все равно оставался унылым и грязным. Его облетали птицы, и обегали мальчишки, и только иногда навешали стайки молчаливых ворон и «соображатели на троих».

А теперь здесь круглые сутки таратаят бульдозеры и неторопливо развозят руками-стрелами важные башенные краны.

Мы с Ленькой стоим у самого края неглубокого котлована и смотрим, как по его неровному дну ползает широколобый бульдозер.

В его кабине — совсем молодой парень. Наверно, одних лет с нами. Неловко изогнувшись, он смотрит на растущую перед отвалом гору срезанной земли. Руки его то касаются рычагов фрикционного, то тянутся к сектору газа, то начинают делать что-то, пока еще непонятное нам.

— Гляди, гляди! — шепчет Ленька.— Сейчас заглохнет!..

Бульдозер медленно приближается к спуску в котлован. На подъеме двигатель начинает давать перерыв, но парень вовремя подстегивает его, короткий рывок правой рукой, и бульдозер, поднатужившись, выезжает из котлована.

Мы облегченно вздыхаем.

— Видел? — говорит Ленька. — Вот это артист!

А бульдозер, задрав вытертый до блеска отвал, уже сползает в котлован.

Теперь парень смотрит через заднее окно. Он не оборачивается к рычагам, но руки его движутся так же уверенно. Повзвизываясь с нами, парень сбрасывает газ и останавливает бульдозер.

— Время! — кричит он.

— Восемь! — отвечаем мы.

— Ого!

Он выходит из кабины и становится на гусеницу. Котлован еще совсем мелкий, и парню нужно сделать всего один шаг, чтобы оказаться рядом с нами. Так он и делает. Потом с наслаждением потягивается и садится на землю.

— Устал? — спрашивает Ленька.

— Ага, — говорит парень. — Да и обед уже.

Он достает из кармана сверток. В свертке здоровенный ломтик хлеба и кусок колбасы.

Парень ест, а мы топчемся рядом, возмущенно поглядывая на устало пофыркивающий бульдозер.

— А вы чего? — не переставая жевать, спрашивает парень. — Чего, говорю, торчите-то здесь?

— А... нравится... помывшись, отвечаю я.

— Чего? — не верит парень и подозрительно оглядывает нас. — Ишь ты! Нравится!

Он разговаривает с нами, как с маленькими, а мы не обижаемся. Он наверняка не старше нас с Ленькой, но нам он кажется старше.

— То-то я гляжу: пришли какие-то и стоят. И давно ведь вы тут: я уж вас с полчаска как приметил.

— Можнo? — вдруг спрашивает Ленька. — Можнo посмотреть? Мы тоже на бульдозерах работать будем...

— Это вы-то? — опять не верит парень.

— Ну да. Мы. У нас даже права есть. Только простые. Тракторные.

Парень перестает жевать и с минуту изумленно смотрит на нас. И говорит:

— А ну, покажи!

— Дома права, — говорю я. — А ты кто? ОРУД?

— Дома! — Парень снова недоверчиво щурится. Потом сует в карман остатки хлеба и колбасы и вскакивает. — Давай сюда!

Он влезает в кабину, и мы становимся на гусеницу.

— Это что? — спрашивает он, ткнув пальцем в педаль.

— Сцепление, — отвечает Ленька.

— А это?

— Тормоза. Левый и правый, — отвечаю я.

— Это?

— Газ.

— Это?

— Фрикционы. Рычаги фрикционных.

Парень, подумав немного, спрашивает снова: — Сливаю воду, гляжу — масло. В воде. Что такое?

— Треснул цилиндр, — отвечает Ленька.

— Вот свечечка, — говорит парень и вынимает из кармана свечу. — Добрая или нет? Как узнаю?

— Провод от магнето — к свечке, свечку — на массу. Ручку крутни — и узнаешь...

— Та-а-а-а...

Парень, с любопытством взглянув на нас, выезжает на гусеницу и озирается. Кругом никого. Только далеко, у самых краев, чернеют фигурки людей.

Парень снова ныряет в кабину и говорит Леньке:

— Садись!

Ленька даже отшатывается.

— А как же?..

— Садись, говорю!

Ленька садится в кабину. Я прыгиваю на дно котлована. Я не спускаю глаз с Леньки и поэтому попадаю ногами в грязь, но сразу же забываю об этом.

Сквозь лобовое стекло мне видно Ленькино лицо. Оно чуть бледнее обычного, но спокойно.

Ленька смотрит на меня.

— Давай! — ору я, нелепо размахивая руками.

Бульдозер, недовольно ржывая, трогается. Он идет очень ровно, как по ниточке. Так и должно быть. У Леньки по вождению всегда была пятерка.

Я бегу за бульдозером и смеюсь. Обгоняю и показываю два больших пальца сразу. Но Ленька уже не смотрит на меня. Он стоит, почти прижавшись лицом к лобовому стеклу, и смотрит вперед. Парень стоит рядом с ним и что-то кричит ему в самое ухо. Ленька кивает. Отвал с лягом падает на землю и сразу же глубоко зарывается в нее. Двигатель начинает задыхаться. Еще секунда — и он заглохнет.

Парень снова нагибается к Ленькиному уху, но Ленька уже подтягивает отвал и дает газ. И снова ничего не получается: теперь отвал скользит по земле, почти не захватывая ее. А потом... Потом бульдозер идет не останавливаясь, и я перестаю подпрыгивать и размахивать руками. Я вижу, что перед отвалом не так много земли и поверхность за ним не такая ровная, как была, когда бульдозер вел парень, но ведь бульдозер все-таки идет! Впрочем, у Леньки по вождению всегда была пятерка.

Бульдозер ползает назад и вперед, и я уже не бегаю за ним. Я стою и жду своей очереди.

Наконец Ленька останавливает машину. Выходит на гусеницу. Я смотрю на него и не могу удержаться от смеха: Ленькино лицо выпалено чем-то черным, манжетки почернели тоже, галстук вылез из-под пиджака и сбился на сторону, а ботинки по самую щиколотку измазаны глиной.

— Хорош! — смеется и парень, высовываясь из-за Ленькиного плеча. — Костюмчик что надо!

А я уже не смеюсь. Я оторопело смотрю на Леньку, Ленька — на меня.

— Теперь ты, — говорит парень и протягивает мне руку.

— Извините... — бормочу я, пятась. — Нам уже некогда... Нам очень некогда!

И говорю Леньке:

— Бежим! Скорее!

Ленька прыгает на землю, и мы пускаемся бежать вдоль котлована. Парень удивленно смотрит нам вслед и покачивает головой.

Выскочив на дорогу, мы оборачиваемся. Парень давно уже сел в кабину, и перед отвалом бульдозера снова пухнет бугор взрыленной земли. Мы знаем, что наши голоса отнесет ветер и заглушит крикенье мотора, но мы все равно кричим:

— Спасибо!..

30

Мы бежим, как на разминке, ровно дыша и сильно работая руками. Мы очень торопимся, потому что обещали Динке прийти в восемь, а сейчас уже девять. Мы, конечно, пришли бы вовремя, но мы просто збыли об этом. Збыли — и все! Динка, наверно, обидится... Хотя бы такси подвернулось, что ли!



— Устал? — спрашивает Ленька.

— Нет, — отвечаю я.

— А я устал, — говорит он. — Там на бульдозере.

— Ну? — не верю я. — За двадцать минут?

— Ага, — отвечает Ленька, — за двадцать. Рук не хватает и неудобно...

— Стой! — говорю я и останавливаюсь.

На углу справа — цветы. Их продают поштучно и букетиками.

— Возьмем? — спрашиваю я.

— Дипломат! — смеется Ленька.

Это, наверно, дико — покупать цветы. Покупать, а потом дарить. По-моему, цветов должно быть столько, чтобы каждый мог рвать сколько влезет. А лучше вообще не рвать. Лучше смотреть и нюхать просто так.

Теперь мы избегаем центральных улиц и не решаемся бежать. И все потому, что в руках у нас букеты цветов. Мы, конечно, понимаем, что в этом нет ничего особенного, но нам все равно не по себе. И мы, опустив руки с зажатыми в них букетами, идем очень быстро и стараемся не смотреть по сторонам.

Вот и дом, где живет Динка. Мы прибавляем шаг. И вдруг мы видим, что с одной из скамеек у подъезда срывается кто-то и бежит нам навстречу. Как будто Ромка.

Да. Это Ромка.

— Явились!! — сирепю выкатив глаза, начинает он,

но тут же, схватившись за голову, ахает: — Свят, свят, свят!.. Откуда вы, такие красивые? Похоже, в одной канаве валялись! А ну, дыхните!

— Потом, — улыбается Ленька и делает шаг к подъезду, но Ромка хватает его за рукав.

— Не спеши, — говорит он совсем другим тоном. — Ее нет. И папы с мамой тоже нет. Я уже полчаса сижу на этой пошлой скамеечке и дышу свежим воздухом.

Мы с Ленькой переглядываемся, а Ромка рассказывает дальше. Оказывается, он тоже опоздал. Правда, не на час с лишним, как мы, а минут на двадцать. Опоздал потому, что всегда и везде опаздывает. А когда пришел, то Динки уже не было. И до сих пор нет.

Мы молчим. Мы совсем не привыкли к тому, что Динки нет дома. Во всяком случае, раньше она всегда была дома.

— Пошли, — говорю я.

— Может, подождем? — предлагает Ленька.

Подождать, конечно, можно. Но, по-моему, нам надо уйти. Ведь Динка знала, что мы придем сегодня. Значит, могла бы подождать. А если не дождалась — значит, не хотела.

— Пошли! — повторяю я.

Ленька не двигается, а Ромка открывает рот, чтобы сказать мне что-нибудь малоприятное. Тогда я поворачиваюсь и ухожу. Я не оглядываюсь. Я знаю, что Ленька идет следом.

Я возвращаюсь домой поздно. В первом часу Ромка затаскил нас с Ленкой к себе, и мы присидели у него до двенадцати. Листали учебник по испанскому — его откопал где-то Ромка — и пробаовали разобрать самые простые слова.

И Ромка снова удивил нас. Он, оказывается, давно уже долбит испанский и сегодня весь вечер болтал, как самый натуральный испанец. Впрочем, может быть, и не совсем, как испанец, но нам с Ленкой все равно казалось, что здорово.

В общем, все было хорошо сегодня. Но было бы еще лучше, если бы мы не опоздали к Динке. Или если бы дождались ее.

Ленька и Ромка, наверно, так и сделали бы. Но я ушел, хотя сейчас и сам не могу объяснить толком, почему сделал это, и они ушли тоже. Может быть, мне хотелось узнать, что будет делать Ленка? Уйдет со мной или останется ждать Динку? Вряд ли. Я и так знал, что он уйдет. Скорее всего, я разошлись на Динку за то, что она ушла. Она не должна была уходить сегодня. Ей пора бы уже знать, что если мы опоздаем, значит, иначе не можем.

И все-таки нам надо было подождать Динку, потому что мы и без того очень редко видим ее. Не чаще двух раз в неделю.

Теперь мы увидим ее завтра. Мы — все трое — придем к ней и все расскажем. Про то, как мы оставались у котлована и как Ленка сел на бульдозер. Впервые в жизни.

И Динка поймет нас — она же умела понимать нас раньше. Когда хотела. И снова все будет хорошо. Даже лучше, чем сегодня, — ведь с нами будет Динка...

В подъезде темно. Я прыгаю через три ступеньки, потом через четыре и останавливаюсь: внизу вдруг громко хлопает входная дверь, и меня начинают догонять чьи-то торопливые шаги. Они уже совсем близко. Я оборачиваюсь и... нос к носу сталкиваюсь с Ромкой. Узнав меня, Ромка возбуждает руки и открывает рот, но вместо какого-нибудь выдающегося вопля, который — я вижу это по Ромкиным глазам — должен за всем этим последовать, слышится только громкое пыхтение.

Это, наверно, очень смешно, но мне совсем не до смеха. Ромка любит спать и не любит богат. И если Ромка не спит сейчас, если Ромка бросился за нами, значит, что-то случилось. Поэтому я спрашиваю коротко:

— Что?

Ромка молча хватается меня за руку и тащит к выходу.

— Что?! — на бегу повторяю я, но Ромка машет рукой и семенит еще быстрее.

У подъезда такси. Ромка вкликивает меня в открытую дверь, шлепается рядом, и машина сразу же срывается с места.

Я снова принимаюсь за Ромку.

— Ну?

— Динка... — задумчиво хрипит он.

— Что Динка?

— Уехала...

— К-куда? Когда?

— Наверно, в Сочи. Сегодня. Сейчас.

Я не верю Ромке. Не верю, что Динка могла уехать. Так вот, вдруг. Даже не позвонил нам. Хотя бы Ленке!

А Ромка уже отдышался.

— Вот так, — говорит он, — В таком разрезе.

Я все еще ничего не понимаю, и Ромка начинает злиться.

— Святая невинность! Мадонна с младенцем! Он, видите ли, не улавливает! Он, понимаете ли, изображает потомственного почетного кидотал Нет, уважаемый член профсоюза! Она уехала. И знаешь, почему?

Я не успеваю узнать, почему уехала Динка: машина тормозит, и Ромка, поперхнувшись, боком вылезает из кабины. Я за ним.

Это — Ленкин дом.

Это — Ленкин подъезд.

Это — Ленский этаж...

Ленька понимает все. С полуслова. И мы снова бежим по лестнице, только теперь уже вниз. Ленка шлепает незашнурованными ботинками, рядом с ним торопится Ромка, а я бегу за ними и пытаюсь понять то, что сразу понял Ленка и чего никак не могу понять я.

На поворотах нас с Ромкой бросает из стороны в сторону. Там, где поворотов нет, давивает в спину сиденья. А Ленка сидит впереди, рядом с шофером, прижавшись плечом к дверце, и смотрит прямо перед собой. И молчит.

— Час тридцать... — шепчет про себя Ромка, глядя на часы. — А самолет уходит в час двадцать...

Ромка узнал об этом недавно. Сразу же после нашего ухода он позвонил Динке, но ему ответили, что ее нет. Потом добавили, что она будет только через месяц. Ромку едва не хватил удар, но он поднатужился и все-таки сумел узнать, что самолет уходит в час двадцать.

Пять минут второго Ромка был у меня, а сейчас уже час тридцать.

— Опять опоздали... — говорю я так, чтобы не услышал Ленка.

— Не ной! — шепотом огрызается Ромка. — Мы успеем! Во-первых, где начинается авиация, там кончается порядок, а во-вторых, есть такие милые люди. По прозвищу синтоиники...

— Синтоиники нам вряд ли помогут, потому что на небе ни облачка.

— Ну и что? — говорит Ромка. — А вдруг там сейчас идет дождь? Или град? Или какой-нибудь этакый тайфунчик?

Я не знаю, где это «там», потому что не знаю пока, куда улетает Динка. Но я очень хотел бы, чтобы там был дождь. Чтобы там был град. Или тайфунчик. Лишь бы нам успеть, лишь бы не опоздать еще раз.

Шарахаются в стороны разбуженные телеграфные столбы, суетятся и толкаются, расступаются испуганные сосны.

— Еще чуть-чуть! — умильно глядя в напряженную спину шофера, воркует Ромка. — Пожалуйста! Шофер не оборачивается и не отвечает, но красный язычок стрелки спидометра задвигается и начинает приближаться к ста десяти.

Порядок, видимо, не кончается там, где начинается авиация. Тайфун над чужими аэродромами тоже не обнаружено: Динкин самолет ушел по расписанию. Полчас назад. Нам сообщил об этом землито-равнодушный голос из динамика над справочным бюро. Потом он сухо щелкнул, словно ставя точку.

— Дурак! — сказал ему Ромка.

А Ленка ничего не сказал. Он просто повернулся и пошел к выходу.

Мы побрели за ним. Мимо kiosка с газированной содой, за которым дремала толстая белая газиров-

щица. Мимо столиков с недочитанными журналами, мимо новеньких, но уже просиженных кресел. Мимо большой витрины «Пользуйтесь услугами Аэрофлота!». Там стояли и летели на ниточках цветные самолетики, похожие на недоодеженных рыб, потому что бока у них были срезаны, и каждый желающий мог полюбоваться пластмассовыми самолетными внутренностями: кресльцами, вешалочками и даже маленьким унитазином. С огромных фотографий счастливые улыбались граждане пассажиры, а большие красивые буквы под ними складывались в короткие слова, окруженные частоколом восклицательных знаков.

Вообще-то это была яркая и, может быть, даже красивая витрина, но мне она не понравилась почему-то. Ромке, по-моему, тоже, потому что он показав ей язык и отвернулся. А Ленька совсем не заметил ее.

Теперь мы стоим на краю серой и сонной площади и молчим. Молчит и площадь. Только где-то далеко позади, за аэровокзалом, по-комариному звенит мотор самого обыкновенного, дозвукового «АН-2». Лениво шаркает металл страдающего бессонницей дворника, и даже пыль, вспугнутая метлой, задремывает в воздухе и забывает опуститься на землю. Скучно.

— Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком,— говорит в пространство Ромка.— А автобусов нет. И такси тоже нет. А спать-то как хочется!..

Спать действительно хочется. По крайней мере мне. И не хочется думать. Ни о чем. Потому что все равно ничего не придумаешь.

— Внимание! Мы вздрагиваем и поднимаем головы. Репродуктор над входом в аэровокзал начинает ронять на пыльный асфальт площадки круглые, обкатанные, как голяши, слова:

— Объявляется посадка на самолет номер семьдесят пять шестьдесят три, следующий до Адлера...

Полчаса назад все было так же. Так же дремала площадь, так же шаркала куцая метла, и громкоговоритель над дверью таким же ровным голосом объявлял посадку на самолет, следующий до Адлера. Но тогда здесь была Динка. Она, наверно, стояла там же, где стоим мы, смотрела на сонную площадь, на белую дорогу и ждала. Она обязательно ждала. Она не могла не ждать. Она не дождалась, потому что мы не успели, но ведь мы очень хотели успеть! А потом она все-таки улетела...

— Повторяю!...— бубнит над нами громкоговоритель.

Ромка вдруг начинает рыться в карманах. Он шепчет что-то себе под нос и роется все лихорадочнее.

— Двадцать семь пятьдесят три,— наконец говорит он мне тихо.— А у тебя?

Я достаю все, что у меня осталось от вчерашней полнучки.

— Итого девятно два семнадцать,— объявляет Ромка и трогает Ленку за плечо.

Ленька оборачивается.

— Пользуйтесь услугами Аэрофлота!— насмороочным голосом вещает Ромка.— Это выгодно и удобно! И какая в конце концов разница, кому именно?

Ленька оживает. Ленька делает шаг к двери. Потом останавливается.

— Белые штаны вышлем заказной бандеролью,— обещает Ромка.— И отпуск оформим. По семейным обстоятельствам...

Ленька молчит. Ленька думает.

Я тоже молчу. Я очень хотел, чтобы мы успели сегодня. Чтобы Динка вернулась с нами. Но я не хо-

чу, чтобы Ленька улетал. Я, конечно, понимаю, что это надо. Если бы я был начальником ГВФ, я дал бы Ленке специальный самолет. Но все-таки я не хочу, чтобы он улетал. Даже на неделю.

— Так что?— интересуется Ромка.— Можно заказывать серию открыток с видами Кавказа? С гусями-лебедями и с русалками средних лет?

Ленька скидывает голову. Ленька говорит:

— Спрячь... И кидает на кучку мятых бумажек, зажатых в Ромкиной руке.

— Не дури!— говорю я.— Это же быстро. Три часа туда, три обратно. И два дня там.

— А адрес?— говорит Ленка.

Ромка хватается за голову.

— Ох, уж эти мне физики-флегматики! Ох, уж эти мне рационально мыслящие! Адрес, видите ли, ему подавай! А если без адреса? Если просто так вот— найти, и все! Раз надо!

Ленька улыбается. Чуть-чуть, но улыбается. И я пробую улыбнуться тоже.

— Чего светитесь?— сердится Ромка.— Аэрофлот, он, брат, шутки шутить не любит. Дождитесь, что и этот улетит. Как тот...

— Они же не всегда улетают,— говорит Ленка.— Иногда они и прилетают...

— Быть по сему!— вдруг улыбается и Ромка, закинув деньги в карман.— Говорят, для того, кто умеет ждать, все приходит вовремя. Как, например, это такси.

— Внимание! Заканчивается посадка...— кричит нам вслед обеспокоенный громкоговоритель, но мы даже не оглядываемся.

— В город!— говорит шоферу Ленка и называет свой адрес.

32

Все-таки мы очень привыкли к Динке. Привыкли знать, что она всегда ждет нас. У Ленки или у себя дома. Когда бы мы ни пришли. Мы уходили на работу или на курсы и забывали о ней. А возвращаясь, вспоминали, что у нас есть Динка и что она ждет нас.

Теперь Динки нет. Вчера в аэропорту мы как-то не очень верили в это. А сегодня поверили. И нам очень хочется, чтобы скорей кончилось это длинное воскресенье— первое воскресенье без Динки. Чтобы можно было уйти в цех и снова забыть о ней. Хотя, по-моему, теперь мы будем помнить о ней всегда. Даже в цехе. Особенно Ленка.

Мы проснулись сегодня в двенадцать, потому что легли вчера в четыре; Ленка и Ромка— на диване, а я, как всегда, на раскладушке. Проснулись и поняли, что нам ничего не хочется делать сегодня. Поэтому мы второй час сползаясь по комнате, роемся в книжных шкафах и молчим. Молчит даже Ромка. Впрочем, иногда он пытается ворчать, но что-то уж очень быстро выдыхается. И нам становится еще скучнее.

В комнату входит Полина Викторовна.

— Развлекаетесь?— спрашивает она, насмешливо улыбаясь.

— Ну да,— вздыхает Ромка.— А что? Это очень заметно?

— Даже издали,— все так же улыбается Полина Викторовна.— Мне еще не приходилось видеть таких заунывных физиономий.

Ромка только машет рукой, а Полина Викторовна говорит, не переставая улыбаться:

— Но вы не отчаивайтесь. Сейчас вам будет еще веселее...

И она протягивает Ленке маленький белый конверт.

Ленка вскакивает. Мы с Ромкой тоже вскакиваем тоже. Мы сразу понимаем, что это от Динки.

— Счастливо повеселиться! — еще раз улыбается Полина Викторовна и выходит.

Ленка вынимает из конверта кучку каких-то разноцветных бумажек. Мельком взглянув на них, протягивает нам.

Это билеты. В кино и в театр. Есть по два, есть и по три. Даже по четыре. Но по два больше. Их штук десять. И все за прошлые дни.

Теперь я понимаю. Динка покупала их почти каждый день. Потом приходила к нам, а мы зубрили. И она молчала. Она уносила их домой и, наверно, складывала в этот конверт. Потом покупала и приходила снова, а нас не было...

— М-да-а... — растерянно тянет Ромка.

У него немножко обалделый вид. У меня, должно быть, такой же. На Ленку я не смотрю, потому что примерно представляю себе, как он выглядит.

— Свиньи! — вдруг говорит Ромка.

— Она же могла сказать... — неуверенно гогорю я.

— Да? — прищуривается Ромка. — Прямо так вот и скажите? Давайте, мол, сообща наплюем на эти ваши двигатели внутреннего сгорания, а заодно и на ваши токарно-слесарные потуги и будем веселиться? Интересно было бы послушать, что бы вы на это ответили!

Ромка прав. Ничего хорошего мы бы на это не ответили.

Ленка медленно складывает билеты в конверт. Потом бросает его на стол и отворачивается. Он смотрит в окно. Очень долго смотрит. И Ромка, взглянув на него, перестает кипятиться. Теперь он тоже смотрит в окно. Смотрю и я, хотя за окном только крыши.

— Мальчики! Обедать! — доносится из кухни голос Полины Викторовны.

— Мальчики! — негодует Ромка. — На пятнадцать бы суток этих мальчиков! За высокоосознанное хамство. И меня вместе с ними...

Мы с Ленкой, пожалуй, не пошли бы обедать сейчас, но Ромка, так и не договорив, вылетает за дверь. Тогда мы встаем и выходим тоже.

33

Уже ночь, а мы все еще бродим по городу. Просто так. Бродим и пытаемся болтать. Но чаще молчим. Мы стараемся не говорить о Динке, но все время думаем о ней.

Динка сейчас, наверно, уже в Сочи. А может быть, где-нибудь еще: ведь из Адлера можно попасть не только в Сочи. Она была бы с нами сегодня, если бы мы не опоздали вчера. Если бы не остановились у котлована. Или если бы дождались ее у подъезда. Но мы ушли, и я ушел первым. А Ленка и Ромка ушли потому, что ушел я. Значит, это я виноват в том, что Динка все-таки улетела!

Вряд ли. Динка могла бы не улететь вчера. Но она улетела бы завтра. Или послезавтра. Или через неделю. Вчера мы остановились у котлована, завтра

задержались бы в слесарке, послезавтра — где-нибудь еще, а через неделю уехали бы в совхоз. Короче, мы все равно опоздали бы. Рано или поздно. И мы должны были понять это гораздо раньше и сказать Динке об этом прямо.

Но почему нам так плохо сейчас! Даже Ромке и мне! И почему нам все-таки кажется, что мы виноваты в чем-то? Нам кажется еще, что мы чего-то не сумели, недоуловили и не узнали, и поэтому мы все время думаем о Динке.

— «Почта. Телеграф. Телефон», — читает Ромка и, покосившись на Ленку, добавляет: — Работает круглосуточно...

Ленка молчит. Он мог бы сказать Ромке, что мы не знаем пока, где Динка, но Ромка и сам понимает это.

— Девушка без адреса, — говорит он. — Адрес неизвестен. Пишите нам, подружки, по новым адресам...

Адрес, конечно, можно узнать. Если не сейчас, так потом. Для через два-три, когда Динка напишет домой. Но о чем писать Динке? О том, что мы скоро уедем в совхоз? Или о том, что, когда мы вернемся, нам снова будет некогда? Что нам надо будет добить испанский и переучиваться на бульдозеристов?

Мне почему-то кажется, что Динка не ответит на такое письмо. А другого написать мы не можем.

Ромка сегодня читает все. От плакатов, предлагающих прохожим гасить окурки, прежде чем бросить его, до вознесенных под небеса реклам. Ромка не пропускает ни призывов хранить деньги в сберегательной кассе, ни театральные афиш.

— «Назначения»... «Рассудите нас, люди!» — бормочет он, глубокомысленно покачивая головой. — «Медведь»... «Лисистрата»...

Ромка подпрыгивает. Присунувшись к афише вплотную, размышляет вслух:

— «Медведь? Едва ли... Скорее, «Лисистрата». Вот именно — «Лисистрата»!

Мы с Ленкой молчим, хотя хорошо понимаем Ромку. Но Ромка мало этого. Ромка любит уточнять.

— В Древней Греции тоже были романтики. Они ездили воевать в Трою и другие населенные пункты. Уезжая, они пели: «До свиданья, мама, не горюй, не грусти!» и «Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом». Девушкам это, естественно, не нравилось. Девушки не хотели, чтобы мужики изменяли им. Даже с романтикой. И они объявляли забастовку. Если бы Аэрофлот предложил им тогда свои услуги, они бы тоже улетели. Может быть, даже в Сочи. Но это не суть важно. Важно то, что девушки остаются девушками и что история повторяется...

Ромка прав, ведь мы вспоминали о Динке только тогда, когда нам это было удобно. Но разве мы виноваты в том, что так получалось? Что нам было интересно не только с Динкой?

— Читайте Уголовный кодекс! — отвечает Ромка. — Там ясно сказано: отсутствия состава преступления не исключает присутствия моральной вины!

— Во-первых, — обрывает я Ромку, — это говорит не Уголовный кодекс. Во-первых, это говорит ты. А во-вторых, что, по-твоему, было делать? Может, устроить ее на наш участок? Или на курсы?

— Не знаю, — помолчал, серьезно отвечает Ромка.

Не знаю и я. Не знает, наверно, и Ленка. И от этого нам становится совсем плохо.

Гаснут на улицах фонари. Из-за угла сразу же выплывают глубокие синие тени. Они ложатся на серый асфальт, и он тоже становится синим.

В слесарке полутемно. Только над тремя верстаками свет. За одним стоит «братья-разбойники», за другим — мы с Ленкой, за третьим — Ромка и Фобос. Мы доделываем последнюю головку. Для Тютя.

Кюммель тоже с нами. Он бродит от верстака к верстаку и выпрашивает напильник. Но мы не подпускаем его к тискам: он сразу же выдыхается и начинает хвататься за сердце. Впрочем, Кюммелю и так не скучно, потому что за него вплотную взялся Фобос.

— Бросай ты эту свою газетку! — советует он Кюммелю. — Иди на завод. Нам как раз восьмой нужен. И ты делом займешься.

— Смешной ты! — улыбается Кюммель. — По-твоему, в газете работают одни бездельники! К тому же мне нравится профессия журналиста.

— Нравится? Стейкин писать? — удивляется Фобос. — Ну, уж это ты, брат, загибаешь!

— Ничего не загибаю! — начинает сердиться Кюммель. — И вообще у тебя какое-то нездоровое отношение к газете!

— Самое здоровое! — упорствует Фобос. — Видел я вашего брата-журналиста. Прибежит такой на завод, по цеху вприпрыжку проскачет, у начальства в кабинете папироску выкурит — ах, глядишь, статья появится: «Молодые машиностроители в борьбе...» и все такое прочее. Там и планы, и обязательства, и вообще все, что по чину положено. А читать — с души воротит...

— Тебе, конечно, клубничку подавай. Бржикт Бардо во всех проекциях. Да!

— Видал я ту Бржикт! — морщится Фобос. — Тут и без нее есть о чем полисовать.

— Так вы же не разрешаете! — ловит его на слове Кюммель.

Фобос не смущается.

— Про нас не разрешаем, потому что другие есть. А ты, если тебе немножко, про другое попробуй... Вот, смотри: шестеро нас. А на участке работает семеро. И знаешь, по какой причине седьмого здесь нет?

И Фобос рассказывает Кюммелю о том, как работал и почему откопался Тютя.

«Братья-разбойники» слушают, облокотившись на ручки напильников, и шумно вздыхают. Ромка, тихонько мурлыча что-то, подгоняет детали, но тоже слушает: это видно по тому, как медленно движутся его руки. Мы с Ленкой отглаживаем кернеры и слушаем тоже.

— Вот ты и разберись, если ты умный, — продолжая колдовать над планкой резцедержателя, неторопливо говорит Фобос. — Он, этот Тютя, знаешь, как может? Спокойно сто пятьдесят выложит, а то и все двести. И без всяких приспособлений. Только ведь не хочет. А почему — ты сам слышал.

— Но ведь это — шкурничество! — поражается Кюммель.

— А как же, — соглашается Фобос. — Да руки-то у него все равно золотые. Может, надо сделать так, чтобы и такие Тютя на совесть выкалывали! В том смысле на совесть, что от звонка до звонка и без волынки. Если по-хорошему не понимают, — деньгой их ушибить...

— Любопытно! — интересуется Кюммель. — Мне, честно говоря, даже слышать о таком не приходилось.

— Оно и понятно! — усмехается Фобос. — Вы ведь

все больше об успехах стараетесь. Бывает, так громко «ура» кричите, что аж глаза от натуги зажмуряете.

— Врешь! — подсказывает Кюммель. — Открой любую газету, от «Правды» до вашего «Машиностроителя!» Нет такого номера, в котором не освещались бы недостатки!

— Ну-ну!.. Зашуршал... Это ведь я так, для профилактики, — довольно улыбается Фобос. — Да и потом вы всегда да Иван Иванович киваете. Такой-то-де и такой-то извратил. А чехарду с этими расценками не Иван Иванович устранил. С ними везде так.

— Что-то ты уж очень горько взялся! — подмигивает Фобосу Кюммель. — Уж не хочешь ли и сам под шумок парочку червонцев сорвать за здорово живешь?

— Эй, ты! — вспыхивает Фобос. — Давай не будем! А то я не посмотрю, что ты прессл!

— Нашему Тютю только дай, — подает голос Мащенко. — Он, если этой самой деньгой запахнет, в цехе ночевать будет, а пять норм все равно выколоти и за каждую до копеечки выпрет.

— Вот-вот! — сразу остыл, поддерживает Фобос. — А это разве плохо — пять норм!

— Путешуй ты что-то, — качает головой Кюммель. — Нелзя так. Ведь производительность труда растет в основном за счет механизации и автоматизации производства.

— Вот и видно, что токарить ты в своем университетском кружке выучился! — усмехается Фобос. — На автоматах-то ведь тоже люди работают. И опять же, на кой нашему Тютю автомат, если он руками больше зарежет?

— Ну, знаешь! — возмущается Кюммель. — Это уж совсем ни в какие ворота не лезет!

— В Тютяны лезет, и без мыла даже, — спокойно говорит Фобос.

— Тогда... как же! — недоумевает Кюммель.

— А так думаю: установил расценки, и пускай себе стоят. Года два-три. Как Тютя под пять норм качать стал, — сресай. Пускай снова тянется. И будет тянуться! А кому от этого плохо, если он один за пятнадцать будет выкалывать и за троих получать! В одном нашем цехе чуть не половину можно будет на другую работу перевести. Скажем, дворец бракосочетаний строить или опять же ясли.

— Не знаю... — задумывается Кюммель. — По-моему, ты тут не оченно...

— А я и не говорю, что очень. Так, в порядке бреда. Только ты все равно напиши. Грамотные люди статью твою прочитают и зашумят. Поругаются-поругаются и поймут, что тут и станкам экономия, и площадям производственным, и спецдежде, и всякому такому прочему. Да ведь не напишешь! — хитро прищуривается Фобос.

— Если разберусь и поверю, напишу! — воинственно сверкнув очками, говорит Кюммель.

Тихо в слесарке. Только скрипит надфиль Фобоса, да все еще напевает Ромка.

— А вы! — вдруг говорит Кюммель. — А вы зачем здесь! И зачем вам эти приспособления! Ведь если так, то ни копейки лишней вам не насчитают.

— Мы другое дело, — спокойно говорит Фобос. — Мы не заребываем. Мы работаем.

Мы с Ленкой перемигиваемся — вот так Фобос! — и снова беремся за кернеры.

А Кюммель смотрит в пол и грызет карандаш.

Это очень трудно — уложить рюкзак так, чтобы в них вошло все. Мы с Ленкой возмизс с ними уже второй час, и ровно столько же Ромка издается над нами.

Ромке хорошо. Он явился к нам с пустым рюкзаком в одной руке и с набитым чемоданом в другой. Он, конечно, мог уложиться и дома — точно так же, как и я, — но мы собрались у Ленки.

Ромкин рюкзак поверг нас в ужас. Это и не рюкзак даже, а громадный мешок, сшитый из разноцветных кусочков кожи и усеянный пряжками и пряжечками разных величин. Ромка, игнорируя наши охи и ахи, уселся на пол и принялся перекладывать уютные свертки и сверточки из чемодана в рюкзак. Мы уперлись рядом и занялись тем же. Но Ромка уже через пять минут дробил отбой. Он просто взял чемодан и опрокинул его над рюкзаком. Потом умял бесформенную грудку тряпья кулаками, затянул рюкзак и швырнул его в угол. А теперь он сидит на диване, дымит сигаретой и издается над нами:

— Вы забыли еще пилюлю от кашля и пакетик с горчичниками. А зубные щетки вы сунули все-таки в банку с заварным...

Мы продолжаем укладываться. Рюкзаки уже полны почти под самую завязку, но нам нужно запаковать в них еще кучу совершенно необходимых вещей: две пары перчаток, две книги по тракторам и учебник испанского, — его подарил нам Ромка. Карту Кубы мы тоже берем с собой.

— У вас такие умные рожи, — смеется Ромка, — что мне даже страшно делается. Ей-богу, вы как будто не в соседний колхоз собираетесь, а по крайней мере в соседнюю Галатику. И не на месяц, а на парочку тысяч лет. Вот будет смеху, если нас все-таки не пустят!

Если нас не пустят, смеху будет действительно много. Тем более что его и сейчас хватает.

Кюммель не сдержал слова. Он так написал о нас и о нашей поездке. Правда, он не назвал фамилий и постарался отделаться обтекаемыми фразами, но в целом, кажется, догадываются, что такие «комсомолец с горячими сердцами», они же «молодые романтики». И нам целый день казалось, что над нами смеются.

Над нами обязательно будут смеяться, если узнают наверняка, о ком написана эта статья. Потому что на самом деле все гораздо проще, чем накрутил в ней Кюммель.

Мы не совершаем никаких подвигов. Мы едем в совхоз потому, что нам хочется, так же как другие едут в Сочи. А стоит ли из-за этого поднимать шум, да еще в газете? Если да, то его надо поднимать и по поводу любой другой поездки — на курорт или в гости к бабушке.

Статья Кюммеля появилась вчера, и сегодня мы почти весь день нервничали. Мы успокоились только вечером. Мы решили: если догадаются, отпираться не будем. Кто хочет, пусть смеется. Мы будем смеяться тоже. За компанию. И еще мы решили, что Кюммелю отныне и во веки веков вход на наш участок заказан.

35

Мы стоим у станков. Каждый у своего. Нет только Тюти, но он должен прийти с минуты на минуту.

В субботу Ленка сказала ему:

— Ты как хочешь. А мы начнем с понедельника. Понял?

— Понял! — осклабился Тютя. — Вы даёте пятьсот, я — сто. Вы хорошие, я совсем наизоброт.

— Ты тоже можешь пятьсот, — сказал Ленка

— Непонятно. Вы — головками, а я — руками?

— Тебе сделали тоже, — сказал Ленка.

— Спасибо, начальник! — заулыбался Тютя. — И как бы я, бедный, без вас жил-существовал?

— Короче, — оборвал его Ленка, — согласен или нет?

— Да уж что уж! Куда от вас, от таких, денешься? Придется, видно, и мне в коммунистические ударники выходить.

— Не бойся, — утешил его Ромка, — не выйдешь.

— Значит, понял? С понедельника, — сказал Ленка.

— Будет сделано, начальник! — снова осклабился Тютя.

И теперь его нет. А Ромка смотрит на часы.

— Три минуты осталось!

На всех станках новые головки. И на Тютином тоже. Ее установил и настроил Фобос. А Тюти все нет...

— Две минуты осталось!

Интересно, сколько мы выдадим сегодня? Похоже, процентов по триста с гаком. А может, и все четыреста...

— Одна минута осталась!

А Тюти все нет. Если он опоздает, у нас поломается весь цикл. Мы составили маршрутную карту на семь станков. Неужели придется менять ее на ходу?

— Вот сволочь! — шепчет Фобос. — Это он нарочно!

Мы с Ленкой не спускаем глаз с двери, «братяз-разбойник» тоже, а Ромка смотрит на часы.

— Время!

За тонкой стеной нарастает знакомый спокойный гул. А у нас тихо. Мы не можем включиться без Тюти!

— Одна минута прошла!

— Да что же мы! — не выдерживает Кочкин. — Так и будем глазами на дверь лупать!

— Эй, бригадир! Давай команду!

Ленка, в последний раз глянув на дверь, круто оборачивается к станку.

— Начали! Седьмого пропускаем. Доделаем перед обедом. Все сразу.

Мы включаемся почти одновременно, и я забываю обо всем. Я вижу только бешено вращающуюся деталь и лимб поперечной оси.

Есть!

Я быстро отвожу головку. Большой палец правой руки давит на «Стоп». Рывок ключом — и наполовину готовая деталь ложится на Ленкину тумбочку.

Есть!

А правая рука уже хватает заготовку, левая тянется к ключу.

Все начинается сначала.

Перерыв. Я выключаю станок. В глазах немножко рябит, и чуть ноет правое плечо.

В углу — там, где лежат готовые детали, — суматоха.

— Дышите аккуратнее! — уговаривает «братяз-разбойник» Ромка. — Это же вам не что-нибудь, а детали! Конюте одна о другую, и пропал фасон!

Я бегу туда, где считают проценты.

— Как?..

— Нормал! — говорит, выпрямляясь, Ленка.

— Сколько!

Ленка молчит и смотрит на Фобоса. Фобос стоит в стороне и неторопливо разминает папиросу. Но шея у него вытянута так, что кажется вдвое длиннее.

— Сколько!!

— Даести! — со вкусом говорит Ленька. — Даести и еще двадцать!

— А что я говорил? — бормочет Фобос и чиркает спичку. Но прикурить ему не дают.

— Качать его! — вопит Ромка.

— Старо! — морщится Фобос.

Но «братьям-разбойникам» только этого и надо. За их гоготанием уже не слышно воркотни Фобоса, а его самого не видно из-за их широких спин. Мы с Ленькой тоже наваливаемся на Фобоса.

Мы кажем его не очень, потому что тесно у нас на участке. Кругом станки.

Мы сидим в курилке. Мы только что пообедали и теперь отдыхаем, положив руки на спинку скамейки и вытянув ноги. Совсем как в перерыве между раундами. Мы — это вся наша бригада. Кроме Ромки и Тюти. Тютя так и не появился сегодня, а Ромка исчез куда-то еще в начале перерыва, и его до сих пор нет.

Мы молчим. «Братья-разбойники» — они думают, что это у них получается незаметно, — переглядываются и перемигиваются. Ленька просто отдыхает, а я наблюдаю за Фобосом и удивляюсь.

Я все время думал, что у Фобоса длинный злой нос. А он у него совсем не длинный. Он у него просто красивый. И губы. Оказывается, они у него пухлые и яркие. Мне они почему-то казались тонкими и бесцветными. Наверно, потому, что они всегда были закушены или поджаты. Наверно, потому, что я никогда не видел, как улыбается Фобос. А сегодня он улыбается...

Перемигивание на соседней скамейке становится угрожающим. Еще чуть-чуть, и «братья-разбойники» заговорят. Так и есть.

— Мы... Это самое... целомудренно потупившись, начинает Кочкин. — Подумали тут... И решили...

— Поезжайте, в общем... — заканчивает Машенко.

— Спасибо! — говорю я. — Да вот беда: вы еще не последняя инстанция.

— А мы сами сходим. Хоть к директору, — говорит Машенко.

— А чего? — поддерживает Кочкин. — Пойдем и скажем, что без нас обойдемся. Сколько раньше все-мером давали, столько и теперь дадим. Нас же трое остается!

— Вас двое, — говорит вдруг Фобос. — А кто третий?

— Так... — терются «братья-разбойники», — ты же!

— Скажи! — говорит Фобос, и нос у него снова становится длинным, а губы тонкими. — Кто хочет — пускай остается. А я ухожу. В отпуск. В очередной. Мне по графику положено.

«Братья-разбойники» в панике. Мы тоже. А Фобос сидит и презрительно щурится на солнце.

— Опоминись, чудило! — урезонивает его Кочкин. — Ребят же не пустят! Тебе ведь так. Погоду пинать. А им по делу!

— Плевал я на ихние дела! Ясно?

«Братья-разбойники» взрывают руки и открывают рты. И молчат. Молчим и мы с Ленькой. Нам очень хочется сказать что-нибудь, но мы молчим. Зато взрывается Машенко.

— Ну и гад ты, Фома! — рвет он, вскакивая и потравляя кулачками. — Таких, как ты, в море топить надо!

— Не так громко! — морщится Фобос. — А насчет утопить, так это еще бабушка надвое сказала, кто кого.

— Хватит! — вмешивается Ленька. — Пусть идет, раз по графику...

Тихо на участке. Фобос уткнулся в головку и что-то там точно подравляет и регулирует. Мы осматриваем свои, хотя они остались такими же, какими были. Настроение у нас совсем никуда...

Теперь нас не отпустят. Почти наизусть. Во-первых, если даже и зайдет разговор о том, чтобы отпустить всех четверых, в отделе кадров, в отделе труда и зарплаты и вообще там, где утверждается график отпусков, — меня никогда не интересовало, где это делается, — поднимется страшный скандал, потому что остановить четыре станка из семи — значит оголить участок больше чем наполовину. Это, конечно, не так страшно, как кажется. Теперь — очень уж вовремя мы сделали свои головки! — три станка спокойно могут работать за семь, но только три. Меньше чем тремя станками не обойдешься.

Но Тютя не в счет, а Фобос уходит в отпуск. Вот и получается, что вместо него должен остаться кто-то из нас троих. Наверно, остаться придется Ромке, ведь у него нет прав.

Сволочь Фобос! Уехать в совхоз без Ромки — почти то же самое, что без Леньки. А без Леньки я бы не поехал...

Ромка, конечно, ни о чем не догадывается. Он врывается на участок, останавливается посередине и начинает прыгать на одной ноге. Потом на другой. Он прыгает и поет:

— Нас отпустят всех троих! Нас отпустят всех троих!

Ромка прыгает и поет, а мы смотрим на него и молчим. Нам надо сказать ему, что третьим будет не он, а Фобос, но у нас не хватает духу. «Братья-разбойники», кажется, вот-вот начнут всхлипывать, Фобос пренебрежительно кривит совсем бледные губы, а Ромка ничего не замечает. Он прыгает и поет.

Бедный Ромка!

— Пойдем! — говорит мне Ленька, дернув меня за рукав. Я не знаю, куда мы пойдем, но выхожу за ним.

— А я? А меня! — кричит нам вслед Ромка.

Мы не отвечаем.

Я смотрю на часы. До конца перерыва — десять минут. Но нам хватит и десяти. Впрочем, если не хватит, мы задержимся и на двадцать.

Мы успеваем заметить, как с другой стороны к нашему участку подходит начальник цеха. С ним технолог, старший мастер потока и еще кто-то. Человек десять.

Все ясно. Это Ромкина работа. Недаром же он весь перерыв пропадал где-то. И все зря...

Начальник цеха и остальные входят на наш участок, а мы выходим на заводской двор. Мы с Ленькой все равно опоздали немного. Минут на десять. Мы опоздаем даже на час, если будет надо.

Я знаю теперь, куда мы идем. Мы идем в комитет.

Наш столик у самой эстрады. Это столик на четверых, но пока за ним только трое. Ромка, Ленька и я. На столике — «Мандариновая» и яблоки.

Мы давно не были в нашем кафе. Почти два месяца. И наш столик — тот, что в углу, столик на двоих, — уже перестал быть нашим. Его заняли ребята из литейного. Правда, когда мы пришли, они астали и подкинули нам свои стулья, но мы все равно сели за другой. Во-первых, нам тесно за ним теперь, а во-вторых, мы все-таки уезжаем.

Нас отпустили. Всех троих. И Фобоса тоже. Отпустили, на удивление, легко. Правда, когда мы сказали, что в отпуск уходят не трое, а четверо и что участок не может работать на двух станках, начальник цеха задумался. Он думал очень недолго, но ребята из комитета успели взять его в клещи. Они размахивали руками и наперебой кричали о том, что никакие административно-производственные трудности не должны сдерживать инициативу масс. Они делали пространные экскурсы в последние сообщения о международном положении и о ходе выполнения социальных обязательств. А потом они сказали, что любой из них пойдет на наш участок третьим.

Начальник цеха слушал и улыбался. А когда ребята кончили, он просто взял наши заявления и подписал их.

В общем, все получилось так быстро и просто, что Ромка даже не успел испугаться. Он понял, что его могли оставить, только тогда, когда мы вышли из кабинета. И тут испугался по-настоящему.

— Братцы! — пробормотал он, садясь на бачок с питьевой водой. — Это правда, братцы? Это правда, что я поеду, а? Что не останусь?

Кругом хохотали, а Ромка сидел в бачке, бледнел все больше и нес какую-то жалкую чепуху. Замолчал он только после того, как ему прочитали резолюцию начальника вслух.

Сейчас Ромка, конечно, уже забыл об этом.

— Давненько не брал я чашек в руки! — мурлычет он, поглядывая на новенькую кофеварку «Будапешт» и выстроившись возле нее батальоны маленьких глиняных чашечек.

Ромку можно понять. Он теперь совсем не пьет чая. Он пьет теперь черный кофе. И, по мнению Ромки, это никелированное чудо появилось здесь очень кстати. Можно за каких-нибудь десять копеек почувствовать себя почти что на Кубе. Хотя бы на пять минут.

А на страде тихая истерика. Сегодня дает свой первый концерт наш заводской джаз, и вот уже полчаска из-за тонкого занавеса несется причитания скрипок и хриплые охи кларнетов, а в перерывах между ними — голоса солистов, которым несносный оркестр то и дело анастует на пятки.

Мы давно не были в нашем кафе. С того самого дня, когда здесь пела Динка. Но мы снова сидим здесь. Мы — это Ромка, Ленка и я. Нет только Динки. Ни в зале, ни на эстраде. Ни вообще.

Динка так и не написала нам. Ни строчки, хотя мы думали почему-то, что она обязательно напишет. И ждали. А потом перестали. Во всяком случае, я и Ромка. Ленка, наверно, все еще ждет. А по-моему, больше ждать не стоит. Динка давно написала бы, если б хотела.

Мы с Ленкой никогда не вспоминаем о Динке — по крайней мере вслух, но зато о ней часто вспоминает Ромка. Так часто, что это начинает походить на навязчивую идею. Или психологическую блокаду.

Вот и сейчас он, косясь одним глазом на эстраду, а другим на каменного невозмутимого Ленку, глубокомысленно изрекает:

— Иных уж нет, а те далече...

Ленка не поддается на эту явную провокацию. Правда, он отворачивается от эстрады и начинает смотреть в угол, но все-таки молчит.

Тогда Ромка бросается в атаку. Ромка идет во весь рост.

— Цельносварные и железобетонные! — с наслаждением говорит он. — Меднолобые и дубиноголобые! Они молчат даже тогда, когда им хочется плакать!

— Тебе хорошо. Ты ватный, — говорю я, линая его под столом ногам. — Значит, тебе и плакать.

Но Ромку не заставили замолчать, как раньше.

— И буду! — свирело отпнываясь, заявляет он. — Буду плакать! И вам советую!

— Поплечи, дитя! — говорю я, доставая из грудного кармана свой парадный платок и протягивая его Ромке.

Ромка хватает платок и, зло высморкавшись в него, взворащивает мне.

— Слел! Вот так же я чихал и на вашу идиотскую гордыню!

Я пожимаю плечами, а Ромка принимается за Ленку.

— Не молчи, Лен! Чего ты все время молчишь? Скажи чего-нибудь, а? Поругайся, как он, что ли! Только не молчи!

И Ленка говорит:

— Сядь. Концерт начинается...

Ромка с минуту молчит и неподвижно смотрит на Ленку. Потом говорит:

— Ну и черт с вами!

Он говорит это очень зло. Садится и поворачивается к Ленке спиной.

Сегодня хороший концерт. Не такой, как тогда, когда пела Динка, но все-таки хороший. И это ничего, что ребята едва не стучат зубами от страха, а у девочек, когда если они выходят на «бис», позорительно краснеют носы. Вообще все хорошо сегодня!

Мы сидим, глотаем «Мандариновую» и слушаем. Потом хлопаем и орем «браво». Вместе со всеми. И Ромка давно уже не злится, и Ленка сегодня такой же, как раньше.

По-моему, он правильно сделал, что не стал разговаривать о Динке. Мы поговорим об этом потом. Когда она придет. Мы придем к ней и поговорим обо всем. А разговаривать сейчас, когда нет Динки и когда еще ничего не ясно, — значит просто плакать в жилетку. В Ромкину или в мою.

— Внимание! — вдруг говорит Ромка и толкает нас локтями. Он смотрит на дверь.

От двери, поминутно извиняясь и кланяясь, двигается Кюммель. Прямо к нам.

— Явка с повинной! — шепчет Ромка и снова отворачивается к эстраде.

Мы все трое с интересом смотрим на эстраду, хотя сейчас антракт и занавес давно опущен!

— Здравствуйте, ребята!

Мы, не отрывая глаз от занавеса, степенно киваем.

— Семейство кактусов! — усмехается Кюммель и берет за спинку свободного четвертого стула.

— Здесь занято! — официально заявляет Ромка, но Кюммель не смущается.

— Ничего, — говорит он, неторопливо усаживаясь. — Я уйду, если меня попросят.

— Вас, насколько я понимаю, уже просят, — вежливо говорит Ромка.

Но Ромка трудно обойтись без шпилек.

— Прийти изволили! — сладко улыбаясь, осведомляется он. — И, конечно, с блокнотиком? И, конечно, темочку вылавливать?

— А ну тебе! — машет рукой Кюммель и усаживается еще основательнее, как видно, надолго.

— Ну, что? — спрашивает он. — Едете?

— Едем, — отвечаю я. — А тебе какое дело?

— Вот чудак! — смеется Кюммель. — Интересно же!

— Профессиональный интерес? — понимающе улыбается Ромка.

— Просто интерес, — отвечает Кюммель.

— Слушай! — говорит Ленька. — Зачем ты? Ведь просили же, не пиши!

— Ну и что? — спокойно отвечает Кюммель. — У вас свои принципы. У меня свои.

— Ах, так это из принципа? — поражается Ромка. — А я думал, из-за гонимости!

— Дать тебе по шее? — задумывается Кюммель. — Не стоит, пожалуй. Не поймешь.

— А ты объясни! — говорю я. — Может, мы все-таки пойдем. Может, мы не такие уж бестолковые.

— Пожалуйст! — пожимает плечами Кюммель. — Вы работаете на заводе, я — в газете. Вы делаете свое дело, я — свое. Вы думаете так, я — иначе. Или вам хотелось бы, чтобы все думали, как вы?

— Нет! — улыбается Ромка. — Мне — нет!

— Мне тоже, — говорит Ленька, — пишу на здоровье. Только правду!

— Именно так я и делаю.

— Orto, organe, ornatum, ornamenti, ornantur, — спрашивает Ромка. — Я украшаю, ты украшаешь, он украшает, мы украшаем... И так и далее...

— Ты наврали, — говорю я. — Признайся, что наврали! Откуда ты знаешь, зачем мы едем?

— Я уже говорил, что догадываюсь! — улыбается Кюммель.

— Не умеешь ты догадываться! — говорю я. — Мы едем за тем же, зачем и другие. Знаешь, артели такие строительные? Читал?

— Шабашники? — вспоминает Кюммель. — Не только читал, но и писал.

— Вот-вот, — говорю я. — Так мы тоже шабашники.

— Ну уж! — возмущается Ромка, но я перебиваю его:

— Ничего не «ну уж!» Самые настоящие шабашники. Не просто так ведь едем, а с выгодой.

— Эка! Хватит! — веселится Ромка.

— Точно! — говорю я. — Они — за деньгами, а мы — за практикой.

— Это две большие разницы, как говорят в Одессе, — смеется Ромка.

— Никаких разниц! У них — своя выгода, у нас — своя, как там ее ни называй: деньгами или практикой.

— Как закручено, как наворочено! Силен я, бродяга! — хохочет Ромка, а Кюммель настораживается.

— Что за практика? А, ребята?

— Потом, — говорит Ленька. — Приедем — тогда.

— А если сейчас? — заглядывая нам в глаза, угрожает Кюммель. — Что вам? Жалко?

— Потом, — говорит Ленька. — Концерт начинается...

— Смотрите же! — торжественно заявляет Кюммель. — Вы обещали!

Занавес раздвигается. На эстраде снова оркестр. Но Кюммель совсем не смотрит на эстраду. Он роется в карманах.

— Как это вам нравится? — говорит он таким тоном, что мы разом поворачиваемся к нему.

На столе лист бумаги. Очень белой и плотной. На нем написано: «Здесь работают дураки». Крупно, красиво написано. А в конце — три восклицательных знака.

— Это я снял там, в цехе, — объясняет Кюммель.

— С нашей двери?

— Ну да. Я пришел еще до перерыва и вдруг вижу — толпа. Потом это увидел... Ну, как?

— Никак, — спокойно говорит Ленька и отворачивается.

— Пошумели сегодня изрядненько! — улыбается

Кюммель. — Одни кричат — дураки, другие — не дураки... А вы как думаете?

— Никак, — говорю я.

Мне почему-то кажется, что это написал Тютя. Или такой, как он. А уж на Тютю-то нам и в самом деле наплевать. И на всех таких, как он. Пусть пишут.

А Ромка берет лист и начинает складывать его. Он складывает его очень бережно. Потом прячет в карман и застегивает на пуговицу.

— На память, — говорит он, улыбаясь.

37

Всё! Мы уезжаем. Мы стоим посреди Ленкиной комнаты и натягиваем рюкзаки, а в окно знакомое стучится горло.

В комнату входит Полина Викторовна. В руках у нее огромная сумка.

— Срочно уложите и это, — говорит она и начинает вставлять на стол кулечки, банки и склянки.

— Мама! — укоризненно говорит Ленька.

— Вот что, дорогие мои первооткрыватели, строители, борцы и так далее: если вы сию минуту не заберете все до последнего сверточка, я закачу вам такой скандал, какого вы еще ни в одном фильме не видели!

Мы подчиняемся. Ромка набивает свой ужасный рюкзак до треска в швах и последнюю банку сардин сует в карман.

— Истинно дураки! — шепчет он. — Если о себе не думаете, так хоть о ближнем позаботьтесь. Даю слово: за сутки все уберу и еще добавлю потребу!

— Теперь садим, — говорит Полина Викторовна. Мы садимся. Молчим. Потом встаем и выходим. Полина Викторовна удерживает меня.

— Ты пиши мне, Боря, — тихо говорит она. — Я не буду вмешиваться, но ты пиши... А он, — она кивает на дверь, за которой скрился Ленька, — ты же знаешь его... Так что пиши... И... будьте все-таки поосторожнее... Но не потруславай!

Она опять улыбается. Я улыбаюсь тоже и выхожу. В передней нас ждет Ленька. Он возится с курткой. Он никак не может застегнуть последнюю пуговицу. Ромки уже нет. Я тоже выбегаю на лестницу. Леньке не справиться с пуговицей без Полины Викторовны. Даже я не помогу ему сейчас так, как она.

Наш поезд пригородный. И, конечно, он уже полон. Мы идем по вагонам, отыскивая свободную полку, но нам явно не везет.

— Может, на крышу, а? — заикается Ромка.

Мы не отвечаем. Ромка вконец измучил нас своими гнусными происками. Он с самого утра предлагает то подножку, то паровозный тендер. Нам это надоело, и мы решили игнорировать все его наскоки.

Вот и последний вагон. И — чудо! — первое же купе почти свободно. Там сидит только один пассажир. В длинной телогрейке и шапке с надорванным ухом. Он, кажется, кого-то ждет, потому что нос его плотно приклеен к вагонному окну.

— Скажите, пожалуйста, здесь не занято? — очень вежливо спрашивает Ромка.

— Ну и народ! — не оборачиваясь, рыкает пассажир. — Сто раз уже сказал, занято!

Мы замираем: голос у сердитого пассажира что-то уж очень знакомый!



— По... повернитесь! — лепечет Ромка. — Пожалуй-ста, повернитесь!

Пассажиры оборачиваются. Мы отшатываемся: это Фобос! Он теряется на мгновение, но потом, разрешив себе слабое подобие улыбки, бурчит:

— Чего встали? Садитесь...

— Ты... откуда?! — шепчет Ромка; в глазах у него суеверный ужас.

— Все оттуда же, — нехотя отвечает Фобос.

— А... куда?

— Все туда же.

— С нами!!

— Нужны вы мне! Думаешь, вы одни такие умники?

— Мы наоборот. Мы дураки.

— Ну, значит, и я дурак тоже! — снова пытается улыбнуться Фобос. — Чего глазете? Насмотритесь еще. Садитесь лучше, пока место не заняли. Я уже полчаса из-за него ругаюсь. Надоело!

Мы рассказываемся. Ромка, плотоядно улыбаясь, начинает развязывать рюкзак, Фобос продолжает ворчать, а мы с Ленкой смотрим на него и смеемся. Нам так весело, что даже это ворчание кажется приятным. Может быть, нам и весело потому, что мы слышим это ворчание?

Поезд трогается. Мы открываем окно. В купе сразу же врывается острый запах паровозного дыма. А за окном медленно, словно нехотя, отстает город.

Вон там, слева, за тонкой иглой телевизионной вышки, мой дом. Я оставил в нем совсем пустую квартиру и записку отчиму. Я написал ему всего два слова: «До свидания». И еще — название совхоза, в который мы едем. На всякий случай.

А вон там, еще дальше, за Лысой горой, покрытой чешуйками крыш, — наш завод. Над его далекими, едва прорисованными трубами рыжие хвосты дыма. Нашего цеха не видно отсюда. Но он где-то там, рядом с этими трубами. Он зажат между горячими телами остальных цехов, а под его высокой железной крышей медленно ворочается очень спокойный и ровный гул.

А город все-таки отстает. Он уходит назад, и вместе с ним уходят назад все, кто в нем остается.

Кюммель, который очень любит писать и который переупрямил нас. Он и сейчас, наверно, пишет...

«Братья-разбойники», с которыми всегда было хорошо стоять рядом. Надежно. У станков или просто так. Они и сейчас стоят у станков — за себя и за нас. Вместе с ними стоит и третий, которого мы не знаем...

И Динка остается тоже. Правда, она уехала раньше нас, но мне все равно кажется, что она остается...

Мы смотрим в окно. Мы — это Фобос, Ромка, Ленка и я. Мы уезжаем на месяц. На тридцать дней. Много это или мало?

А город уже совсем позади, и к крутому откосу насыпи выбегают первые ели.



ДОМ с Башенкой



Рассказ



Рисунок
Ю. Вечерного.

Ф. ГОРЕНШТЕЙН

Инженер Фридрих Горенштейн работал на шахте в Кривом Роге, а затем прорабом на одной из строек Киева.

В центральной печати выступает первый раз.

Мальчик плохо различал лица, они были все одинаковы и внушали ему страх. Он примостился в углу вагона, у изголовья матери, которая в пуховом берете и пальто, застегнутом до горла, лежала на узлах. Кто-то в темноте сказал:

— Мы задохнемся здесь, как в душегубке. Она все время ходит под себя... К концу концов здесь дети...

Мальчик торопливо вынул варежку и принялся растирать лужу по полу вагона.

— Почему ты упрямись? — спросил какой-то мужчина. — Твоя мама больна. Ее положат в больницу и выпечат. А в изселоне она может умереть...

— Мы должны доехать, — с отчаянием сказал мальчик, — там нас встретит дед.

Но он понимал, что на следующей станции их обязательно высадят.

Мать что-то сказала и улыбнулась.

— Ты чего? — спросил мальчик.

Но мать не ответила, она смотрела мимо него и тихо напевала какой-то мотив.

— Ужасный голос, — вздохнули в темноте.

— Ничего не ужасный, — огрызнулся мальчик, — у вас самих ужасный...

Рассветало. Маленькие оконца товарного вагона посинели, и в них начали проскакивать верхушки телеграфных столбов. Мальчик не спал всю ночь, и теперь, когда голоса притихли, он взял обеими руками горячую руку матери и закрыл глаза. Он заснул сразу, и его мягко потряхивало и постукивало спиной о потатую стенку вагона. Проснулся он тоже сразу, от лужного прикосновения к щеке.

Поезд стоял. Дверь вагона была открыта, и мальчик увидел, что четверо мужчин несут его мать на

носкилах через пути. Он прыгнул вниз, на гравий железнодорожной насыпи, и побежал следом.

Мужчины несли носилки, высоко поднимая и положив на плечи, и мать безразлично поканчивалась в такт их шагам.

Было раннее, холодное утро, обычные в этих степных местах мороз без снега, и мальчик несколько раз спотыкался о примерзшие к земле камни.

По перрону ходили люди, некоторые оборачивались, смотрели, а какой-то парень, лет на пять старше мальчика, спросил у него с любопытством:

— Умерла?

— Заболела, — ответил мальчик, — это моя мама. Парень с испугом посмотрел на него и отошел. Носилки внесли в дверь вокзала, и мальчик тоже хотел пройти туда, но медсестра в телогрейке, наброшенной поверх халата, взяла его за плечо и спросила:

— Ты куда?

— Это ее сын, — сказал один из мужчин и добавил: — А вещи где ж? Эшелон уйдет, без вещей останетесь...

Мальчик побежал назад, к эшелону, но запутался и оказался на городской площади с противоположной стороны вокзала. Он успел заметить очередь на автобус, старый одноэтажный дом с башенкой и старую в шерстяных чулках и галошах, торгующую рыбой.

Потом он побежал назад, однако железнодорожные пути у перрона оказались пустыми, эшелон уже ушел. Мальчик еще не успел испугаться, как увидел свои вещи, сложенные на перроне. Все было цело, кроме кошельки с лепешками и сушеным уроком.

— Твои вещи? — спросила женщина на железнодорожной шинели.

— Мои, — ответил мальчик.

— А что в этом узле? — И ткнула ногой грязный, сплюснутый узел.

— Мамини фетровые боты, — сказал мальчик, — и два ватных одеяла... И коринчевый отрез...

Женщина не стала проверять, взяла узел и чемодан, а мальчик взял другой узел и чемодан, и они пошли к вокзалу. Они внесли вещи в теплый зал, где на деревянных скамьях и прямо на полу сидело много людей.

— Я в медпункт, — сказал мальчик, — у меня мама заболела.

— Я твои вещи караулить не буду.

— Ну, еще немного, я уплачу.

— Дурень, — поморщилась женщина, — я ведь на работе.

Но мальчик уже выбежал на перрон. Он с трудом нашел двери медпункта. На клеенчатой скамье кто-то лежал, вытянувшись, и мальчик глотнул несколько раз тяжело и, подойдя, увидел руку с синими ногтями. Только тогда он заметил, что это незнакомый старик. Лицо его было покрыто носовым платком, и две женщины сидели рядом, согрившись. Одна, помоложе, плакала, а другая, постарше, молчала. Мальчик быстро отступил назад.

— А где моя мама? — спросил он и огляделся. Из боковой двери вышла медсестра в телогрейке.

— Мать твою в больницу отравили, — сказала она.

— В какую больницу? — спросил мальчик.

— У нас в городе одна больница... Сядешь на автобус, доедешь...

Тогда он вспомнил про площадь, и очередь, и дом с башенкой, и старуху в шерстяных чулках, торгующую рыбой. Он вновь побежал по другую сторону вокзала и увидел все это. Он стал в очередь за какой-то меховой курткой с меховыми пуговицами на

хлястике. Но автобуса все не было, и он побежал через площадь, оказался на узкой улице, среди старых, деревянных домов, и здесь вспомнил, что не знает, где больница.

Улица была пуста, лишь у обмерзшей льдом водопроводной колонки две девочки играли с собачкой.

— Где больница? — спросил он, но девочки посмотрели на него, рассмеялись и убежали в калитку, а собака подскочила к его лямкам и, оскалившись, залаяла. Мальчик поднял кусок льдышки и кинул в собаку. Она завизжала. Из калитки вышли женщина в ушанке и две девочки, незаметно строящие ему рожи. Женщина начала что-то кричать, мальчик так и не понял, почему и что она кричит.

— Где больница? — тихо спросил он.

Женщина перестала кричать.

— Ты идешь не в ту сторону, — сказала она, — перейди через площадь и садись на автобус.

Мальчик повернулся, пошел назад и опять увидел дом с башенкой, очередь и старуху, торгующую рыбой.

Он стал в очередь за шинелью с подколотым пустым рукавом, и автобус опять долго не появлялся. Тогда он спросил у шинели, где больница.

— Это далеко, — сказала шинель. — Видишь трубу? За трубой еще с километр. На автобусе надо ехать.

Но автобуса все не было, и мальчик пошел по направлению к трубе. Сразу же в начале улицы его обогнал автобус.

Мальчик шел очень долго и за это время успел привыкнуть к тому, что мать его в больнице, а он остался один среди незнакомых людей. Главное было теперь добраться до трубы и найти больницу. В дороге его еще несколько раз обогнал автобус. Вблизи труба оказалась громадной и ржавой, на кирпичном фундаменте. Мальчик постоял немного, отдышал, держась рукой в зареке за проволоку, идущую от трубы к земле. Проволока была скользкая и холодная. Потом он пошел дальше, и какой-то прохожий показал ему больницу. Мальчик поднялся по ступенькам, вошел в коридор и наткнулся на женщину в марлевой косынке.

— Ты куда, — сказала женщина и растопырила руки, — ты куда в пальто?.. Ты чего?..

Мальчик нырнул у нее под руками, толкнул стелюшную дверь и сразу увидел мать. Она лежала на кровати посреди палаты.

— Вот, — сказал он, — вот, вот...

— Что «вот»? — спросила женщина. — Чего «вот»? Но мальчик держался за ручку двери и повторял:

— Вот, ну вот же...

Мать была острижена наголо, и глаза ее, очень темные на желтом лице, смотрели на мальчика. Она была в сознании.

— Сын, — сказала она шепотом.

И тогда мальчик заплакал.

— Ну, тише, — сказала женщина в косынке, — давай сюда пальто и подойди к матери.

— Я тебя искал, — сказал мальчик, продолжая плакать.

— Мне уже легче, — сказала мать. — Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, — сказал мальчик. — А ты скоро выздоровеешь?

— Скоро, — сказала мать. — Поешь кашу. Сестра, дайте ему ложку.

— Это не положено, — сказала сестра.

— Возьми маленькую ложечку, — сказала мать, — и садись на табурет.

— Это не положено, — повторила сестра, — я вынуждена буду удалить мальчика.

— Кушай, кушай, сын,— сказала мать,— не бойся.
— Я повешу твоё пальто в коридоре,— сердито сказала сестра и вышла из палаты.
— Надо дать телеграмму деду,— сказал мальчик,— деньги у меня есть... А вещи я оставил на вокзале... Главное, чтоб ты выздоровела.
— Я выздоровею,— сказала мать.— Как ты поху-
дел...
— Приедем, я поправлюсь,— сказал мальчик.—
Война скоро кончится.
Появились сестра.
— Мальчик, выйди из палаты. Сейчас начнется
обход...
— Я дам телеграмму и вернусь,— сказал маль-
чик,— я сразу вернусь к тебе.
— Наклонись,— сказала мать.
Мальчик наклонился, и она поцеловала его в ще-
ку. Губы у нее были шершавые и горячие.
Он вышел на улицу, и автобус подошел очень
быстро, остановка была прямо против больницы.
«Все в порядке»,— подумал мальчик,— теперь луч-
ше, чем полчаса назад, когда я шел и ничего не
знал».
В автобусе было жарко, и мальчик снял варежки
и растегнул крючок воротника. Тогда стало холо-
дно, и он снова застегнул крючок, а руки сунул в
карманы.
Он сошел на площади, где по-прежнему стояла
старуха, торгующая рыбой, и вдруг почувствовал голо-
д, купил коричневую печеную рыбу и понохал
ее— она пахла чем-то незнакомым,— и, идя че-
рез площадь к дому с башенкой, где была почта, си-
лится вспомнить, как подошел к старухе, о чем говорил
и сколько заплатил за рыбу.
Он потянул к себе тяжелые двери почты, и за ни-
ми была короткая ленточка винтом к другим дверям.
А за теми дверями комната, перегороденная дере-
вянной стойкой.
Почтовые окошки заслонили чужие спины; куда бы
мальчик ни подходил, он всколыхивался на спины.
— Ты чего?— спросил какой-то мужчина.— Чего
ты здесь путаешься?
— Мне телеграмму дать,— сказал мальчик и,
вспомнив, что никогда в жизни не давал телеграмм,
добавил: — Вы мне напишите телеграмму.
— Подожди,— сказал мужчина,— сядь, не путайся
под ногами.
Мальчик присел на стул и отщипнул кусочек ры-
бы. Под коричневой кожей она была очень белая
и не соленая. Потом он посмотрел в окно и почув-
ствовал беспокойство: начинало уже темнеть.
— Тетя,— сказал он женщине в платке,— напиши-
те мне телеграмму.
— Какой нетерпеливый!— сказал мужчина.— Ну
чего тебе? Какую телеграмму?— И взял телеграф-
ный бланк.
— Мама заболела, лежит в больнице,— продикто-
вал мальчик,— дед, приезжай.
Мужчина и женщина посмотрели на мальчика.
— Ох, народ мучается,— вздохнула женщина,—
ох, страдает народ...
Мальчик заплатил за телеграмму, спрятал квитан-
цию в варежку, и ему стало спокойней. Он вышел на
площадь и побежал к подымавшему автобусу. По-
среда площади он вспомнил, что забыл рыбу на
почте, но не стал возвращаться, побежал дальше.
Почка он бежал, что-то мокрое и холодное несколько
раз прикасалось из темноты к его лицу, а когда
автобус остановился у больницы, вдоль дороги
были уже белые полосы и мимо фонарей летел снег.
Мальчик быстро поднялся по заснеженным ступе-

пенькам, пошел в знакомый коридор, а оттуда в
слабо освещенную палату.

— Мама,— сказал он,— я дал телеграмму деду...
— Тише,— появилась откуда-то сердитая медсест-
ра со шприцем в руках,— мать твоя спит, не ви-
дишь?..
Мать лежала на боку, рот ее был полуоткрыт, и
мальчику вдруг показалось, что она не дышит.
— Она жива!— тихо спросил он сестру.
— Живая, живая,— ответила сестра,— ей спать
надо... А тебя куда девать? Ночевать у тебя есть где?
— Я здесь посижу,— сказал мальчик.
— Здесь не положено,— сказала сестра.— Опять
прямо в пальто в палату!— И взяла его за воротник
пальто.
Тогда мальчик дернулся и вырвался, но сестра
переложив шприц из правой руки в левую и снова,
уже крепче, взяла его за воротник.
— Я милиционера позову,— сказала она.
Потом кто-то взял мальчика за руку и повернул к
себе.
И мальчик увидел халат весь в желтых пятнах, пе-
ред самыми глазами мальчика было пятно, похожее
на жук, а чуть левее, у костяных пуговиц, пятно,
похожее на черепашку с длинной шеей.
— Это сын твой, с шизоном,— сказала сестра халату.
— Ну-ка, растегни пальто,— сказал халат и при-
ложил ко лбу мальчика твердую ладонь, при этом
жук дернулся, пополз, а черепашка зашевелила шей-
ю.
Мальчик хотел вырваться, но сестра крепко держа-
ла его за руки.
— Ну-ка,— повторил халат и взял мальчика за
кисть своей правой рукой. Вторая рука была мягкая,
с коротко остриженными ногтями и темными волоси-
ками на пальцах, и мальчик немного успокоился.
— Раздевайся,— сказал халат.
— Мне можно остаться?— спросил мальчик.
— Да... Мы вас вместе вылечим и поедете дальше.
— А разве я тоже больной?— спросил мальчик.
— Да,— нетерпеливо ответил халат: его звали в
другую палату.— Сестра, положи его на эту кой-
ку.— Он показал на свободную койку в другом кон-
це палаты и ушел...
— Пойдем,— позвала сестра и вышла в коридор.
Она привела его в каморку без окон и щелкнула
выключателем, но в каморке по-прежнему было
темно, видно, перегорела лампочка. Тогда сестра
зажгла свечу, и при свете этой свечи мальчика по-
чему-то стало знобить.
Он разделся, сбрасывая все на пол, а сестра, вор-
ча, подбирая одежду и застегивала ее в мешок.
Потом он натянул штанину серых, больничных каль-
сонов и лег отдохнуть.
Сестра подняла его, натянула вторую штанину,
одела рубашу и повела в палату, держа за плечи.
Ткнувшись о постель, мальчик прижался головой к
подушке, но сестра снова растормошила его и дала
половинку какой-то таблетки.
— Глотай,— сказала сестра,— набери слюны в рот
и глотай.
Во рту у мальчика было сухо, и горькая таблетка
растаяла на языке...
— Дайте пить,— сказал мальчик.— А кушать когда
у вас дадут?
— Вот ты зачем сюда пришел,— сердито сказала
сестра.— Ужин уже кончился...
Она ушла в глубины палаты и принесла стакан хо-
лодного чая и несколько галет.
— Бер... Мать не ела...
Мальчик выпил чай, съел галеты и лег. Между ним
и матерью было три койки, и, чтоб видеть мать, он



должен был опираться на локти, потому что ее сползала голова то ли старика, то ли старухи с острым носом и острым подбородком.

Мать лежала теперь навзничь, одеяло на ее груди часто приподнималось и опускалось.

Мальчик ненадолго заснул, и ему ничего не снилось, а когда проснулся, по-прежнему была ночь и мать по-прежнему лежала навзничь. Он поднялся на локтях, потом сел, чувствуя дрожь во всем теле, подошел босиком по холодному полу к ее кровати и долго стоял так и ждал, пока мать пошевелится. И она пошевелилась, подняла колени и вздохнула глубоко и спокойно.

Тогда он вернулся к себе на койку и, глядя в темноту под потолком, подумал, как они приедут домой, в свой город, и будут вспоминать все это. Старик рядом начал ворочаться и стонать, и, чтобы стоны эти не мешали думать, мальчик укрылся с головой одеялом. За ночь он еще несколько раз вставал, подходил к матери и ждал, пока она пошевелится. А потом ложился и то засыпал, то просыпался. Когда он проснулся в последний раз, потолок уже был серый и в окна виден был падающий снег. И он обрадовался, потому что ночь кончилась. Он оперся на локти, посмотрел на мать и опять обрадовался, потому что она шевелилась, даже приподнималась и что-то говорила.

Мальчик улыбнулся, и ему захотелось рассказать матери про телеграмму и про то, как он ночью боялся, когда она лежала неподвижно.

Но вдруг старик рядом крикнул:

— Сестра, женщина умирает!

Мальчик встал с койки и увидел, что мать хрипит и шею ее выгибает, а голова глубоко погружена в подушку.

Подошла сестра, взяла мать пальцами за подбородок, а потом привычным движением натянула одеяло ей на лицо. Одеяло приподнялось, и мальчик на мгновение увидел желтую ногу и голый живот.

Он смотрел на неподвижный теперь бугор, укрытый одеялом, и странное безразличие, какое-то странное спокойствие овладело им. Он подумал: «Вот и все» — и пошел из палаты в коридор.

Его догнала сестра.

— Ты ложись, — сказала она, — ты больной.

— Где моя одежда? — спросил мальчик. — Я должен сейчас ехать дальше.

Сестра что-то говорила ему, но он не слышал, что она говорит.

В коридоре были какие-то женщины с сумками, наверно, просто прохожие; как они туда попали, неизвестно. Они смотрели на мальчика, и кто-то спросил:

— В чем дело?

И кто-то сказал:

— Вот у мальчика мать умерла.

И кто-то приложил платок к глазам.

А мальчик сидел на деревянной скамье в коридоре, дрожа от холода, и не смотрел на всех этих людей. Он вдруг подумал, что когда он приедет в свой город, мать встретит его на вокзале.

Он был уже не маленький и понимал, что мать его умерла, и все-таки он так подумал.

— Я хочу уехать домой, — сказал он доктору.

— Ты не глупи, — сказал доктор, — вылечишься, поедешь.

— Я уже здоров, — сказал мальчик. — Где моя одежда?

В это время с улицы кого-то внесли на носилках.

Сзади шел здоровенный мужчина и громко плакал, сморкаясь.

Доктор махнул рукой и ушел следом за носилками.

А сестра сказала мальчику:

— Жди здесь. — И тоже ушла.

Она вернулась минут через двадцать и повела мальчика в кладовую.

Она вынула из мешка его мягкую одежду, и он начал одеваться. Потом она вынула из другого мешка пальто, пуховый берет и туфли матери и скатала все это в узел. Она долго писала что-то на бумажке с лиловой печатью и спрашивала мальчика его имя и куда он едет.

— А в платье мы ее похороним, — сказала она. — Распишись за вещи и деньги пересчитай.

Он не стал пересчитывать, расписался и пошел к дверям. Сестра оклинула его и сунула в карман бумажку с лиловой печатью.

Ночью навалило снегу, труба теперь стояла не на кирпичном фундаменте, а на громадном сугробе. Мальчик прошел мимо и вспомнил, как вчера отдышал здесь и держался рукой за проволоку. Потом он заметил, что идет по снегу, рядом с протоптанной тропинкой, и, наверно, поэтому так устал. Спина и шея у него были мокрыми от пота, а правая рука, которой он прижимал к себе узел, совсем оковенела.

Он вышел на площадь у вокзала; она была совсем незнакомой, тихой и белой. Дом с башенкой был другой, низенький, и очередь другая, и старуха больше не торговала рыбой.

Он вошел в вокзал, и его начали толкать со всех сторон. Людей было много, и они все лезли к кассам; мальчик сразу понял, что ему ни за что не пробиться к кассам. В толпе его прижали лицом к какому-то кожаному пальто, и пока их мотало вместе, мальчик успел привыкнуть к этому желтому пальто, а запах кожи он всегда любил.

— Дядя, — сказал он, когда их вытолкнули на свободное место, — закомпостируйте мне билет.

Дядя ничего не ответил, лишь мельком взглянул на мальчика, морщась, потирая ушибленный об угол локоть.

— Я улачу, — сказал мальчик.

— Солли утри, богач, — сказал дядя.

Он опять кинулся в толпу, а мальчик вспомнил, что вещи остались у женщины в железнодорожной шинели, и пошел ее искать.

Он долго ходил по перрону, замерз и пошел греться в зал ожидания. Все скамьи были заняты, он сел на подоконник и увидел дядю в кожаном пальто. Тот возился у громадного чемодана, прижимал его коленом и затягивал ремень, а рядом, на скамейке, спала женщина в точно таком же кожаном пальто и толстачок, удивительно похожий на дядю; мальчик сразу обозвал его про себя «маленький дядя».

Дядя, наверно, почувствовал, что на него смотрят, и обернулся.

— Вот я тебе! — сказал он. — Чего надо?

— Я тоже жду поезда, — сказал мальчик и показал билет. Вместе с билетом мальчик вытащил еще несколько бумажек, и две из них упали на пол.

Одну подобрал мальчик, другую дядя.

— Что за филькина грамота? — спросил дядя, близоруко щурясь.

— Это справка из больницы, — сказал мальчик.

Дядя надел очки, прочитал и сразу заторопился.

— Ну-ка, пойдем, — сказал дядя, толкнул спящую женщину и положил около нее узелок мальчика, а самого мальчика взял за плечо.

Он провел его через зал ожидания в коридор, где



у — двери толпились много людей, но дядя показал справку, и их пропустили. В комнате за дверью было тоже много людей, и какой-то сидевший за столом железнодорожник начал кричать, но дядя показал справку, и железнодорожник перестал кричать.

— А где хлопцев? — спросил он, и дядя быстро вытащил мальчиков из-за чьих-то спин.

— Это вас вчера сняли с эшелона? — спросил железнодорожник.

— Нас, — ответил мальчик.

— Зайдешь в камеру хранения, заберешь вещи. — И что-то написал на бумажке.

— Земляки, — сказал дядя. — Довезу, как родного сына.

— Ладно, — сказал железнодорожник и что-то написал на другой бумажке.

— Только у меня семья, — сказал дядя, прочитав бумажку, — жена и сын... Будет два сына.

— Ладно, — сказал железнодорожник и переписал цифру в бумажке.

— Пошли, пошли, дружок, — сказал дядя и обнял мальчика за плечи.

Он повел его на перрон, в камеру хранения, и мальчик получил вещи: два узла и два чемодана.

Один узел и чемодан взял дядя, а другой узел и чемодан взял мальчик, и они пошли в зал ожидания.

Здесь он усадил мальчика на скамью, пошептался с женщиной в кожаном пальто и ушел.

Женщина была с кудрявыми волосами, низенькая и толстая. Она покачала на колени «маленького дядю», запустила ему руку за воротник, похлопала по шейке и сказала:

— Вот видишь, мальчик не слушался маму, и она умерла. Если ты не будешь слушаться, я тоже умру.

— А как она умерла? — спросил «маленький дядя».

— Закрыла глазки — и все, — сказала кудрявая женщина.

— Как дядя Вася? — спросил «маленький дядя».

— Нет, дядю Васю убили на фронте, — сказала женщина.

— А их можно оживить? — спросил «маленький дядя».

— Конечно, нет, глупенький, — сказала кудрявая женщина.

— А если б можно было, — сказал «маленький дядя», — я б лучше оживил нашего дядю Васю, чем его маму...

— Ой, ты мой глупыш, — засмеялась кудрявая женщина и начала снова похлопывать «маленького дядю» по шейке, — ой, ты мой глупыш, ой, ты мой глупыш, ой, ты мой глупыш!... Она посмотрела на мальчика, отодвинулась подальше, отодвинула вещи и спросила: — Мать твою умерла от сильного тифа?

— Нет, — ответил мальчик; он сидел и думал, как придет в свой город и встретит мать, которая, оказавшись, осталась в городе, в партизанах. А в эвакуации он был с другой женщиной, и это другая женщина умерла в больнице. Ему было приятно так думать, и он думал все время об одном и том же, но каждый раз все с большими подробностями.

— Ты чего улыбаешься? — сказала кудрявая женщина. — Мать умерла, а ты улыбаешься... Стыдно...

Потом появился дядя и рядом с ним какой-то инвалид. Инвалид был в морском бушлате и черной морской ушанке. Вместо руки у него был пустой, плоский рукав, а вместо ноги постучивал протез.

Дядя что-то говорил и улыбался, и инвалид тоже говорил что-то дяде, а потом вдруг сунул ему прямо в нос громадную дулю.

Дядя отстранился и опять что-то заговорил, дру-

желюбно покачивая головой, и тогда инвалид плюнул ему в лицо.

Кудрявая женщина закричала и побежала к дяде, а дядя торопливо утерся ладонью и снова почему-то улыбнулся. Подошел патрульный солдат и потащил куда-то инвалида за единственную руку.

— Пристал, пьяная сволочь! — сказал дядя, переставя улыбаться. — Я иду, а он пристал. Не трогую аёды его, иду, а он пристал!... У дяди было злое, расстроенное лицо, и он прикрикнул на мальчика: — Чего сидишь, собирайся!... Билеты я законпостирова!..

Мальчик быстро вскочил со скамейки и взял в одну руку узел, а в другую чемодан.

Дядя вытаскил из кармана веревку, связал два узла вместе и повесил их мальчику на плечо.

— А чемоданы бери в руки, — сказал дядя.

Началась посадка, и мальчик сразу отстал от дяди, и его затоптали в самый конец громадной толпы, откуда виден был лишь верх зеленых вагонов. Мальчик попробовал протиснуться ближе, и это ему удалось, он уже начал различать окна и лица в окнах и потом увидел в окне дядю. Тогда он начал лезть вперед изо всех сил и почувствовал, что веревка, связывающая узлы, лопнула. Передний узел он успел подхватить зубами, а задний узел упал, и мальчик наступил на него ногой. Но тут мальчике сильно толкнули в спину, и он оказался у самого вагона.

Дядя в вагоне заметил его, исчез из окна и появился на ступеньках.

— Сюда давай! — крикнул дядя, протянул руку и взял узел у мальчика из зубов, а второй рукой атащил его вместе с чемоданами на ступеньки. — Вот и в порядке, — сказал дядя и повел его по зароможенному проходу.

— А теперь наверх, — сказал дядя и подсадил мальчика на верхнюю полку, — узел под голову и спи спокойно.

Кудрявая женщина сидела внизу на одной скамейке, «маленький дядя» — на другой, а сам дядя стоял и говорил людям с чемоданами:

— Проходите, вперед свободно... Проходите, тут едут три семьи, тут занято...

Потом вагон дернуло, и мальчик понял, что они поехали.

Он увидел заснеженный перрон, забор и за забором площадь и очередь и увидел старуху, торгующую рыбой; она шла через площадь в валенках и с плетеной кошелкой. В конце площади был дом с башенкой, где была лестница винтом. А если пойти влево, то можно дойти до трубы, а оттуда до больницы.

И вдруг что-то повернулось и защемило в груди, и мальчик удивился, потому что еще никогда так не щемило.

В окне уже было поле, все время одинаковое, белое, и одинаковые столбы, которые, казалось, за провода протягивают друг друга мимо окна, и пока мальчик смотрел на провода, щемить стало слабее. Мальчик лежал, свернувшись клубком, потому что в ногах стояли дядины большие чемоданы, и старался не смотреть вниз, где кто-то ходил, позавкивала посуда и мелькали какие-то головы. Он был здесь один, на полке, и полка пошатывалась и везла его домой.

Мальчик заснул, и ему что-то снилось, но когда он проснулся, то посмотрел в холодное окно, забыл сон и вспомнил, что мама умерла.

У него начало давить в горле и болеть спереди, над бровями, и он всхлинул и потом начал всхлипывать.

вать громче и чаще и сам удивился, почему это он не может остановиться, а все всхлипывает и всхлипывает.

Рядом с его лицом над краем полки появилась чья-то голова, и мальчик узнал вчерашнего дядю.

— Ты чего? — сказал дядя. — Так не годится, ты ведь большой мальчик...

Дядя исчез и появился снова с куском пирога. Пирог был помазан кисленьким сливовым повидлом, а на повидле лежали тоненькие хрустящие колбаски из теста.

Мальчик сначала откусывал колбаски и сосал их, как конфеты, потом вылизал повидло, а потом съел все остальное.

«Хороший дядя», — подумал мальчик и посмотрел вниз.

Было утро. «Маленький дядя» спал на громадной красной подушке, а кудрявая женщина и дядя о чем-то шепотом говорили.

Мальчик слез с полки, и кудрявая женщина мельком посмотрела на него, а дядя сказал:

— Сходи, займи очередь в туалет.

Мальчик пошел узким проходом, стукаясь о полки и углы чемоданов, и стал в очередь за каким-то стариком. Старик был в очень рваном пальто, но в красивом пенсне с толстыми стеклами и с кусочком седой, чистенькой бородки под нижней губой.

Впереди начался скандал, какая-то женщина хотела прорваться без очереди.

— У меня расстройство! — кричала она.

— Наплевать на твое расстройство, — отвечал ей мужской голос, — я сам с семи утра дежурю!

— Нравы, — сказал старик в пенсне и криво усмехнулся, клочок бородки пополз влево, — нравы третьего года войны... — Он посмотрел на мальчика и, наверно, потому, что было скучно, спросил: — С матерью едешь?

— Нет, — ответил мальчик, — мама у меня в партизанском отряде. — Он сказал это неожиданно для себя и сразу пожалел, но было уже поздно.

— Вот как, — заинтересовался старик, — а ты как же?

— А я так, — сказал мальчик, чувствуя радостно заколотившееся сердце, — я с дядей, — сказал мальчик и вдруг увидел, что по коридору идет дядина кудрявая жена.

Он покраснел и торопливо отвернулся от старика, собиравшегося задать новый вопрос.

— Ты за кем? — спросила кудрявая женщина. — Понятно, а за тобой кто?

За мальчиком стояла толстая женщина, вернее, когда-то она была толстой, теперь кожа на ней висела, как пустой мешок.

— Это не выйдет, — сказала она, — он, может, еще полвагона вперед пропустит.

— Вы не волнуйтесь, — сказала кудрявая женщина, — мальчик уйдет, я вместо мальчика.

Но толстая женщина, видно, была сильно обозлена, что ее не пустили без очереди. Она перегородила коридор рукой и сказала:

— Неплохая замена. Мальчику туда на пять минут, а тебе на два часа...

— Как вам не стыдно, — сказал старик, — война, люди жертвуют собой... Мать этого мальчика, например, в партизанском отряде...

— Какого? — спросила кудрявая женщина. — Этого? Да что же ты врешь, — сказала она мальчику, — твоя ж мать умерла позавчера в больнице...

Мальчику стало очень жарко, и сильно зашумело в ушах.

— Горь своего стыдится, — сказала толстая женщина.



Мальчик быстро пошел назад и полез на полку. У него опять начало давить в горле и болеть над бровями, и, чтоб не всхлипывать, он крепко закрыл глаза и крепко стиснул зубы. Он лежал так долго, и полка скрипела, и снизу гудело, и над головой что-то постукивало. Потом сразу все стихло, мальчик открыл глаза и увидел в окно перрон, по которому бежало много людей. Дядя в купе не было, а кудрявая женщина кормила «маленького дядю» с ложечки гущенным молоком. Мальчик подумал, что это сладкое, гущенное молоко можно кушать и кушать, целый день можно кушать, если не набирать его на ложечку, а макать ложечку и облизывать.

Кудрявая женщина посмотрела на мальчика, и мальчик вдруг стало страшно: без дяди она высадит его на перрон, и он опять останется один.

— Деньги у тебя есть? — спросила кудрявая женщина.

— Есть, — торопливо ответил мальчик, полез в карман и вытащил деньги.

Кудрявая женщина взяла деньги, пересчитала и сказала:

— О чем люди думают, когда пускаются в такую дорогу? О чем твоя мать думала... Тут ведь на тебя одного не хватит.

— У нас еще была кошелка с урюком и лепешками, — сказал мальчик, — но она потерялась. И еще есть отрез, — сказал мальчик, — его можно продать.

Он хотел вскрыть грязный, сплюснутый узел, но мать зашила его крепкими, суровыми нитками, и мальчик поцарапал палец. Он посмотрел на задрывшуюся кожу, на набухающую капелью крови и всхлипнул.

— Ты чего там? — спросила кудрявая женщина.

— Я порезал палец, — ответил мальчик.

— Решешь, — сказала кудрявая женщина, — не стыдно, такой большой бугай!

— Я не реву, — сказал мальчик, — а когда дядя придет, я расскажу ему, как вы на меня говорите. Тогда кудрявая женщина начала смеяться и сказала:

— Ты лучше застегни ширинку, герой...

В это время поезд дернул, и кудрявая женщина начала кричать:

— Ой, он отстал, он отстал!

А «маленький дядя» заплакал. Мальчику стало жалко «маленького дядю», и он сказал:

— Ты не плачь, папа догонит поезд на самолете...

Тогда женщина крикнула:

— Ты, дурак, молчи... Приблудился на нашу шею. — И начала ломать руки.

Но тут появился дядя с полной кошелкой, которую он прижимал к груди, и кудрявая женщина сразу начала ругать дядю, а он молча выкладывал из кошелки на столлик хлеб, дымящиеся картофельники, огурцы и большую жирную селедку.

Мальчик повернулся лицом к стенке и закрыл глаза, но все равно не забыл жирную селедку с картошкой и огурцами. Он ел бы все это отдельно, чтоб было больше. Сначала огурцы, откусывая маленькими кусочками, потом селедку с хлебом, а на закуску картошку. Он даже пошевельнул губами, повернулся лицом навстречу вкусному запаху и вдруг увидел прямо перед собой большую теплую картошку и половинку огурца и хлебную горбушку с довеском мякоти.

— Кушай, мальчик, — сказал дядя, — обедай...

Мальчик съел картошку вместе с кожичей, под кожичей она была мягкая и желтая, как масло. Огурец он сначала обкусал со всех сторон, а серединку оставил на закуску. Потом осторожно глянул вниз, не смотрит ли кто, и обрывком жирной газеты, на ко-

торой дядя подал ему еду, натер горбушку и мякоть. Получился хлеб с селедкой, и мальчик ел его медленно, маленькими кусочками.

После еды мальчику стало тепло, весело, и захотелось сделать для дяди что-нибудь хорошее.

Он вспорол зубами крепкие нитки на узле, вытащил пахнущий нафталином коричневый отрез и сказал:

— Дядя, пошейте себе костюм.

Дядя удивленно поднял брови, но кудрявая женщина быстро вскочила и протянула руку.

— Это не вам, это дяде, — сказал мальчик и отдал дяде отрез.

К полке подошел старик в пенсне, теперь он был не в рваном пальто, а в короткой женской кофте.

— В такое трагичное время, — сказал он, — трудно быть взрослым человеком... Трудно быть вообще человеком...

«Маленький дядя» посмотрел на старика и заплакал, а кудрявая женщина сказала:

— Проходите, дедушка, вы испугали ребенка.

Но старик продолжал стоять, покачиваясь, часто моргая красными веками, и тогда дядя вскочил, взял его за воротник кофты и толкнул в глубину прохода.

Мальчик рассмеялся, потому что старик смешило взмахом руками, а пенсне его слетело и повисло на шнурочке, и подумал: «Хороший дядя, прогнал старика».

Поезд шел и шел, полка скрипела, снизу гудело, сверху постукивало, и вскоре мальчик увидел за окном среди снега черные, обгорелые дома. И танк с опущенным стволом. И грузовик сверху колесами. И еще один танк, и еще один грузовик...

Поезд шел очень быстро, и все это летело назад, мальчик ничего не мог разглядеть как следует. Поэтому что-то опять подошел и остановился у полки, и мальчику стало страшно, потому что он узнал инвалида с плоским руком.

Инвалид держал об руку военного в шинели без погон, ушанке и с гармошкой на плече. Лицо военного было в темно-зеленых пятнышках, а на глазах черные очки.

И дяде тоже стало страшно, мальчик увидел, как дядя поперхнулся селедочным хвостом, — хвост теперь торчал у дяди из рта.

Дядя кашлял, а инвалид с военным молча стояли и смотрели.

Наконец дядя засунул пальцы в рот, вытащил селедочный хвост и сказал инвалиду:

— Здравствуйте, — как будто инвалид никогда не давал дяде дули и никогда не плевал ему в лицо.

— Здравствуйте, — вежливо ответил инвалид, — мы где-то с вами виделись.

— Конечно, конечно, — сказал дядя, — может, вы перекурили хотите, так присаживайтесь.

— Спасибо, — ответил инвалид, — у нас свое есть. — И выложил на столлик алюминиевую флягу и завернутый в газету пакет.

— Кисонька, — сказал дядя кудрявой женщине, — погуляй с ребенком, пока люди пообедают.

Кудрявая женщина сердито посмотрела на дядю, взяла на руки «маленького дядю» и вышла в коридор, а дядя торопливо порылся в корзине и выставил на столлик два покрытых никелем железных стаканчика.

Инвалид отвинтил крышку фляги и налил в стаканчики, а военный начал шариить пальцами по столлику, натягивая то на флягу, то на пакет, пока не опрокинул один стаканчик.

— Эх, — сказал инвалид, — ведь чистый спирт. — Он снова налил и вложил стаканчик военному в руку.



Дядя быстро достал тряпку и начал вытирать лужицу на столике.

— Зачем? — поморщившись, сказал инвалид.

— Как же, как же, — сказал дядя, — вот товарищ слепой рукав намочит.

Инвалид и военный выпили, крикнули, и инвалид начал разворачивать одной рукой пакет. В пакете был точно такой пирог, какой ел мальчик утром. Только не кусочек, а громадный кусок, мальчику его б хватило на целый день, а может, и на два дня.

— Закуска дрянь, — сказал инвалид, — по коммерческим ценам давали...

Он вынул из кармана тяжелый позолоченный портсигар и раскрыл его. Портсигар был плотно набит кислой капустой. Инвалид взял щепотку капусты, затем схватил руку военного и тоже сунул ее в портсигар. Они выпили и сразу же, не переводя дыхания налили и выпили опять.

В это время поезд заступал по мосту, и инвалид сказал военному:

— Вот она, Волга!

Они выпили снова, и лицо военного стало красным, а щеки инвалида, наоборот, побелели. Головы их молчали низко над столиком, а за головами в окне до самого горизонта стояли припорошенные снегом танки, машины и просто непонятные, бесформенные куски.

— Кладбище, — сказал инвалид, — наломали желе-
за.

Они выпили, и инвалид сказал:

— Давай фронтую...

Пальцы у военного часто срывались, он бросал мелодию на середине и начинал сначала.

Вскоре у купе собралось много людей. Толстая женщина сказала:

— Браток, а может, ты «Васильки-василечки» сы-
граешь?

Но военный продолжал играть одну и ту же мелодию, обрывая ее на середине и начиная сначала.

Голову он повернул к окну, и очки его смотрели на заснеженное железное кладбище, где летали вороны, очень черные над белым снегом.

Локоть шинели у военного был вымазан повидлом от пирога, и инвалид взял пирог, встал, пошатываясь, и сказал мальчику:

— Кушай, пацан.

Мальчик увидел перед собой плохо выбритое лицо, дышавшее сквозь желтые зубы горячим, остро и неприятно пахнущим воздухом, и отодвинулся подальше, в самый угол.

— Если мальчик не хочет, — сказал старик в пен-
сне, — я могу взять.

— Нет, — сказал инвалид, — пусть пацан съест. — И положил пирог возле мальчика.

Поезд начал стучать реже, зашипел, дернул и остано-
вился у какого-то обгорелого дома.

— Твоя, — сказал инвалид военному.

Тот поднялся, и они вместе пошли по проходу.

— Унесло? — спросила кудрявая женщина, загля-
дывая в купе. — Насквнячили, алкоголики!

— Тише, — сказал дядя, — он еще вернется...

Поезд вновь двинулся, на этот раз без толчка, и пока он медленно набирал скорость, мимо окна пол-
зли заснеженные развалены и снежная дорога, по
которой среди развалин шли люди.

Поезд грохотал уже на полной скорости, когда ин-
валид вернулся в купе и сел над недопитым стака-
ном, опершись головой на руку.

Он сидел так долго и молчал, а дядя сидел и мол-
чал, на самом краешке скамейки, а кудрявая женщи-
на каждый раз заглядывала в купе и уходила опять.

Наконец дядя очень тихо и очень вежливо спро-
сил:

— Вы, может, спать хотите? Может, вас прово-
дить?

Но инвалид продолжал сидеть и потряхивать голо-
вой над недопитым стаканом.

Тогда дядя подошел, осторожно потрогал инвалида
за плечо, и тот сказал усталым голосом, не подни-
мая головы:

— Уйди, тыловая гнида...

Тут появилась кудрявая женщина и закричала:

— Вы не имейте права!.. У нас был такой случай:
инвалид обругал мужчину, а мужчина оказался ра-
ботник органов, и инвалида посадили.

— Гражданин, — сказал дядя уже поостроже, —
освободите место. Здесь едет моя жена и ребен-
ок.

Инвалид медленно поднялся, посмотрел на дядю и
вдруг схватил, сжал пальцами дядин нос.

— Баракло назад отдай пацану, — сказал инва-
лид, — отдай, что взял...

Дядин нос сначала позеленел, потом побелел, и
на дядин полувоенный френч потекла тоненькая крас-
ная струйка, через весь френч, на галфе и дальше
по сапогу.

Кудрявая женщина громко закричала, а «малень-
кий дядя» заплакал, и мальчик, хоть ему было страш-
но, тоже крикнул:

— Не трогайте дядю, пустите дядю...

В это время кудрявая женщина наклонилась к че-
модану и бросила подаренный дяде отрез прямо
мальчику в лицо, а проводник и толстая женщина
оторвали инвалида от дяди, и дядя сразу куда-то
убежал.

Инвалид устало оперся рукой о полку, облизал губы
и спросил проводника:

— У тебя, папаша, галлюн открыт?.. Мутит меня...

— Нужно оно тебе, — покачал устатым лицом про-
водник и повел инвалида, придерживая его за спину
рукой.

Появился дядя и начал хватать свои чемоданы. Он
сказал кудрявой женщине:

— Собирайся, я договорился в третьем вагоне.

— Дядя, — крикнул мальчик, — подождите!

Но дядя даже не посмотрел в его сторону: он
очень торопился.

У мальчика опять начало давить в горле, однако он
не сжимал глаза и зубы, чтобы не заплакать, потому
что ему хотелось плакать, и слезы текли у него по
щекам, по подбородку, и воротник свитера и паль-
цы — все стало мокрым от слез.

— Он уме в действительности дядя? — спросила
толстая женщина.

— Не знаю, — ответил старик в пенсне, — ехали они
вместе.

Появился инвалид: лицо, шея и волосы его были
мокрыми, и он каждый раз отфыркивался, точно все
еще находился под краном.

— Гражданин, — сказал он, — отцы и матери, надо
доставить пацана... Меня пацан, гражданин, боится...
Инвалид зубами растянул ремешок часов и поло-
жил их на столик. — Довезешь, проводник, папаша?

Денег нет... Пропился я, папаша... Он вытаскил из
кармана портсигар, вытряхнул прямо на пол остатки
капусты и положил портсигар на столик, рядом с ча-
сами. — Вещь... Целый литр давали... Потом вытаскил
из кармана зажималку, складной нож, фонарик, по-
том подумал, растянул бушлат и принялась распо-
тывать теплый, ворсистый шарф.

— Шерсть, — сказал он.

— Да ты что, — сказал проводник и придвинул все

лежавшее на столике назад к инвалиду, — ты брось мотать... Доведем, чего там...

А толстая женщина взяла портсигар и сказала:

— Он его все равно проплетет... Лучше уж мальчику еды поменять, скоро станция узловая...

Инвалид посмотрел на нее, качнулся и вдруг обхватил единственной рукой за талию и поцеловал в обвисшую щеку.

— Как из винной бочки, — сказала толстая женщина и оттолкнула его, но не обозлилась, а, наоборот, улыбнулась и кокетливо поправила волосы.

Инвалид провел рукавом по глазам, обернулся и подмигнул мальчику.

— Ничего, — сказал он, — ничего, парень, не робей. — И пошел по проходу.

Мальчик увидел его сутулую спину, стриженный затылок и большие, толстые пальцы, которыми он поправил, заломил на ухо свою морскую ушанку.

В вагоне потемнело, и проводник зажег свечу в фонаре под потолком.

Мальчик лежал затылком на распотрошенном узле и смотрел, как горит свеча. Толстая женщина дала ему хлеб с белым жиром, стакан сладкого кипятку, и теперь он лежал и ни о чем не думал.

Постепенно шаги и голоса стихли, остался лишь привычный гул поезда да скрип полки. Мальчик опустил ресницы и увидел перед собой яркие розовые круги.

Он понял, что это свеча, повернулся на бок, и круги стали черными. Потом он вспомнил, что больше нет дядиных чемоданов, разогнул ноги в коленях и начал уже засыпать, когда какой-то шорох разбудил его. По купе ходил старик в пенсне. Он ходил на цыпочках, с полусогнутыми руками, и заглядывал в лица спящими. Потом он очень медленно, как слепой, вытянул руки вперед и шагнул к окну.

Голову он поворачивал рывками, то в одну, то в другую сторону, губы его шевелились. Мальчик лежал неподвижно, он видел часть спящего лица толстой женщины, раскрытый рот и видел огонек свечи в темном окне и протянутые к этому огоньку пальцы старика. Пальцы потянулись дальше, и огонек появлялся теперь в средине волос старика, то на его бороде. Вдруг пальцы быстро прикоснулись к вискам на крючке у окна сетке с хлебом и так же быстро, точно хлеб этот был раскаленный, отдернулись назад.

Толстая женщина издала губами странный, похожий на поцелуй звук и вынула руку из-под головы. Ресницы ее дрогнули.

Когда мальчик приподнял голову, старика в купе не было.

Мальчик полежал еще немного с открытыми глазами, и сердце его начало биться тише и спокойнее. Тогда он прикрыл веки и хотел повернуться к стенке, но вместо этого снова открыл один глаз.

Старик стоял у самой полки. Под седыми, редкими волосами была видна нечистая белая кожа.

Он снял кофту и был теперь в шелковой мягкой рубашке, обтрепанные манжеты вместо запонки были скреплены проволокой.

Он пошел, пригнувшись, — так ходят в кинокартинах разведчики, и это было очень смешно, — но мальчику стало не смешно, а страшно, как утром, когда он проснулся и вспомнил, что мама умерла.

Пальцы старика скользнули по корке, отщипнули маленький кусочек этой коричневой корки вместе с серой мякотью, и в этот момент он оглянулся и встретился взглядом с мальчиком. Поезд шел в темноте, чуть-чуть подсвеченной снегом; казалось, за окнами больше нет жизни, лишь изредка мимо окон проносились какие-то неясные предметы.

Толстая женщина опять спала с открытым ртом, и в глубине ее рта поблескивал металлический зуб.

Старик осторожно распрямился, покачивая головой, и переложил хлеб из ладони в задний карман брюк.

Он все время, не мигая, смотрел на мальчика, и мальчик приподнялся на локтях, отложил угол от пирога, оставленного инвалидом, и протянул старику. Старик взял и сразу проглотил. Мальчик снова отложил снизу, где не было повода, и старик так же быстро взял и проглотил. Мальчик отдал старику по кусочку всю нижнюю часть пирога, а верхнюю, с повидлом и печеными хрустящими колбасками, оставил себе.

Пришел проводник и для светомаскировки обернул фонарь темной тряпкой, — теперь только туманное пятно сжималось и разжималось на потолке. Старик стоял, морща лоб и что-то припоминая, а затем пошел вдоль вагона, мимо храпящих полок, мимо спящих, сидя и полулежа, людей, до танбура, где на узлах тоже лежали какие-то люди.

— Неужели это никогда не кончится? — тихо сказал старик и пошел назад.

Он стоял у полки мальчика и смотрел, как мальчик спит.

Мальчик спал, лежа на распотрошенном узле и положив щеку на голенища фетровых женских бот.

Рукава его свитера были закатаны, а ботинки расшнурованы.

Мальчику снился дом с башенкой, дядя, старуха, торгующая рыбой, инвалид с сильными, толстыми пальцами и еще разные лица и разные предметы, которые он тут же во сне забывал. Уже перед самым рассветом, когда выгоревшая свеча потухла и старик прикрыл ноги мальчика теплой кофтой, мальчик увидел мать, вздохнул облегченно и улыбнулся.

Ранним утром кто-то открыл дверь в танбур, холодный воздух разбудил мальчика, и он еще некоторое время лежал и улыбался...

///



Алексею Коробову 29 лет. По специальности он инженер-химик, живет и работает в Ленинграде. Печатается впервые.

АЛЕКСЕЙ КОРОБОВ

Рассказ

1



Рисунки В. Юдина.

Маяк

В прохладной синеве неба кувырчался самолет. Штопором он почти вонзался в море, карабкался вверх, чтобы оттуда сорваться вниз.

Бугров восхищенно вскрикивал:

— Во дает! Во дает! — и поглядывал на Дрозда.

Дрозд стоял рядом с рулевым, и казалось, его ничто не интересует.

— Здорово, правда, товарищ капитан? — заискивающе сказал Бугров.

Дрозд холодно взглянул на него, и Бугров обиженно замолчал.

«Старый хрен, — думал он. — Ну дал выговор. Если бы за дело... Подумавшись, не побрился. Дисциплина... А сам-то... Да я бы удавился от скуки — в пятьдесят лет за рыбкой ходить. Уж лучше удочкой. Или фикусы разводить и пыль с них стряхивать».

Самолет ринулся на сейнер. Плоскости отражали солнце. Самолет шел, как идут в атаку. Рев двигателя не наполнял уши.

«Началось», — почему-то мелькнуло в сознании Бугрова, и это слово, короткое, емкое, страшное, будто перечеркнуло всю его прошлую и короткую жизнь, ничего не оставляя на будущее, и такая тоска охватила его, что руки помимо воли залясали на штурвале.

Дрозд оттолкнул Бугрова и взялся за штурвал. Он смотрел только на самолет. Так пикировали «мессеры» на Ладоге. В этот момент они сбрасывали бомбы. И в эти секунды спасала ясная голова да крепкие руки, если, конечно, не считать и удачу...

Но когда бомба должна была вот-вот оторваться, самолет бросился на корабль. Дрозд вцепился в штурвал и расправил плечи, будто хотел принять удар на себя. Он смотрел широко раскрытыми глазами на мгновенно растущий самолет, слышал воющий звук двигателей — воющий звук смерти — и чувствовал, как холодеют спина и живот. Он резко переложил штурвал, а самолет, готовый врезаться в мостик, взмыл вверх — как будто подпрыгнул.

Самолет нехотя набирала высоту и уходил к горизонту, где была земля.

Дрозд оторвал пальцы от штурвала и увидел, что ногти стали белыми. Мускулы рук окаменели, и болевшая шея.

— Да это же наш, — с облегчением сказал Бугров.

— А чей еще? — рассвирепел Дрозд. — Это в Баренцовом-то море! Курс прежний!

— Ну и зарезал! Ну и зарезал! — монотонно повторял Бугров. — Хулиган! Да за такое в лучшем случае морду бьют!

— А в худшем?

Дрозд успокаивался — разминал папиросу.

— Сообщить командованию — и точка! Воляка!

Дрозд не ответил, и Бугров скатал:

— Очень просто — взять и сообщить. Они-то знают, кто в каком месте барражирует. — Он с удовольствием произнес это слово. — А у вас и нервозки, товарищ капитан!

Бугров не мог заставить себя замолчать.

Дрозд смял в комок наполовину выкрошенную папиросу и сказал:

— Были. Вот у того парня — сила! А жаловаться никому не буду: и нам и ему хватило. — Он провел большим пальцем по горлу.

2

«Н у, нет! Шуточки! — скрипел зубами Коптилин. — Не выйдете!

Желудок и сердце снова провалились куда-то вниз. Тощина подкатывала к горлу, и он потерял счет виткам — только солнце через равные промежутки было в глаза.

Он вырвался из штопора над самой водой и, когда набирал высоту, дрожал от напряжения, словно сам тянул самолет.

Он хотел выброситься, когда отказало управление, и был готов это сделать и получил разрешения, но сразу не сделал и теперь все откладывал, надеясь спасти машину.

— Порядок, — сказал он, но машина опять стала проваливаться, и он опять, холодея от дурноты, немнущими руками, всем телом вытескивал ее вверх.

Он увидел небольшой корабль и решил, что катапультируется сейчас, но потом подумал, что самолет может задеть корабль, и пока он думал, самолет уже шел на корабль.

Корабль нарастал, и Коптилину казалось, что он видит людей на мостике и их глаза, в которые лучше не смотреть. А самолет вдруг провалился, и он в уме надавливал рычаг катапультирования, а руки вырывали самолет в воздух, и он кричал проклятия и ругательства.

Коптилин зажмурился и, не веря себе, почувствовал, что летит и упругий воздух держит машину. Он осторожно приоткрыл глаза. Внизу застыл расплавленный алюминий. Коптилин еще немного латал, а когда машина клюнула, чтобы слиться с алюминием, с тем, что внизу, заунынным движением взялся за рычаг.

3

К азалось странным, что раньше было солнце, был воздух и он сам был наполнен необыкновенным ощущением высоты.

Сейчас была одна вода — и под ним и вокруг. Туман скрип солнца, смешал воздух с морем, и Коптилин жадно втягивал ртом и ноздрами тяжелую и влажную смесь.

Он лежал в верткой резиновой лодке, навалившись грудью на упругий борт, и греб ледяными, потому что потерял весла вместе с парашютом. Вначале греб сильно и энергично, чтобы как-нибудь согреться, и не думать, и не вспоминать о том мгновении, когда погрузился в обжигающе холодную воду, перехватило дыхание, и сердце нехотя отбивало: жив, жив, жив. Сейчас он выгребал медленно и обстоятельно, направляя лодку к берегу.

«А может, берег позади? Справа? Слева? Или где-то между «позади» и «справа»? Тогда уж лучше зава-

литься на спину и ждать. Чего? Погоды? Ждать, когда твои приятели на бреющем смогут прочесть квадрат за квадратом, а ты им спокойно поможешь ручкой: «Привет, парни! Приготовьте крабы с майонезом и побольше — это ж моя любимая закуска, — и, черт с ней, пусть хоть перцовка, а после я готов и на губу». Нет, берег впереди. Я не мог ошибиться. Тогда солнце светило в затылок. Оно и сейчас светит, только не видно. Берег перед тобой. И не вздумай метаться. Это — самое последнее дело».

Он услышал нарастающий гул самолета. Самолет пролетел над ним, и он по звуку определил: «Антоша», почтарь.

«Летит милый парень, везет почту, или продовольствие, или бабулю, которая, когда не крестится, быстро-быстро вытирает влажный носик. Летит, покупает и не знает, что под ним гибнет Гришка Коптилин!»

4

Т емнота наступила незаметно. Туман рассеялся, и низкие тучи ползли над головой, а вокруг было по-нехорошему спокойное море.

Болела грудь, ноги затекли, и он решил сделать передышку. Осторожно перевернулся на спину и спрятал холодные, негнущиеся ладони в карманы куртки. И, когда отдышал, бездействовал, тревожные мысли доминировали его, и он чувствовал, как чертовски замерз и устал. Он понимал, что не должен думать об этом.

Коптилин усмехнулся: думать — значит сомневаться. «Ерунда. Что значит не думать? Просто существовать, подчиняясь инстинктам! А что? Ничего инстинкти — хотят жить. Глупо как получается... О чем-то мечтаешь, надеешься, добиваясь или пытаешься добиться — и вот тебе раз...»

Руки отогрелись, налились теплом, только в кончиках пальцев — под ногтями — покалывали иголки. «Сейчас бы в тепло. В жаркую комнату, чувствовать рядом тепло другого человека...»

Он не хотел думать об этом. Он заставил себя улесть грудью на упругий борт, кажущийся сделанным не из резины, а из металла, и, не размышляя, как это мучительно — опускать руки в поданную воду, погнал лодку вперед.

Темнота таила опасность, и страх незаметно и вкрадчиво овладевал Коптилиным.

Он был один на один с этим мраком, хотя знал, что эфир наполнен дробью морзянки, подчеркнуто бесстрастными голосами радистов. Где-то прогреваются моторы самолетов и вертолетов, а юркие катера прощупывают море ярко-синими лучами прожекторов.

Он знал все это, но это было по ту сторону мрака. Знал, что десятки людей не спят: одни по довы сердца, другие по обязанности; волнуются: одни экстренно, другие из-за будущих неприятностей.

Но все это было на залитой светом — пусть электрическим — земле.

«Я вышел из того возраста, когда боюсь всякой чертовщины. Где эти черти? Где ангелы? Мир материален. Bravo! Изумительная подкованность. А что? Мир есть сочетание атомов и молекул. В нем нет места для предрассудков. Дайте сюда попика, и я докажу, что бога нет. В порядке атеистической пропаганды. И дайте корбасу. Сытый желудок не располагает к беспокойству. Так же, как тепло. Люди, да будет ваш путь спокоен и безмятежен! Только и

останется беспокоиться, как бы не потерять всего этого.

Не злись и не юродствуй. И не считай себя мучеником или героем.

Я сам выбрал свой путь. Пожалуйста, без громких слов. Был обычный учебный полет. Вернее, обычный военный полет. Нет. Учебный. И я готов всю жизнь летать, но чтобы они оставались учебными».

5

Он провалил экзамены в медицинский институт. Это был 1953 год, когда после десятилетки других путей, кроме института, никто себе не представлял. Его вызвали в райком комсомола, уговаривали пойти в летное училище. «Денег уйма, Чкаловым будешь, слава!» — горячился молодой полковник. Он упорно говорил: «Нет!», — но ему надоело скрываться от более удачливых приятелей и видеть тревожные лица родителей, когда после бесцельных шатаний по городу поздно возвращался домой.

Училище было за Уралом. Он гляделся в незнакомые места, и лишь названия станций напоминали, что он уже проделывал этот путь: во время эвакуации, жарким летом 1942 года.

Ему пришлось тяжело: дисциплина, строевые занятия, твердый распорядок и устав, который надо было знать и во сне. Начались полеты, сперва испуг и восхищение, потом восхищение и гордость, а потом — обычная работа. Не совсем обычная работа, потому что перед каждым новым полетом он похорошему волновался, но об этом не принято было говорить. И он уже не представлял, что можно заниматься другим, жить по-другому.

Окончив училище, побывав в Ленинграде, щегольски козырял, с удовольствием предавался хрустящее офицерское удостоверение, поил школьных товарищей зубровкой, ходил на танцы, и девушки оказывались такими милыми и такими одинаковыми, что становилось противно. На вокзале родители по очереди целовали его, а в памяти вставали шальные и безалаберные дни отпуска, и он с горечью думал, что так и не нашел ни времени, ни слов для родителей.

Он мотался по Союзу: холод и жара, леса, тундра, пустыни — походная жизнь, нераспакованные чемоданы, редкие письма друзей. Чего писать? Встретимся — поговорим.

И везде было небо — чистое, облачное, грозное, коварное, но родное небо.

Везде была работа.

Везде была жизнь.

А далеко впереди замерцал огонь, похожий на уголек, раздуваемый ветром. Первой его мыслью было: корабль. Но для корабля было слишком мало огня. И не зная, что это такое, и зная, если огонь — значит, человек, он направил лодку на свет.

Коптили быстро выдохся.

«Спокойно, спокойно. Глупо рваться, если видишь цель. И еще глупее не добраться до цели. Это как в спорте. Сколько я перевидел парней, которые перепорали еще на тренировках или сжигали, не дойдя

десяток метров до финиша. Только спокойствие и хладнокровие. И трудолюбие. Но сейчас другое. Это почти спорта. И позаннее. Хотя без спорта я бы не смог этого сделать».

Коптили вглядываясь в далекий и неясный красный глазок, и от долгого и пристального вглядывания набегали слезы. Он не мог стереть их, и тогда казалось: глазок потух и все, что он делает, бесполезно.

«Ах ты, глазок мой ненаглядный. Сволочь! Хотя бы мигнул или загнулся к чертовой матери, и все стало бы на свои места, и я был бы в счастливом неведении. Хорошенькое счастье... Ну, разгорись! Погоди, я доберусь до тебя! Я изучу твою гнусную ухмыляющуюся рожу. Я... Что я!»

Дрозд проснулся среди ночи от неясного ощущения пришедшей беды. Это было как в те далекие годы на Ладоге, когда он присыпался за мгновение до сигнала воздушной тревоги. Сейчас он продолжал лежать и, не открывая глаз, чувствовал, что в каюте посторонний и этим посторонним мог быть только радист. И он почему-то решил, что это связано с самолетом, который напугал их. И когда он подумал об этом, радист осторожно, но требовательно положил руку ему на плечо, и Дрозд сразу же сел.

Он читал радиogramму, прикусив зубами край нижней губы, терзал и мучил себя, как это после всего того, что видел, не отдал приказ хотя бы немного пройти вслед за удалившимся самолетом и даже не сообщил на берег. Только такой мальчишка, как Бугров, мог эсерски подумать, что их атакуют, а потом, успокоившись, говорить, что летчик хулиганил. И когда он, Дрозд, сказал: «И нам и ему хулиган», — большое думал о себе. Еще бы: струсить, а затем поставить в известность и начальство, что струсил. Ему стало отвратительно за те слова. Они как бы успокаивали, подавали черту. А тогда они казались чисто мужскими: отдать предпочтение другому, одновременно не умаляя и себя.

Так, с прикушенной губой, он поднялся в рубку. Он коротко отдавал приказания, их четко и быстро повторял рядом с ним и далеко внизу — в машинном отделении; так же четко и быстро исполняли. А ему казалось, что все делается очень медленно. Но палуба уже вибрировала, и глубоко зарывшая нос — корабль набирал скорость.

Включили прожектор. Луч прыгал по черным волнам. Ветер пригоршнями бросал в лицо холодные брызги. Дрозд пожегся, представив, каково летчику в такой воде, и у него сразу же заняли колени. Боль была нестерпимой, и Дрозд, как о постороннем, подумал, что в другое время он ушел бы в каюту и растянул колени водкой, а потом надел бы сухие, колочные кальсоны. Но он прогнал эти мысли, а вскоре и совсем забыл про боль. Он, как и все, вглядывался в вырванное у темноты пространство, хотя знал, что пройдет не один час, пока они дойдут до предполагаемого места аварии.

Все, что раньше казалось важным, отошло на задний план, мельчало, и небольшой экипаж, объединенный общей тревогой, делал все возможное, чтобы найти неведомого им человека, воспрявшего его упорством, втайне размышляя, что делали бы они, оказавшись на его месте. И Дрозд подумал, что му-



9

жество — такое свойство, которое лучше всего заметно в других.

Наступило утро. Туман растаял, и прожектор уже был бесполезен. Море было пустынным.

— Что ж, — сказал Дрозд, — Надо искать. Надо найти. Живым! — Хотел добавить: «или мертвым», — но не решился.

8

Поднялись волны, и лодка тяжело переваливалась с гребня на гребень. Красный глазок качался вместе с лодкой вверх-вниз.

«Качаешься, да? Ну, давай, давай. Кто качается? Я? Или маяк? Или вся земля? Когда это кончится? Спать... Как чудесно спать и ни о чем...»

Волна подкатилась под лодку. Лодку развернуло боком, следующая волна накрыла ее, и Коптилин очутился в воде.

«Все», — сказал кто-то другой, бывший в нем, который устал от холода, голода, от попыток бороться со сном, от изматывающей пляски на волнах, которому уже было все равно. Но другой, более сильный и мужественный, упрямо плыл за ускользающей лодкой, цеплялся негнущимися пальцами за упругие борта, проклинал непослушное тело.

В лодке была вода. Коптилин выплескивал ее за борт. Он не думал о тепле, не думал о берегу, не думал, что мог и может утонуть. Он наклонился, зачерпывал ладонями воду, выливал ее за борт, вновь наклонился. Он понимал: это — опасное оцепенение, парализует мысль и способность к действию, — но был так измотан, что его хватало только на монотонные, обманичиво-усыпляющие движения.

«Только не уснуть. Тогда конец. Чему конец? Бессмысленным попыткам? Как это понимать: «без смысла? Такого не существует. Все имеет свой смысл».

В привычный шум моря стали влетать необычные звуки. Он не мог понять их происхождения. Он работал: вычерпывал воду и греб.

Резкие, хлопающие звуки усилились. Коптилин поднял голову и разглядел очертания высокого берега. На берег кидались волны — отсюда и странные звуки.

Оцепенение прошло сразу. Коптилин чувствовал, как мускулы наливаются силой, крепнет воля, а с ней и надежда. Он действовал быстро и ловко, мыслил ясно.

«Здесь не пройти. Лодку разорвет о камни. Берег крутой. Но важно, что берег рядом. Наконец-то!»

А он начинался тяжелый, влажный, а Коптилин все еще не мог пристать к берегу. Скалы уходили в низкое, мрачное небо. Море успокаивалось и лишь у берега вскипало брызгами.

Несколько часов прошли как в бреду. Лодку кидало на камни, он подставлял ладони — удар! — волна рассыпалась, била его водяной крупой и, обессиленная, оттягивалась в море, таща за собой лодку. Но набегала новая волна — и опять удар, и опять пере-дышка.

У него было желание опустить руки и броситься на берег, и — где наша не пропадала — или размо-жить голову, или... Но он знал: другого выхода быть не может, а ЭТО всегда успеется, и потому упор-но подставлял разбитые ладони кидаемому на него берегу.

«У человека должен быть критерий. Если смерть, то страшно и глупо. Страшно и глупо мерить свою жизнь по смерти. А если нет выхода? И почему го-ворят: чтобы решиться на ЭТО, надо обладать силь-ной волей? Впрочем, говорят и о слабой воле. А по мне, в ЭТОМ — слабость и сила. Нет, только спо-собность. И вообще ЭТО — последнее дело. И разгово-идет не об очередности. Просто последнее дело. На свете достаточно вещей, ради которых стоит жить, достаточно вещей, ради которых стоит бо-роться».

Волны ослабли, и Коптилин с трудом вывел лодку из зоны прибой. Теперь он видел: перед ним остров. Совсем маленький, и с левой стороны в море ухо-дит низкая гряда, а дальше темнеет еще один бе-рег.

Коптилин рассвирепел. Он гнал лодку на огонь. Он чуть не распорол лодку о камни. Он едва не раскромсал голову об эти камни, а в пятидесяти мет-рах волны спокойно перекачивались через узкую полосу земли.

«Дьявольство! Вот она, дистанция... Это хороший урок... Если, конечно, пригодится».

«Гриша, — сказал он себе, — не пиши завещания. Не будь благодетелем для других. Все равно никто не поверит. Никто не верит в искренность завеща-ний. Люди не верят в предсмертные записи. Они ве-рят живым. Они верят в живое».

«Гриша, — сказал он себе, — ты философ. Дрянь-ный философ. Это из-за того, что у тебя мокрые штаны. Тебе нужен штурвал и скорость. Ощущение высоты и воздуха. Тебе нужен этот остров и огонь».

Коптилин стоял на земле — порыжелой глыбе гранита, а ему казалось, что он еще в лодке. Он сделал несколько неуверенных шагов и радостно и хрипло засмеялся.

«До чего ж хорошо! Как это здорово — быть на земле!»

— Ого-го! — крикнул он. — Жи-и-и!

В ответ истошно закричали чайки. Их было много, и они кружили над островом.

— Кричите, кричите! — подзадоривал их Коптилин. Море было под ним, и он с изумлением спрашивал себя, неужели он это сделал: продержался сутки в воде и сейчас ощущает под ногами твердость! И все, что произошло с ним, представлялось очень давним и совсем не страшным.

Он ступал по скользким камням, покрытым грязно-зеленой тиной, вверх, где возвышалась башня маяка. Он с трудом сохранял равновесие: тело не слушалось, было чужим.

— Э, — сказал он, — так не пойдет. Осталось совсем немного.

Коптилин поднялся вверх и прислонился к отполированной ветрами и водой башенке.

За толстенным красным стеклом полыхал факел.

10

Он очнулся от тарахтящих звуков: будто стреляли из пулемета.

К острову приближался катер.

«Наконец-то», — безразлично подумал Коптилин, а катер, не подходя к берегу, стал описывать дугу.

— Стой! — закричал Коптилин. — Стой! Я здесь! Здесь!

Он легко побежал вниз, надсаживая глотку в крике: «А-а-а!» Он наткнулся на лодку, скватил ее и размахивал лодкой над головой.

Катер поворачивал в море.

Коптилин бросил лодку. Рука снимала пистолет, и он яростно стрелял в воздух.

Катер уходил.

У Коптилина было желание выстрелить в катер. Он выбросил руку вперед, но перед тем, как спустить курок, дернул стволom вверх. Выстрела не было: кончились патроны.

Катер уменьшался и уменьшался в размерах, пока не скрылся за горизонтом. Стало тихо.

Набегали волны, кричали птицы — обычный шум моря.

— Сволочи! — орал Коптилин. — Подонки! Жалкие твари!

Он захлебывался ругательствами и проклятиями. Теперь оружие было бесполезно.

— Ах-ах! — злобно выдохнул Коптилин и швырнул пистолет. Пистолет упал метрах в двадцати, и оттуда, торопливо махая крыльями, взлетела какая-то птица. Тогда Коптилин встал на носки и, стараясь не шуметь, побежал к тому месту.

«Дурак! Попусту расстрелять патроны! Я давно бы жрал птичье мясо. Это отличное мясо. Самое нежное мясо».

Голодная спазма сжала желудок.

Коптилин кидал пистолет в птиц, ползал на четвереньках, высматривал, вскакивал, падал, умолял, проклинал, задыхался от бешенства и бессилия, опять бросал пистолет и камни, но птицы подымались в воздух в самый последний момент.

Он чувствовал, что перестает соображать.

«Успокойся!»

«Не хочу!»

«Успокойся!»

«Я хочу жрать!»

«Так сходят с ума!»

«Пусть!»

«Ты мразь! Возьми себя в руки!»

— Возьми себя в руки, — повторил вслух Коптилин.

11

«Я» вылетел четвертого числа. Сегодня 5 ноября. До праздника никто не придет провернуть, как работает маяк. Да и был бы стоящий маяк, а то так, маячок. Он и поставлен, наверно, для отвода глаз. Только через три дня сюда зовалится какой-нибудь кондовый дед, отрыгивающий водкой и рыбой.



А у нас нет праздников. У нас, у военных.

Я еще ни разу — с тех пор как в авиации — не встречал праздники за домашним столом. Раньше мы устраивали складчину и наливались. Сейчас и рад бы, да нельзя. А потом — через несколько дней — что за интерес? Это как газеты — их надо читать сразу. Да и изменилась мера, и праздники не считавшись лишним поводом для выпивки.

Для нас эти дни — самая работа. И понимаешь — это не только красивые цифры в календаре... И как приятно знать, что другим ты обеспечиваешь отдых.

Не будь сентиментальным. Эти лирические отступления никому не нужны. Только через три дня сюда приплывет хмельной старикан. Я не выдержу. Я замерзну.

12

Коптилин сидел на земле, прислонившись к большому камню.

Вокруг росли карликовые кустик. Коптилин набил рот чахлыми красноватыми листьями. Долго жевал и обсасывал их.

Потом его рвало. Он выжал из себя все, что мог, и лежал обессиленный, уткнувшись лицом в мох.

«Нельзя лежать. Надо действовать. Ну! Размазня, распустит нюни! Может, еще заплачем? Говорят, помогает. Встать и двигаться! Никто ничего не добивался! Встать! Вот так. Вот и хорошо. И не шататься! Не придуривайся — все равно никто не видит. И не воображай себя героем. Да разве в этом героизм, в преодолении физических страданий? О, пошел серьезный разговорчик. А если без дураков? Ведь о том, совершил ли ты подвиг или подлость, узнаешь после. Об этом ни думаешь — просто делаешь свою работу, и не валяно, спасаешь ли при этом жизнь. Ну, положим, если думаешь о спасении, обязательно сорвешься».

Просто можно по-разному думать. Не думать о последствиях. И помнить о достоинстве. О человеческом достоинстве.

Начало темнеть и в воздухе и на море.

Ярко и стремительно падала звезда. Коптилин проводил ее глазами.

Звезда растяла в темноте, вдалеке, очевидно, на другом берегу, загорелся свет. Земной красный свет маяка.

Коптилин закрыл глаза и терпеливо, подавляя волнение, досчитал до двадцати. Потом открыл глаза. Свет горел.

Лодка лежала рядом.

Коптилин обстоятельно и не спеша проверил ее, положил в лодку обломок доски и присел на обмякший борт.

«Не тани. Надо плыть. Это наваянка материк. Самое позднее к рассвету я буду там. Здесь несколько километров. Попа!»

Он спустился к воде. Когда оттолкнул лодку от берега и сделал первый гребок, ему вдруг отчаянно захотелось вернуться обратно. Вернуться и ждать. Ждать день, ждать неделю. Ждать, пока за ним не придут. Быть на змле.

От воды тануло холодом. Зло и таинственно кричали птицы.

Коптилин устал и замерз быстрее, чем предполагал. Казалось, он и не выходил на берег. Особенно мерзли пальцы на ногах, и было ощущение, что они из хрупкого льда. Он пытался их разогреть, щипал, бил кулаком, но руки уже были на те.

Он вспомнил о годах, проведенных в Средней Азии, когда знывал от одуряющей жары. Первый месяц он боялся змей, скорпионов, фаланг и спал в гостинице с накрепко закупоренными дверями и окнами, потел и задыхался от недостатка воздуха. И звезда: песок под ногами, песок на зубах, и слюна, как слезы. И самое драгоценное — вода.

Сейчас было слишком много воды, было чем дышать, и вокруг и в нем был холод.

Красный глазок (теперь уже другой), как и в прошлую ночь, указывал ему дорогу.

Море было спокойным. Изредка гудели моторы самолетов; они шли высоко. Когда небо прояснилось, он видел сигнальные огники на крыльях. Иногда громыхали громы — реактивные самолеты прорывали звуковой барьер.

Жизнь была очень близка — всего в нескольких километрах. Жизнь проходила над ним в металлических, до нежности знакомых кораблях. Пройдет совсем немного времени, и маяки выведут их на землю.

А его маяк — красный глазок, к которому он страшился и к которому в уме добирался сотни раз, — не приближался.

14

Он проснулся, когда падал в воду. Это было долгое, неестественно долгое и быстрое падение — сердце провалилось вниз, и он летел, захватывая широко раскрытым ртом пустоту.

А рядом, обгоняя и грозя задеть, падал его самолет, а навстречу из воды поднимался корабль. Он знал, что это корабль, хотя видел только четыре огромных человеческих глаза, и это было так нелепо и страшно, что Коптилин сделал безумную попытку прыгнуть в самолет. И вот руки выжимают штурвал на себя, и уже не видно ни глаз, ни корабля — одно море, и вновь непрекращающееся падение...

Коптилин открыл глаза и, как бывает всегда после короткого и тяжелого сна, сразу не мог сообразить, где он. Он рванулся, намереваясь встать, и лодка чуть не перевернулась. Стараясь удержаться, он выбросил руки вперед. Руки попали в ледяную воду, и тогда Коптилин проснулся окончательно.

Он сидел в лодке, неудобно подложив под себя ноги. Его было озноб.

За бортом было чернильное море. Луна угадывалась за облаками. Маяк горел ровно и близко.

«Когда это кончится! Нельзя до бесконечности обманывать самого себя: еще десять гребков, еще досчитаю до сотни. Всему есть предел».

15

Утром, когда можно было различить, где вода, и где небо, Коптилин увидел, что пройдена лишь половина пути.

Берег был совсем рядом — отличный пологий берег. Хорошему гребцу на час работы.

«Ну!» — говорил он себе, но доска выскальзывала из рук.

Он отложил доску. Лодку медленно кружило на месте.

Коптилин лег на спину и удивился, что абсолютно не чувствует ног, будто их и не было. Пальцы застыли в том же положении, словно еще держали доску. Он кусал пальцы, оставляя на коже глубокие следы зубов, но не испытывал боли.

«Все... спокойно подумал Коптилин. — Это конец». «Врешь! Врешь!»

Он встал на колени, упал грудью на борт, захватил доску обеими руками и стал гребсти.

— Врешь! — бормотал он и греб, вкладывая в гребки всю силу и всю ярость.

Лодка почти не двигалась.

Иногда он терял контроль над собой, и тогда наступало безмятежное, блаженное состояние: никуда не надо плыть, не надо держать доску непослушными, чужими пальцами, не надо вглядываться слезящимися глазами в такой близкий и такой далекий берег.

Когда он приходил в себя, первое, что он видел, — воду. Он поднимал голову — берег, еще выше — небо, облачное небо.

Он знал, как трудно при такой низкой облачности искать его.

Но он знал и другое — никто не решится сказать: «Все!» Даже тогда, когда пройду все мыслимые и немыслимые сроки человеческих возможностей.

А они прошли.

16



Неярко загорелся маяк. Свет маяка креп, густел, и, когда вокруг стало темно, маяк горел огненно-красно.

Коптилин все чаще и чаще терял сознание, но и тогда перед глазами был маяк. Ничего другого не существовало. Из всего мира был только маяк. Вот этот. Красный, нахальный, выжидающий, желанный...

А руки продолжали делать свою работу. Доску он давно выпустил. «Еще!» — бормотал он и давал гребок.

Потом он заметил, что только бормочет, а руки из загребают — они были просто опущены в воду. Коптилин вытаскивал руки из воды и протер ими лицо. Холод освежил его.

Он стоял на коленях, грудью навалившись на борт. Ему очень хотелось опрокинуться на спину, вытянуть до хруста ноги и лежать. Лежать и лежать.

Маяк светил сверху. «Значит, берег рядом. Все еще рядом...» И он опять греб, греб, греб...

Руки наткнулись на что-то твердое, и лодка остановилась. Он ощущал ровную слизистую поверхность. Лодка сидела на камне.

Коптилин не знал, берег ли это или большой подводный камень, каких много на пути к берегу. Теперь ему было все равно.

Он всем телом лег на борт — лодка даже не качнулась — и осторожно стал переваливаться, пока ноги не коснулись камня. Он оттолкнул лодку, и она мягко сдвинулась и поплыла, а Коптилин не удержался и упал, больно ударившись лицом.

«Как глупо... Ведь уже все... Берег...»

Он встал на четвереньки, потом тяжело присел на корточки. Когда он поднялся, то дрожал от напряжения.

Он шел по щиколотку в воде, и его шатало, как пьяного. На берегу Коптилин снова упал.

Он полз по-пластунски, упираясь локтями в острые камни, подтягивая за собой ноги. Он упирал полз вверх, и каждый сантиметр казался поражением и победой.

У подножия маяка Коптилин долго отдыхал. Он дышал шумно и быстро, а легкие никак не могли набрать воздуха. Он ухватился руками за кладку, цепляясь ногтями, а тело тянуло вниз. Наверу полыхал огонь, а у него не было сил подняться.

Он прижался грудью к отполированной ветрами и водой башенке маяка. Ему мерещилось солнце.

Коптилин спал и заставлял, приказывал себе не спать. Он открывал глаза, но и здесь было солнце.

А из-за горизонта действительно восходило солнце. Первое за эти дни. Солнце пробивало туман. Оно росло, занимая все небо, и когда заняло его полностью, с разом пошло на него, на Коптилина, и он узнал в солнце самолет. По гулу Коптилин понял, что самолет возвращается.

Коптилин улыбался и плакал.

А потом в море он увидел расплывчатый силуэт корабля. Коптилин страшно ринувшись слезы — силуэт стал четким и стремительным.

Коптилин оторвался от маяка. Он шел, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Ни разу не споткнулся. Остановился он у берега.

Стоял, качаясь, но стоял. Крепко упирался ногами в землю. Ждал, когда подойдет корабль. Ждал, когда спустят шлюпку.

Он протыкал мучительную работу, вспоминая, как надо сдвинуть ногу, чтобы шагнуть.

Люди бежали радостные, с удивительно знакомыми лицами, что-то кричали, и ему показалось, что он тоже бежит навстречу.

Его успели подхватить.

Валентина Творогова

Письма

Стук в переплет оконных рам.
«Возьмите! Две газеты вам!»
И дальше, в следующий дом,
Опять с письмом. Опять с письмом!
А мне который раз подряд
Одно и то же говорят,
Стуча в окошко по утрам:
«Возьмите! Две газеты вам!»
«Да, да. Спасибо. Я взяла»,
...А я опять письмо ждала.
Ждала, как ждет врача больной,
Как ждут дождя в палатной зной,
Как ждут рассвета у окна,
Когда от страха ночь длинна,
Как ждут, что к ним вот-вот
придут,—

Ждала, как люди писем ждут.
Стук в переплет оконных рам.
«Возьмите! Две газеты вам!»
Да, две газеты. Без письма.
Ну что ж, я напишу сама.
Я напишу письмо сама,
Я расскажу: у нас зима,
Кругом сугробы намело,
Но от улыбок всем тепло,
Но обсыпает, словно снег,
Прохожих частый, звонкий смех.
Я очень много расскажу,
В конверт без адреса вложу:
Пускай оно найдет само
Таких, что так же ждут письмо.



Валентина Творогова
17 лет. Она заканчивает
среднюю школу в городе
Майнопе.

Дождь

Сквозь небо и землю тянутся
дождинки —
Длинные, звонкие нити-серебрянки.
Прячусь от дождя я под сводчатой
аркой.
Перед ней дождинки, словно струны
арфы.
Даже нет, не арфы —
гуслей-самогудов.
Знаешь, что такое гусан-самогуды?
Тихе, тихе... Слушай... Ничего
не слышишь?
Говоришь, что это дождь стучит
по крыше?
Тихе, тихе... Видишь, загрузил
о милом,
Гибкая березка руки заломила,
Словно в старой сказке русская
царевна?
Слушай, это гусли — грустно и
напевно...

— Ой вы, ветры, ветры, вы о чем
шумите?
Ой вы, струны-звоны, вы о чем
звените?
— В тридесATOM царстве на краю
ущелья
Твой Иван-Царевич борется
с Кошмеем.
...И, зеленой веткой смахивая слезы,
Русской Ярославной плакала береза...
А потом на землю-радуга упала,
И, смеясь, березка к радуге
припала:
Радугой-дугую в золотистой дымке
Шел ее царевич в шапке-невидимке...
Стали таять струны... Звон их глуше,
тише...
Я стою и больше ничего не слышу...
Я стою и больше ничего не слышу,
И блестят на солнце вымытые крыши.

Палангские стихи

Мне сказали: напиши стихи.
Обо всем, что видишь, напиши.
Не затем, чтоб были неплохи,
А затем, чтоб были от души.
Ты хороших слов не пожалей,
Чтобы было всем от них теплей.
Напиши о синей вышине,

О себе, о ней и обо мне,
И о море в пене, как в пурге,
И о соснах на одной ноге;
Напиши, как зори хороши.
А еще про солнце напиши —
Прого его лучи, как янтари.
А стихи Паланге подари.

1

Море может лежать, молчать.
Корабли на себе качать,
Янтари на песке искать
И ленивой волной плескать.
То его по рукам-ногам
Свяжут тесные берега,
И оно, обо всем забыв,

Вдруг становится на дыбы,
И бросается на песок,
И ломает стрелы осок —
Хочет сбросить всю тяжесть с плеч,
Среди джон разогретых лечь,
Мокрой лапой обнять сосну.
И спокойно, крепко уснуть...

Но оно ложится на дно
И колотит песок волной,
Все ворочается, брызжит,
Все на месте не уложит.
А на завтра оно молчит,

Не волнуется, не ворчит.
Наведет в себе тишину,
Чтоб загладить свою вину.
Даже волны отправит спать.
Будет солнце в воде купать.

2

Если просыпать горстку песка,
Ее потеряешь в траве.
Ее, небольшую, смоев река,
Быстро развеет ветер.
Дюны у моря — тоже песок.
Только подумай ты:

Сколько в них миллионов соф
Горсточек золотых!
Дюны могут стоять года.
Может быть, и века.
Но не оставит даже следа
Мелкая горсть песка.

3

Черный флаг — это значит шторм!
Это в море черт знает что!
Это там, в воде, чернота.
Это волны с пеной у рта.
Это берег, злой и седой,
Захлебнулся уже водой.
Черный флаг — это значит шторм,
Это значит шторм. Ну и что?

Я хочу, чтоб и мне, и мне
На вскипевшей взлететь волне,
Руки в пену ее продеть,
Захлебнуться в ее воде...
И опять, счастливой и злой,
Ждать, чтоб вновь волной подняло,
Чтобы вниз вместе с ней дететь,
Чтоб опять подняться хотеть!

4

Запомню все:
И этот берег,
И эти дали в воде,
И этих дивных, гордых, белых,
Таких красивых лебедей.
Запомню сосны, сосны, сосны,
И землянику там, в траве,
И этот лес, притихший, сонный,
С колючей хвоей в голове.
И это море в белой пене,
Все прокипевшее до дна,
Где дюны встали на колени
В разбушевавшихся волнах.

Запомню все.
А было б можно —
Я б удержаться не смогла.
Я б всю Палангу осторожно
В своих ладонях унесла
Туда, где вечно пахнет маем,
К себе, на Северный Кавказ,
Где мчится, голову ломая,
Седая горная река,
Чтоб под горячим южным солнцем
Она была еще милей,
Чтобы смешался запах сосен
С пшеничным запахом полей.

✱

Быть матросом чертовски трудно!
Пассажиром — совсем легко.
Море часто обходится круто
Даже с опытным моряком.
Волны черные, словно деготь,
Защерпнули воды борта.
«Эй, на палубу всех, кто могут!
Эй, на палубу всех свистать!»
Руки сильные на штурвале.
Голоса от соли горькие:
«Не в такие шторма плывали
Настоящие моряки!»
Ветер зло обжигает солью.
Дождь острее, чем лезвие.
Не бросались в панику б, что ли.
Вы, каютские пассажиры!
Вас на палубу бы, к матросам,
Вам бы помпу в руки — качай!
Чтоб секало вас ветром, как розгой,
По рукам, по спине, по плечам.

Чтоб работать, работать, работать,
Чтобы не разгибать спины,
Чтоб смешались солонки пота
С солью злой штормовой волны.
Чтоб вода бушевать не смела,
Чтобы ветры гасли в воде...
Море — это стихия смелых,
В непокой влюбленных людей.
А ведь жизнь — это тоже море,
И волна у нее крута,
А ведь жизнь — она тоже может
Штормом яростным исхлестать.
Эй, матросы! Смелые парни!
Для меня у вас места нет?
За спиной у меня, как парус,
Непокорных семнадцать лет.
Быть матросом чертовски трудно.
Пассажиром — совсем легко.
Я матрос.
Пусть плывет мое судно
Далеко-далеко...



Александр Юдахин

Боре Камышеву

И не знаю, кого винить,
В голове резонанс, как в соборе.
Человек, дай закуришь,
У меня, понимаешь, горе!
Нам бы с Борькой писать
и звываться на Луну,
А прижмет, так на лето на барже
повкалывать,
Но вчера мне сказали: студент
утонул,
Какой-то поэт, Камышев.
Как же так, не успел совершить
открытия,

И не спас никого, и не выпустил
сборника?..
Человек, затужил я, дай прикурить,
Как же мне, человек, без Борьки?
Смерти мало и войн, и болезней,
и старости —
Втихомолку, налево работает,
гадина!
На планете еще одного человека
не стало,
Левитан, объявите об этом
по радио!

Алла Ахундова

Я верю в предсказания птиц
и трав холодные наветы.
Наверно, это я на ветви
росою с неба пала ниц.
Наверно, это я расту,
зеленая, потом нагая...
и ставлю крестик ноги
перед отлетом в высоту.
Наверно, это я лечу —

и на щеках случайных таю,
и волны круглые катаю,
и рыбой в глубине кричу,
и камнем в городе стою,
и мерзну рельсовым железом...
И до небес — семь верст, все
лесом —
все этим голосом пою.

Если листья — зеленые флаги,
Если травы — зеленые сабли,
Если росы — как россыпи дробей
Барабанной
О землю:
— Бам... Бам...
Значит, флаги — военные листья,
Значит, сабли — военные травы,
Значит, дробь барабанная — это
Как военная
Россыпь
Росы...
Значит, флаги поухнут, как листья,

Значит, сабли полягут, как травы,
Значит, дробь барабана заглухнет,
Как под солнцем заглухнет роса.
Если, правда, так делает солнце,
Если, правда, так делает ветер,
Если, правда, так делает время,
— Никогда не случится война.
Будут листья — зеленые листья,
Будут травы — зеленые травы,
Будут росы такие, как росы,
Звать по имени
Землю:
— Бам... Бам...

Зимняя сказка

Опять в снега.
Опять скрипеть:
«Скирли-скирли» — на ножках
липовых.
Нельзя ни говорить, ни петь,
Хоть ты медведь,
— Не смей реветь,
Но можно потихоньку всхлипать.
Искать под коготками мед:
— Ну, может, капелька осталась?
Но всюду лед, повсюду лед,
Напрасно в пальчики всосалась.

Берлога брошена моя,
Разбужена шатун-медведица.
«Скирли» на липовых.
Не я,
Мне сказка страшная мерещится.
И снег скрипит.
И кто-то мечется.
И блещут зубы в свете месяца.
И липкая звезда висит
И кажется совсем медовой.
И глаз медведицы бедный
На эту капельку висит.



Александр Юдахину 21 год. Работал на целине, сейчас он студент Московского педагогического института имени В. И. Ленина.



Алла Ахундова — студентка Литературного института имени Горького. Помимо работы над своими стихами, она много времени уделяет переводам произведений молодых азербайджанских поэтов.

Истопница



Родился в 1941 году. Сейчас он живет в Волгограде. Окончив десятилетку, работает монтажником в одном из строительных - монтажных управлений.

Обыкновенная старуха,
И заворчит и замолчит...
Вздохнет, и глубоко и глухо,
поленом мерзлым постучит.

Закатом занято полнеба,
а на пол капает вода.
Пылает мокрое полено,
оттаивая ото льда.

Старуха дров еще подложит,
и молодые мужики
протянут белые с мороза
натруженные кулаки.

Вот уголь выпавший дымится...
От снеговой воды ручей
скользнул...

На угольях томится
шершавых пара кирпичей.
А в полночь заскрипит перила,
и все утихнет досветла...

Ее непышная перина
от наших кирпичей тепла.
Заснет не скоро и вначале
ворочается тяжело...
Она нездешняя.

Ночами
ей вспомнится свое село,
и печь, и притолок, увитый
цветами синими...

Во сне
является сынок убитый,
оставшийся на той войне.

Под утро непогодит вьюга.
По комнатам, в которых спят,
идет бессонная старуха
будить, отхаживать ребят.

Разбудит нас, и печь покамest
растопит, слушая метель,
и сморщенными руками
поправит смятую постель.



Ненастье было этой ночью.
Студеным утром ноября
гляжу в окно:
на сучьях клочья,
на клочьях зимняя заря.

и подымались думы с крыш,
как подымаются медведи.

А солнца шар был хвойно-рыж
в тумане зимнем на рассвете,

И, отступая за овины,
я видел вечером тогда:
идут, снежинками овиты,
в далеком поле поезда.

Леонид Губанов

Художник



Леониду Губанову 17 лет. Он москвич. Учится в 9-м классе школы рабочей молодежи и работает в художественной мастерской.

Холст 37 на 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем.

Когда изжогой мучит дело,
Нас тянут краски теплой плотью.

Уходим в ночь от жен и денег
На полнолуние полотен.

Да, мазать мир! Да, кровью вен!
Забыв болезни, сны, обеты!
И умирать из века в век
На голубых руках мольберта.



Нинель КРАСКО



Заочники

Рисунок Л. Фалина.

Встреча была очень шумной. Представляете, что получается, если сразу заговорят восемнадцать человек? А нас именно столько, и мы не виделись ровно год.

Мы — это студенты-заочники 4-го курса Волоколамского зооветеринарного техникума. Приехали на экзаменационную сессию. Если все будет благополучно, вернемся домой пятикурсниками.

Сессия продолжается полтора месяца. Все мои друзья-однокурсники по закону пользуются во время сдачи экзаменов оплаченным отпуском, а я — нет. «Один диплом у нас есть, ну и хватит!», — сказал мне в бухгалтерии. «Зачем тебе диплом зоотехника нужен, когда уже университетский есть?» — этот вопрос мне и на работе задавали и дома.

Да, действительно, я окончила исторический факультет МГУ. Но работаю в сельскохозяйственном отделе областной газеты. Часто бываю в колхозах и совхозах, я накопила некоторый опыт, много разрозненных, несистематизированных знаний. Хочется осмыслить все это, привести в ясность, то есть просто стать специалистом сельского хозяйства. Вот поэтому я и решила поступить в зооветеринарный техникум.

Я знала, что придется и отдам

ком поступиться и интересные книги в сторону отложить. Но знала и то, что многое приобрету взамен этих «жертв»...

Знакомство с людьми, увлеченными своим делом, — всегда большая радость. А особенно когда тебя с ними связывают общие интересы, волнения, надежды...

Все мы очень разные — и по возрасту и по тем путям-дорогам, что привели нас в этот старый помещичий дом с колоннами в четырех километрах от города Волоколамска. Дом этот был для нас вначале и «аудиторным корпусом», и клубом, и учебной частью. Теперь он стал общежитием, потому что недавно техникум справил новоселье. Но до сих пор еще не снята табличка «Кабинет анатомии» с двери огромной комнаты в общежитии. В прошлом году именно здесь готовились мы к самому трудному экзамену — по анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. Не думайте, что занимались мы по муляжам да по картинкам. Правда, корову или телку нам препарировать не пришлось — санитком много чести для третьекурсников. А вот дворянку нам преподаватель Ярослав Иванович Яковлев раздобыл. Это была веселая и храбрая дворянка, одна из тех, что, по предложению великого Павлова, увековечена в

Колтушах единственным в мире «памятником собаке».

...Весь этот год от сессии до сессии я ловила себя на том, что скучаю по Ане Бороденковой, по Юле Новиковой, по «маме Вере», что стремлюсь поехать именно в то хозяйство, где работает кто-либо из нашей группы, что чуть-чуть завидую их увлеченности, полноте их жизни, силе их характеров.

И вот мы снова встретились. Но столько дела сразу появилось у каждого — даже словом перебраться некогда. Экзаменационная сессия у нас, заочников, совсем не то, что у обыкновенных студентов. Они встречаются только на экзаменах, а мы в дни своей экзаменационной сессии по шесть, а то и по восемь часов в день, словно школьники, отсиживаем за партой. Да еще практические занятия на ферме, в лаборатории, у трактора. Обедаем тут же, в студенческой столовой, — и снова за дело.

Только поздно вечером затихает паша огромная комната-муравейник. И тогда я достаю свой блокнот — и раздвигаются стены старого помещичьего дома, появляются наброски о моих товарищах. Я уважаю их за упорство и настойчивость, за то, что они посвятили себя профессии, которую никогда не выберет тот, кто ищет легкой жизни.

Экзамен по частной зоотехнике — крупному рогатому скоту. Я подняла голову от своего билета, смотрю — Аня Бороденкова вышла отвечать. Стоит она рядом со столом преподавателя и



скромной зеленой кофточке, серой юбке, и солнышко превратило ее пепельные волосы в чистую платину.

Заслушалась я, как Аня отвечает, — ну просто здорово! Ведь рядовой дояркой работает, а как справляется с трудными вопросами экзаменатора! Вижу, и Александра Ивановна Грачева, наш преподаватель, с удовольствием слушает Аню. Когда же начала Аня рассказывать, как да чем кормит быков, преподавательница спрашивает:

— Да вы уж не бычатицей ли работаете?

— Нет, — отвечает Аня, — дояркой. Просто у нас на ферме бык как раз к моей группе коров «приписан».

— Пятерка. Молодец, Аня, — говорит Александра Ивановна, протягивая ей зачетку.

Мы все рады за Аню: ведь трудно ей было, и экзамен для нее не просто оценка знаний.

...Тогда назад перед дверью комнаты, где шли экзамены, стояла усталая женщина, бледная, с лихорадочно блестящими глазами. Неужели это была Аня, та самая, что сегодня выглядела namного моложе своих 25 лет? Тогда каждый из нашей группы старался ей чем-то помочь: кто предлагал конспекты, кто объяснял что-то. Аня сдала экзамен одной из последних и сейчас ее уехала на несколько дней в свой совхоз «Стеблево», чтобы вернуться к следующему экзамену.

— Почему она не живет в общежитии, как все, а каждый раз ездит домой? — спросила я тогда у дежач.

Оказалось, что там, в «Стеблево», у нее дочка, которой всего три ме-

сяца от роду. И еще: от Ани ушел муж.

Я тогда еще не знала Аню и, конечно, повятня не имела, как ей бывает трудно заставить себя сесть за книжку. Всего год назад, когда она готовилась к вступительным экзаменам в техникум, рядом сидел Сергей, самый дорогой для нее человек. Придет, бывало, за двадцать километров, чтобы ей помочь. А теперь он ее бросил. Слово-то какое!..

Будильник постукивает чуть слышно, а Аня кажется — на всю комнату. «Спать, спать», — заставляла она себя. Но глаза широко открыты и смотрят в темноту. Аня знает, что если так вот полежит еще пять минут, то снова закапают на подушку слезы. И она быстро встает, подходит поближе к ночнику, что стоит у дочкиной кровати, и открывает учебник.

Так сидит она у маленького ночника час за часом, и горе ее как бы отходит в сторону.

Возвращаясь из техникума с очередной пятеркой в зачетке, она чувствует, как все тверже ступает по земле (за эту землю отдала жизнь ее отец в 1944 году). И цель ее кажется ясной и достижимой.

Временами, оставаясь одна, она и теперь говорит сама себе: «Бросил!», — но это слово уже не вызывает слез. «Если мог он оставить меня, значит, чужой он, надо о нем забыть. Только бы Любочка росла быстрее, а я не пропаду».

И вот прошел год. Подрастает дочка. Аня остается ее с матерью и приехала в техникум на сессию. Вот она в одной комнате со мной, на соседней койке, свернулась клубочком, спит — устала, вебось, после экзамена. О себе говорить не любит. Но я знаю, что она лучшая доярка на Ботовском отделении совхоза «Стеблево» и недавно получила еще одну премию. Знаю, что семейная жизнь ее не наладилась. Сергей то придет и, чуть не плача, уверяет, что нет лучше ее на свете, то снова пропадет, подавшись на шантажничество деревенских кумушек: «Гордячка, мол, она, твоя Аня».

Эх, Сергей, Сергей! Ничего ты не понял. Не гордячка она, а гордая в хорошем смысле этого слова. И боюсь, что, когда ты это поймешь, будет уже поздно.

Для доярки Ани Бороденковой дорога в этот старый помещичий дом с колоннами была трудной, но закономерной. А что сказать о продавце с дипломом товароведа, если он идет в зооветеринарный техникум? Для выбора такой дороги должны быть веские причины.

Юлия Новикова застенчиво улыбается и говорит:

— Более веских не бывает. Девчата согласны кивают головой: да, не бывает, потому что эта причина — любовь.

И правда, если о Юле Новиковой рассказывать, целый роман получится. Юля даже внешне похожа на горожанку. Она и в самом деле москвичка. Но вот уже больше пяти лет живет в селе. Тульская область, совхоз «Козьминский» — ее постоянное местожительство.

...Жила в Москве девочка и выбрала себе городскую профессию — поступила в Московский торговый техникум. Уже заканчивала его, когда повстречалась с Сергеем Новиковым, студентом Московской ветеринарной академии. Через год поженились. А еще через год Сергей окончил акаде-



мию, и его направили на работу в совхоз «Козьминский» главным ветеринарным врачом.

Год Юля не работала — сына растила. А потом решила: хватит сидеть сложа руки. Спрятала свой торговый диплом подальше и поехала на... курсы искусственного осеменения. Окончила их, стала работать по новой своей специальности.

Потом назначили ее зоотехником-селекционером. Юля увлеклась. Все ее интересовало. И муж посоветовал:

— Не пойти ли тебе в техникум?

А как же образование товароведа? Разве не могла она и на селе работать по этой своей специальности? Конечно, могла бы, но не

захотела. Может быть, тот год, что была она в Москве товароведом на базе, подсказал ей, что ошиблась она выбором... А может быть, рассудила так: продавцов на селе хватает, а вот совхозу чуть ли не



на каждую ферму нужен специалист... Короче говоря, зоотехником она стала не по стечению обстоятельств, а сознательно.

И в техникум пошла, отлично понимая, что будет ей трудновато. Ведь дочка и сын еще очень малы. Но раз решено — значит, решено. Так животноводство стало семейной профессией Сергея и Юли Новиковых.

ДОВЕРИЕ

В субботу техникум пустеет — все разъезжаются по домам. Почти у каждого есть попутчики. Только я еду в Москву одна. И это естественно. Что за ветврач или зоотехник, если он живет в Москве! Но ядрут и у меня обнаружались попутчики. В автобус вбежали две совсем молоденькие девушки. Оказывается, они первокурсницы с очного отделения нашего техникума. Прислушиваясь к их легкомысленному щебетанию, просто не верится, что через пять лет они станут людьми, которым нипочем трудности. Ведь им придется работать не в городе, а налаживать дело на ферме, где и запах не парфюмерный, а порой все совсем не так, как в учебных классах пишется.

— Почему вы в этот техникум поступили? — спросила я.

— Да просто в Москве мы нигде не попали. А тут два года поучимся, пока общеобразовательные предметы идут, а потом обязательно переведемся.

Хорошо хоть откровенны! А то ведь сколько приходится встречать продавцов, воспитателей детских садов, агентов по снабжению с дипломами зоотехников!

Девочки-щебетуньи уже всеми своими мыслями устремились в Москву. И никакого им не было дела до того, что ведь это о них

говорилось в Кремле, на февральском Пленуме, где думали, прикидывали, как закрыть доступ в сельскохозяйственные учебные заведения людям случайным, чтобы они не занимали места, по праву принадлежащие другим девочкам и мальчишкам, тем, что придут из колхозов и вернутся туда же, обогащенные знаниями и желанием работать.

И мне захотелось рассказать этим девочкам о заочнике нашей группы, хорошем деревенском пареньке Жене Михееве.

Он рос, как все деревенские мальчишки, влюбленный в шорохи и запахи подмосковного леса, в игру солнечных лучей на заре. Бегал на рыбалку, ходил в ночное. И ядрут нечестно. То ли, падая с лошади, ударился, то ли по какой-то другой причине, но заболел костный туберкулезом.

В селе Шапове, что под Калугой, все любили тихого, малоразговорчивого паренька. А когда стал он работать конником, старший по ферме не мог им нахвалиться. Пять лет он проработал, исполнительный, тихий, чуть-чуть неуверенный в себе. Так бы и продолжал работать конником. Но руководители колхоза решили иначе.

— А что если нам Женю на курсы послать! Парень скромный, работу любит, пусть поучится.

Через год, закончив курсы, Женя стал заведовать Больше-Шаповской фермой колхоза имени Горького. Ему доверили 350 коров, почти половину колхозного стада. Ответственность немалая: вовремя накорми, молоко на завод сдай. Но больше всего Женю волновало, как он будет «руководить» десятью доярками. Председатель советовал: лучшим твоим помощником будут знания. Авторитет — он на уважении людском строится.

Дело шло к осени. И Женя решил не терять времени. Сдал вступительные экзамены и поступил на I курс зоотехнического отделения нашего техникума.

Особенно трудно было первые два года, когда шли общеобразовательные предметы. Целый день на ферме. Вечером деревенские парни да девчата на гулянку идут, а ему недосуг: надо писать очередную контрольную работу.

С третьего курса дела пошли легче. Коневодство, общая зоотехника... Все это уже хорошо было знакомо ему по работе. Стало интереснее.

И вот теперь Женя, скромный деревенский пареньек, вместе с нами переходит на пятый курс.

Или вот история Кузьмы Иванювича.

Кузьма Иванович Дубинин работает общепитом на кирпичном заводе — профессия, далекая от сельского хозяйства. Раньше, до 1948 года, был колхозником. Многие ушли в те тяжелые годы в города. Но человека, уже поработавшего в сельском хозяйстве, вавство таяет назад, к земле. И вот, не побоявшись того, что семилетка окончена почти двадцать лет назад, он поступает в техникум, чтобы вернуться на село не с пустыми руками.

Но случилось беда в один из первых дней сессии. Кузьма Иваню-



вич упал и сломал руку. Все думали о том, что вот пропал у человека год. А ведь ему не восемнадцать.

А Кузьма Иванович съездил в поликлинику, наложил гипс и вернулся в общежитие готовиться к экзаменам. И что же? Сдал все экзамены Кузьма Иванович. Человека много может, когда дело ему по сердцу.

ТАК МЫ ЖИВЕМ

Нас восемнадцать. Дома у каждого своя работа, свои обязанности. Женя Михеев — «начальник» над десятью доярками. Толя Ашарин управляет отделением совхоза, а Рая Смирнова, несмотря на свою молодость, ведет кадрами большой птицефабрики. Но здесь нет начинающих и рядовых. Мы студенты.

Много стихов и песен написано о веселых студенческих годах, полных беззаботности и крепкой студенческой дружбы. Но кто не был заочником, тот никогда не изведает неповторимой радости экзаменационных сессий, — на целых сорок дней ты вырываешься из

привычной обстановки и весь отдавшись новым интересам.

Есть и у нас свои студенческие песни, но все-таки мы не обычные студенты, мы заочники. Например, как поведет себя студент, сдав очередной экзамен? Он пойдет в кино, побегит на свидание, во всяком случае, в этот день заниматься не будет. А заочники уже заглядывают в расписание экзаменов — какой там следующий? — и слова за книгу.

Конечно, и в кино пойти хочется, а кое-кому и на свидание. И тут спасибо «маме Веры». Она нас настаивает на путь истинный. Вера Дмитриевна Гаврилова совсем не похожа на «мamu Веру» из кинофильма «Девичья». И все-таки с легкой руки нашей молодежи это имя так к ней пристало, что иначе ее никто и не зовет. Сядет «мама Вера» скромненько в сторонке, раскроет учебник. Глядишь — вокруг нее целый кружок образовался: Рая Смирнова, Аня Бороденкова, Валя Тулякова и неизменный Кузьма Иванович. А у

«мамы Веры» трое детей: старший, Володя, учится у нас же в техникуме, на втором курсе.

Недавно я познакомилась с птичницей Глебской птицефабрики Зиной Мецаниновой. Она одна из

не больше 300—500 тысяч яиц. А Зина Мецанинова как бы шагнула в завтрашний день. И совсем не будет преувеличением, если я скажу, что эта девушка — вестница интенсификации, кото-

рая властно вторгается во все отрасли сельского хозяйства.



В этом году Зина поступила на первый курс нашего Волоколамского техникума. С Глебской птицефабрики у нас в техникуме учится 63 человека. Пополняется наш техникум новыми людьми.

«И вот сдан последний экзамен. Получили мы на следующий семестр программы, учебники, выслушали напутствия преподавателей — и по домам. Встретимся мы в нашем доме с колонами следующей весной на последней экзаменационной сессии. А там вскоре и госэкзамены.

Разойдутся мои товарищи-заочники в разные стороны с ясным чувством, что каждого ждет дорогое ему, хорошо освоенное дело.

первых «миллионеров» в Московской области. Не ищите в словаре объяснения этого слова. В руках таких, как Зина, оно приобрело совсем иной смысл.

Есть у нас в стране миллионеры-летчики, миллионеры-шоферы, миллионеры-ткачки, а теперь появились у нас в Московской области и три миллионера-птичницы — каждая из них за год собирает более миллиона яиц. При современном же уровне механизации работница обычно собирает за год



По профессии педагог. Несkolько лет преподавал русский язык и литературу в одной из московских школ, а затем — в ГИТИСе. А. Аронову — 29 лет.

Александр Аронов

Сирень

Экзамены. Сирень пылает.
Столы усталые стоят.
Насколько лето позволяет,
Настолько телефоны злят.
Накапливает тополь лух,
Прохлада классы наполняет,
Лилова «химия» на слух,
И до жары, с утра до двух,
Здесь на столах сирень пылает.
Есть город. Полдень. Сто машин.
И ветер улицу полощет.
Покачиваясь, через площадь
Плывет сирень. Она курится.
Ее огонь растормошил,
А за углом, как за кулисой,
Стоят и смотрят сто машин.
Ну, что же, правда, были дни,
И приходили и серели,
А вот сейчас пора сирени,
Мы с нею в городе одни.

А вы не встретите того,
Что стало старыми словами,
Что, может быть, сто раз мертво
И все-таки осталось с вами,
А к вам не кинется она
Из неожиданного леса,
Взбесившаяся тишина
В зелено-желтых пятнах лета?
Да что вы, город не арена,
О будничность, вернись скорей!
Но, как огромная сирень,
Стоит над городом сирень.
О сколько жизней невпопад!
Меня по городу носило
Цветоскольжение, цветосила,
Цветоворот и цветопад...
Нет, так нельзя. Я постарал.
Я обжигался многократно...
Уйди, не жди меня, сирень,
Не жги меня. Вернись обратно.



Роберт ВИТОЛНИЕК



Серебристые ОБЛАКА

Роберту Витолниеку нет еще семнадцати лет. Он живет в живописном городке Парогре, неподалеку от Риги. Роберт почти ровесник одной из самых молодых наук, радиоастрономии. Занимается он этой наукой пять лет. За это время успел сделать научное открытие, которое в дальнейшем поможет ученым еще глубже проникнуть в сокровенные тайны природы.

Вот что об этом говорилось в сообщении ТАСС:

«Ученый совет астрофизической лаборатории Академии наук Латвийской ССР одобрил новое исследование о загадочном явлении природы — серебристых облаках. Новые сведения получены юношей Робертом Витолниеким...»

Сейчас Роберт работает в Риге радиомонтажником и одновременно заканчивает заочно одиннадцатый класс вечерней школы. В свободное время он изучает высшую математику, ядерную физику, радиоастрономию. Готовится поступить в университет...

Все началось с увлечения астрономией. Мы тогда жили на берегу Балтийского моря, в городе Лиепая. Моя мама работала юристом, отец — архитектором. Сам я ходил в пятый класс и учился играть на скрипке в детской музыкальной школе.

Однажды, в день экзаменов, случилось так, что я намного раньше вышел из дому. Времени было еще достаточно, и я решил зайти в городскую библиотеку послушать лекцию про Марс. Зайти было просто, а вот выйти труднее — настолько увлек меня загадочный звездный мир, про который рассказывал лектор.

Уходя я с лекции чуть не со слезами. Дело в том, что мне хотелось дослушать лекцию, а надо было спешить на экзамен в музыкальную школу.

А потом — книги. Вначале я прочел «Занимательную астрономию», затем — целую гору научно-популярных книжек о космосе и звездах. Почти все лето я ходил в читальный зал, приносил книги по астрономии домой, и вместе с мамой мы не только читали, но и вечерами со звездным атласом в руках отыскивали на небе знакомые звезды и созвездия. Между прочим, моя мама тоже с того времени настолько увлеклась астрономией, что и сейчас занимается историей этой науки. И мне это во многом помогает: ведь она знает хорошо восемь иностранных языков и переводит для меня специальную литературу по астрономии.

Тогда я серьезно мечтал стать первым космонавтом. В книгах я узнал, что попасть в далекие звездные миры можно только с помощью ракет. Так у меня родилась мысль смастерить модель ракеты самому.

Я взял обычную папку и накрутил на нее в несколько слоев бумагу, промазывая каждый новый слой столярным клеем. Получился корпус ракеты. К нему я приладил жестяной стабилизатор, а головку выточил на токарном станке из дерева. Несколько

первых таких моих ракет, начиненных обрезками фотопленки и спичечными головками, взвились на высоту 200—300 метров и пролетели расстояние в несколько сотен метров. Стартовая площадка была наклонной, это позволяло запускать ракеты на более дальние расстояния.

Не знаю, быть может, я бы так и увлекся ракетами, но неожиданно со мной случилось несчастье. Произошло оно оттого, что я плохо знал подводный мир.

В то время я увлекался и подводным плаванием. Из резиновой грелки и куска оргстекла мастерил себе маску для ныряния, из резиновых автомобильных камер — ласты. Одним из первых в Лиепая я начал нырять в маске и охотиться под водой. Однажды я утонул в море крошечных медуз. Таких здесь еще никто из старожиллов не видел. Они диаметром в пять сантиметров, на спинке у них коричневый крестик. Я набрал в папку этих забавных медузок и пересадил их дома в самодельный аквариум. А на другой день я не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Острая боль разламывала поясницу. Так, полупарализованный, я пролежал несколько месяцев. Врачи думали, что это полиомиелит. Но лишь впоследствии я узнал, что этой болезнью обязан тем самым медузам-крестовникам, которых ловил в море.

Когда боли немного стихли, я смог брать в руки книги. Но все время приходилось лежать в постели. День за днем я перечитывал одну за другой книги по астрономии, переходя от научно-популярных к более серьезным. Мой отец, видя, насколько я увлекся астрономией, подарил мне замечательный полевой бинокль. Теперь я мог наблюдать и за теми звездами, которые не видны простым глазом. Учился я заочно — читал учебники по школьной программе, выученное рассказывал маме.

К следующему лету болезнь прошла. Я снова мог

ходить, бегать, купаться. Как-то я был в Риге и решил зайти в астрофизическую лабораторию Академии наук Латвийской ССР, чтобы рассказать о своем интересе к астрономии и, если возможно, получить советы для дальнейшей работы.

Директор лаборатории, латвийский ученый Ян Икаушек внимательно выслушал меня, задал мне несколько вопросов. Уже не помню, каких, но по астрономии. Я легко на них ответил, потому что хорошо знал этот раздел про звезды. А после этого я попросил его дать мне какое-нибудь задание.

И задание я получил. Мне поручили наблюдать за звездой Дельта созвездия Цефея и составить годовой график изменения яркости этой звезды.

Дело в том, что цефеидами названа группа звезд, которые периодически изменяют свою яркость, звезды загораются то ярче, то слабее. Они уже достаточно хорошо изучены, и только потом я понял, что мне поручили наблюдать за Дельтой созвездия Цефея, чтобы проверить мою добросовестность в работе, дисциплинированность и усидчивость. Я сейчас довольно отчетливо представляю себе, как мог выглядеть одиннадцатилетний мальчишка, который пришел в Академию наук предлагать свои «услуги».

Скажу откровенно, это был серьезный экзамен. Каждую ночь, когда кусочек неба над головой очищается от облаков, надо выходить для наблюдений на улицу. Независимо, какая стоит погода — мороз или ветер, сырая осень или сухой, теплый вечер. Главное было в том, чтобы не пропустить ни одного дня. Работа требует напряжения: надо стоять, запрокинув голову и глядя почти в зенит неба. Стоять десятки минут и отыскивать знакомые звезды рядом с Дельтой Цефея, чтобы по ним сравнить яркость Дельты. Но с заданием я справился и через год принес в астрофизическую лабораторию точный график изменения яркости.

Теперь меня встретили очень приветливо. И даже приняли во Всесоюзное астрономо-геодезическое общество — ВАГО. Вероятно, тогда я был самым молодым членом этого общества: мне едва исполнилось двенадцать лет.

Приняли меня в ВАГО и дали новое задание: наблюдать еще две звезды. Но это была уже малозначущие звезды.

А спустя еще немного времени, когда и это задание было мною выполнено, я узнал, что основной работой ВАГО во время Международного геофизического года будет наблюдение загадочных серебристых облаков. И я немедленно стал интересоваться всем тем, что написано об этих облаках.

Серебристые облака — странное явление природы. В основном их можно видеть только в северных широтах. Специальные исследования показали, что они находятся на высоте 82 километров и мчатся со скоростью до 300 километров в час.

Они таинственно появляются только в летние месяцы. Видеть их можно после захода солнца. Иногда они так слабо заметны, что разглядеть их может только тренированный глаз астронома. А иногда их яркость возрастает настолько, что при этом свете можно читать книгу. Серебристые облака движутся над горизонтом иногда в виде сигар, иногда — в виде гребешков, полос или закрученных.

Но до сих пор не могли предсказать тот день, когда они появятся. А о происхождении серебристых облаков лишь строились различные гипотезы.

Вот почему я так хотел принять участие в наблюдении этих таинственных облаков. Была у меня и затейная мысль: узнать что-то новое об этих облаках, разгадать их тайну. И я попросил директора ас-

трономической лаборатории, чтобы меня приняли наблюдателем на станция в Сигуде.

Наблюдательный павильон в Сигуде — это небольшой дощатый домик, одна из стен которого может опускаться вниз. Перед этой стеной стоит фотоаппарат для аэрофотоъемки. У него очень светосильный объектив с большим фокусным расстоянием — это позволяет снимать даже слабо освещенные серебристые облака на расстоянии в несколько сотен километров.

Наблюдения требуют напряженного внимания в течение всей ночи, до самого рассвета. Иногда приходилось вести наблюдения одному. Рядом с наблюдателем стоит приемник, настроенный на волну Науенской обсерватории, которая дает секундные импульсы точного времени. В руке — хронометр. Другой рукой надо открывать затвор аппарата и все время вести записи в журнале наблюдений, записи туда температуру воздуха, давление, время съемки, азимут, по которому направлены объектив, и другие сведения. А вся работа ведется с точностью до секунд: ведь надо, чтобы данные наблюдателя в Сигуде совпали с данными других наблюдателей — в Тарту и Таллине. Только по таким точным результатам можно вычислить скорость и высоту каждого облака.

И хоть работа была нелегкой, но каждое утро на рассвете, когда я садился в проходящий ленинградский или таллинский поезд, у меня было отличное настроение. Ведь это же очень здорово — принимать участие в научной работе вместе с учеными — астрономами и физиками!

И чем больше я занимался наблюдениями серебристых облаков, тем больше мне не давал покоя вопрос, что они собой представляют. Я знал, что даже небольшое открытие в этом загадочном явлении может послужить той ипостасью, с помощью которой можно будет ученым сделать и другие открытия.

И все же я кое-что нашел. Иногда мне кажется, что это было случайно. А иногда — что это просто было подготовлено всей предыдущей работой. А вернее всего — и то и другое вместе.

А случалось вот что. Однажды я встретил в иностранном радиожурнале удивительно знакомую кривую. Откровенно говоря, я мог узнать эту кривую где угодно, — настолько я ее выучил наизусть. Это был график появления ионосферного слоя E_с в течение одного года. Во время возникновения слоя E_с наблюдается сверхдальний прием телевизионных передач. Кривая этого графика была очень похожа на кривую появления серебристых облаков.

Но почему же так похожи эти графики, почему так точно совпадают все линии кривых? Может быть, это было случайно и только тем летом, о котором идет речь в статье радиолобителя?

Надо было убедиться, что это не случайно. А для этого необходимо было связаться с телеоблудителями, которые ведут сверхдальные приемы. Адрес такого телеоблудителя я достал довольно быстро. Это был Леопольд Озолс — он один из первых в Прибалтике начал принимать на свой телевизор Англию, Францию, Италию и Америку. К нему я и обратился за советом.

Леопольд Озолс показал мне все свои журналы записей приема сверхдальних телепередач. Из записей его наблюдений я построил графики, которые сравнил с графиками появления серебристых облаков за эти годы. И что же? Во всех случаях кривые совпадали.

Значит, существует какая-то взаимосвязь между сверхдальным приемом телепередач и серебристыми облаками. Но какая?

Многие, конечно, знают, что Землю окружает ионизированная оболочка, «крыша» — ионосфера. Длитель-

ные, короткие и средние волны в обычных условиях не могут пробить эту оболочку, отражаются от нее, и поэтому с их помощью возможно вести прием радиопередатч даже на очень больших расстояниях.

Другое дело — ультракороткие волны. Ионосфера, это космическое «зеркало», не отражает их, и они пронизывают ее почти в любом месте. Поэтому принимать ультракоротковолновые передачи можно лишь в пределах прямой видимости передающей или ретрансляционной станции. А известно, что телепередачи ведутся именно на ультракоротких волнах.

Но иногда бывает и так, что неожиданно телезрители начинают принимать передачи за сотни и тысячи километров. Это связано с появлением в ионосфере особого уплотненного слоя, который обычно отражает радиоволны частотой от 40 до 100 мегагерц. Этот слой называется E_s .

По совету Леопольда Озолса я переоборудовал наш домашний телевизор «Рекорд». Чтобы повысить его чувствительность, я, к ужасу моих родителей, расширил его схему, перестроил его на других лампах, впалял дополнительные сопротивления, конденсаторы. Во дворе я поставил специальную директорную антенну с параболическим отражателем — тоже по чертежам Озолса.

Несколько дней настройки — и вот уже с помощью моего телевизора я могу регулярно принимать Тарту, Куудзигу, Шяуляй, Каунас и другие города. Антенна обеспечивала хорошую избирательность, она обладала большим усилением, и ей не мешали промышленные помехи.

Теперь можно было переходить к моему эксперименту. В тот день было еще светло, когда я заметил на экране телевизора темные полосы. Я чуть не запрыгал от радости. Это было как раз то, чего я ждал. Вслед за этими полосами должны появиться тест-таблицы телевизионных станций. Ждать пришлось десятки минут — и тест-таблица появилась. Шла передача лондонской телестудии. Чуть заметный поворот ручки — и на экране Италия. В этот вечер я впервые смотрел зарубежные передачи через ионосферу.

А на другой день я поехал в астрофизическую лабораторию и сказал там, что через два дня надо ждать появления серебристых облаков. Могли ли мне поверить? Ведь этого появления не предсказывали ни ученые, ни наблюдатели, и до сих пор не было никакой возможности составить хотя бы приблизительный прогноз этого явления.

Но облака появились в точно назначенный мной день. Я знал, что они появятся. Я ожидал их. А потом еще и еще раз принимал далекие телевизионные станции — и сообщал о возможности очередного появления серебристых облаков. И когда все убедился в моей правоте, мне поверили. И немедленно потребовали объяснения. Теперь уже стало ясно, что между слоем E_s и возникновением серебристых облаков существует тесная связь.

Конечно, это не было большим открытием, но удалось установить зависимость между слоем E_s и серебристыми облаками. Быть может, существует какая-то общая причина, которая способствует появлению и того и другого. Например, солнечные вспышки. Но выяснить это — уже дело времени. Наблюдения и их анализ покажут причины возникновения слоя E_s и серебристых облаков.

Во всяком случае, взаимосвязь между слоем E_s , серебристыми облаками и солнечной активностью поможет еще глубже проникнуть в тайны космоса и изучить их. А явление серебристых облаков даст возможность изучить влияние солнечной активности на



Роберт Витолник за регулировкой аппаратуры.

многие процессы, происходящие в верхних слоях атмосферы.

Но я считаю, что сделано еще очень и очень мало. Предстоит вперед большая и напряженная работа. А для этого надо иметь хорошую аппаратуру. Сейчас я монтирую специальные автоматические приборы, которые с большой точностью будут записывать наблюдения за серебристыми облаками и слоем E_s , а у себя дома оборудую наблюдательную станцию, с которой можно будет вести не только фотометрические, но и радиофизические исследования серебристых облаков. Словом, к этому делу я готовлюсь основательно и с первых же появлений серебристых облаков начну комплексное наблюдение и изучение этого странного явления.

В этом году я заканчиваю одиннадцатый класс, в котором учусь заочно. А осенью надеюсь поступить в университет — конечно, на физический факультет.

В письмах, которые мне сейчас присылают с разных концов страны, меня часто спрашивают о моих увлечениях — «хобби». У меня их немало. Люблю подвальный спорт, коллекционировать различные значки, старинное холодное оружие — шпаги.

Но, конечно, сейчас все это — дело второстепенное. Главное для меня увлечение — радиостроение. В ней еще столько неисследованного, столько еще предстоит открыть! Вслед за серебристыми облаками появится еще немало таких же интересных и увлекательных загадок космоса. А открывать их — это все равно что открывать новые, неисследованные планеты и звездные миры.

Тамара ЮЛЬЕВА

Автор этого очерка — молодой инженер-химик. Окончила Московский химико-технологический институт имени Менделеева. Несколько раз выступала в газетах с корреспонденциями. В центральной прессе печатается впервые.



В ПОИСКАХ

РОМАНТИКИ ДАЛЬНИХ ДОРОГ

Озеро называлось Сердце. Оно затерялось в горах близ Слюдянки и не попало на географическую карту. Только в местных туристских маршрутах можно увидеть его небольшой овал. Сотни, тысячи ручейков, словно крошечные сосуды, сбегали к озеру с вершин Хамар-Дабана. От этого озеро действительно было похоже на сердце.

Мы стояли и любовались холодным блеском озерной воды, когда вдруг хлынул дождь. Кинулись искать убежище и нашли его в тихом домике метеорологического поста. На столе лежала раскрытая книга. Я перевернула несколько страниц... и потеряла счет времени... Бригада верных, экспедиция, Василий Зырянов, кембрийская нефть, Хамар-Дабан...

Было ясно, всего прочесть не успею, но хотелось знать, что будет дальше, и я жадно глотала главы романа.

...Издавна замечали, что на поверхности озера Байкал плавают нефтяные пятна, но нефти нигде не могли найти. Работая в одной из байкальских экспедиций, геолог Василий Зырянов предположил, что она лежит глубже, чем ее ищут, — в кембрии.

Миллионы лет тому назад шумело на Земле Кембрийское море. Тяжелые, свинцовые волны жадно лизали сушу, наступали на нее, проглатывали. Целые континенты оказались на морском дне, где шла полная чудес и превращений жизнь.

Из древних губкообразных организмов складывались известковые рифы, между стеблями водорослей жили первые на нашей планете животные — трилобиты. Смешные, похожие на мокриц, но с панцирем. Так сказать, предки современных раков. Жили, умирали, опускались на дно. Их заносило песком, илом. Этот период в жизни Земли получил название кембрийского, а его отложение геологи называют «кембрий».

Предположение Зырянова о кембрийской нефти было встречено с недоверием: слишком слабо была развита органическая жизнь в кембрийский период, чтобы в отложениях могла образоваться нефть. Так считали многие ученые, сторонники органической теории происхождения нефти.

Но Зырянов не сдавался. Он отправился в Якутию, где слои кембрия выходят на поверхность земли. И нашел кембрийскую нефть, несмотря на невероятные трудности поисков, несмотря на преграды, возникавшие на его пути...

Дождь неуверенно паралал по стеклу, просился на огонек.

Уютно поскрипывали полови-

цы свежесмытого пола, и откуда-то из тишины родилась песня.

Шумят вековые таежные ели.
Летит меж стволов ветерок.
Мы снова туристские песни
запели,
Романтики дальних дорог...

Я закрыла книгу. С обложки смотрел на меня юноша. В сапогах, засунув руки в карманы пальто, шагал он среди тайги навстречу чему-то невидимому. «Логман Кембрийского моря», — прочтала я. Наверху автор — «Ф. Пудалов».

МИРОВОЙ ОКЕАН НА ПРОЕЗДЕ ВЛАДИМИРОВА

На маленьком подмосковном озере («торфянике») коллектив ученых разгадывал тайну происхождения нефти. Самые невероятные слухи ходили об этих работах. Говорили, будто там берут озерный на и получают из него нефть. Все это было необычно и загадочно.

По заданию редакции я пошла на проезд Владимирова, в лабораторию доктора геолого-минералогических наук профессора В. М. Семенова, возглавляющего исследо-

ЗЕМНОЙ КРОВИ

вания, проводимые на этом подмосковном озере.

В небольшой комнате, сплошь заставленной вытяжными шкафами, меня встретил худощавый подвижной человек. День был яркий — солнце било в окно, отражалось в многочисленных колбах, в зрелых глубоко посаженных глазах В. М. Сениюкова.

С первых же минут беседы я понял, что пытаться записывать бесполезно: так стремительно рассказывал Василий Михайлович о работе своей лаборатории.

— Вопрос о происхождении нефти и газа, — говорил профессор, — тесно связан с вопросом происхождения жизни на Земле. Что родилось первым: простейшие углеводороды, а потом белок, жизнь? Или жизнь, а потом нефтяные углеводороды? До сих пор нет четкого ответа на эти вопросы.

В тридцатых годах ученый-микробиолог Т. А. Гинзбург-Карагичева обнаружила микроорганизмы в нефтяных скважинах. Они жили на больших глубинах, а питанием для них служили нефтяные углеводороды. Питались нефтяными углеводородами! Значит, разрушали их, изменяли состав нефти, приводили к образованию других соединений.

Возникло новое направление в науке — микробиология нефти, — без которого невозможно ответить на вопрос, как произошла нефть. Вот почему в лаборатории геохимию тщательно следят за жизнедеятельностью бактерий. Здесь изучают поведение микроорганизмов в зависимости от сил земного магнетизма. Все живое на Земле находится в тесной взаимосвязи с ним, но человек обычно не замечает этих сил так же, как не замечает выпуклости Земли.

Василий Михайлович рассказывает об эпохах, когда происходило формирование Земли. Извержения вулканов, горообразование, землетрясения — характерные черты того времени. Как же вели себя при этом живые организмы? Какие изменения претерпевали?

— Мы взяли микроорганизмы, — говорит профессор Сениюков, — и поместили их в совершенно новую среду, в такое магнитное поле, где расположение севера и юга изменено по отношению к магнитным полюсам Земли. Наша задача — проследить, как будут жить и развиваться микроорганизмы в этих условиях. Вот здесь, в этих закрытых резервуарах, так сказать, два мировых океана — Северный и Южный. Микроорганизмы лишены солнечного света и подвергаются искусственному облучению. По-

добные работы мы проводим и на озере.

Телефонный звонок прерывает нашу беседу. Профессор рассказывает кому-то о своей последней поездке в Сибирь, и вдруг я слышу фразу, которая привлекает мое внимание.

— Знаете, — Василий Михайлович улыбается своему невидимому собеседнику, — в течение тридцати лет, когда на каких-нибудь совещаниях произносили «кембрий»,



все оборачивались ко мне с выражением явной иронии. И вот теперь Марково — лучшая награда для меня...

Кембрий! Шевельнулось смутное воспоминание. «Лоцман Кембрийского моря», Василий Зырянов, геолог...

Взволнованная, уходила я от Василия Михайловича. Необходимо было обдумать все услышанное в лаборатории, поглубже познакомиться с теориями происхождения нефти.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

О рождении нефти, о ее таинственных родителях существуют разные гипотезы.

Сторонники неорганической теории происхождения нефти считают, что нефтяные углеводороды образовались под действием воды на карбиды металлов (карбидная теория Менделеева). Некоторые

ученые приписывают честь рождения нефти магматическим очагам (вулканическая теория).

Эти на первый взгляд стройные и химически обоснованные теории не могут объяснить ряд фактов и плохо согласуются с геологическими данными. Общепринятой в настоящее время считается органическая теория происхождения нефти, согласно которой нефть образовалась из остатков растений и животных путем сложных биохимических превращений.

Познакомившись с рядом работ ученых-нефтяников, я захотела подробнее узнать о самом В. М. Сениюкове. К тому же не давала покоя случайно оброненная в лаборатории фраза о кембрии.

...Лютная шершавая бумага многотиражки Московского нефтяного института. Год 1931-й. Листаю подшивку. С газетного листа на меня глядят знакомые глаза. Русская вышитая рубаха, упрямый вихор выбивается из-под кепки. Внизу — текст: «Сениюков, секретарь ячейки геологов, лучшей в нашей организации. До ВТУЗа несколько лет находился на комсомольской работе, был членом райкома, член ВКП(б). Избран секретарем комсомольской ячейки Московского нефтяного института».

Скупые строки. А за ними...

...В семье рабочего-лесоруба Михаила Сениюкова было одиннадцать человек. С раннего детства Вася помогал отцу. Зимой — на лесоседелках, летом — на плотах. Печора, Выть, Вытегра, Северная Двина, Мезень — здесь учился Вася трудному искусству плотовода. Здесь вырабатывался его характер.

Отец, видя в сыне помощника, кормильца семьи, не отпускал его в школу. А Васе страстно хотелось учиться. Три раза убежал он из дома, но холода и болезни не давали довести задуманное до конца. Только в 1925 году девятнадцатилетнему Василию Сениюкову удалось поступить в Удорскую семилетку.

В 1926 году Усть-Вымской комсомольской организацией Сениюков был послан в совпартшколу. Учебка, комсомольская работа и, наконец, Москва. Сюда, в нефтяной институт, командировал Сениюкова обком ВКП(б) Коми.

Еще будучи студентом, В. М. Сениюков принимал участие в геологических экспедициях, искал нефть в районе озера Байкал. Нефти не было. Но Василий не сомневался, что она должна быть. Иначе откуда же нефтяные пятна, ко-

торые издавна появляются на поверхности озера? А что, если нефть лежит глубже, чем ее ищут? В кембрии, например!

Предположение Сениюкова противоречило мнению большинства ученых, но молодого геолога смутить было нелегко. Дни и ночи проводил он над книгами, лекциями, пропадал в библиотечках. Может ли вообще нефть быть в кембрии? Академик Обручев писал о том, что органическая жизнь уже была в докембрийский период. Значит, в кембрийский период могла образоваться нефть. И. М. Губкин, учитель В. М. Сениюкова, талантливый ученый-нефтяник и чуткий педагог, поддерживал геолога.

Итак, во что бы то ни стало узнать, есть в кембрии нефть или нет, — такую задачу поставил перед собой Сениюков и взялся за ее решение со свойственной ему горячностью и настойчивостью.

Отложения кембрия выходят на поверхность в Якутии. Значит, надо отправляться туда. Но где взять средства, людей, оборудование? Неутомимо выступал Сениюков на конференциях, совещаниях в различных организациях. Агитировал, убеждал, просил и... добился разрешения направить экспедицию в Якутию.

Когда экспедиция понаблюдил буровой станок, Сениюков обратился за помощью к наркомому тяжелой промышленности Сергею Орджоникидзе. Двадцать один буровой станок был тогда в стране. Всего двадцать один. Но нарком поверил геологу: один из станков был отправлен в Якутию. «Если бы все мы были такими упорными», — сказала С. Орджоникидзе о Сениюкове, — мы бы построили социализм в десять раз быстрее... Этот человек — таран».

Якутия, река Толба. Буровой станок работает днем и ночью. Пройдены десятки метров, а нефти все нет. Неужели предположение Сениюкова о кембрийской нефти неверно? Неужели пропала средства, вложенные в экспедицию? Глубина триста метров. Бур вырывается в толщу земли. И вдруг нефть появилась. Долгожданная. Драгоценная. Кембрийская. Это было в 1935 году.

Передо мной научно-технические журналы за 1935—1938 годы с первыми опубликованными работами Сениюкова. Статьи сопровождаются примечаниями редакции: «Вопрос



Профессор В. М. Сениюков (справа) со своим учеником А. К. Вобровым. 1964 г.

о нефтеносности кембрия Сибири представляет собой новое явление большого научного значения, ибо известно, что в пределах Советского Союза нефтеносность кембрийских отложений отмечается впервые. Автора этих статей называют «...молодой энтузиаст — исследователь нефтеносности Сибири». В статьях излагались результаты экспедиций в Якутию. Впервые указывалось на то, что байкальская нефть находится, вероятно, в кембрии.

В своих розысках как-то я усамшиал от одного из геологов:

— Когда говорит о Сениюкове, моментально по ассоциации возникает кембрий. Долгие годы Василий Михайлович доказывал существование кембрийской нефти, небольшое количество которой было получено в Якутии еще в тридцатые годы. Теперь его предположение полностью подтвердилось. Ведь знаменитый фонтан в Марково, в Иркутской области, ударивший в марте 1962 года, — это кембрийская нефть. Последнее время профессор почти безотрывно занимается вопросом происхождения нефти. Да, о нем написан роман.

— Роман? Какой?

— «Лодьян Кембрийского моря».

Василий Зырянов в книге — это Василий Сениюков в жизни.

И сразу мне вспомнились Хамар-Дабан, озеро Серда, метеорологический пост. И юшпа, шагающий по тайге...

КАК УЗНАТЬ, ЧЕМ НАЧИНЕН ПИРОГ

Карта была похожа и непохожа на обычную. Знакомые очертания Советского Союза, тонкая сетка рек и дорог. Только около названий населенных пунк-

тов высаты белые и черные пирамиды. Это нефтяные вышки.

— Скажины опорного бурения, — поясняет Василий Михайлович Сениюков.

Геологические эпохи, сменя одна другую, оставляли после себя следы — отложения различных пород, остатки умерших животных и растений. Поэтому земля похожа на огромный слоеный пирог. Чтобы узнать его начинку, надо бурить скважины до самого кристаллического фундамента, а по дороге отбирать пробы и смотреть, что представляет собой тот или иной слой. Данные, полученные при таком бурении, являются для геологов как бы опорой

в познании строения нашей планеты. Поэтому метод и получил название «опорный».

— Черные вышки — это пробуренные скважины, белые — значит, еще бурят. С их помощью можно составить точную карту природных богатств страны.

Долгое время сомневались в необходимости бурения опорных скважин. Ведь каждая сверхглубокая скважина — целое предприятие, она стоит много денег. Но в конце концов опорный метод бурения получил путевку в жизнь. Опорные скважины были заложены в юго-восточной части Сибири. Из одной, пробуренной в Иркутской области, в селе Марково, ударил нефтяной фонтан. Нефть была из отложений кембрия. На этот раз это были не граммы драгоценной жидкости, как в 1935 году на реке Толба, а тысячи тонн светлой, солнечного цвета нефти.

Это была большая победа всех, кто верил в кембрийскую нефть. Большая победа сибирских ученых и геологов, которые на протяжении десятков лет искали промышленную нефть в Восточной Сибири. И она откликнулась, кембрийская нефть. Заговорила. Звук ее голоса слышался за несколько километров от Марково. Недовольная, что люди разбуривали ее от миллионлетней спячки, выравнявши из скважины, она дышала смертоносным газом, грозила затопить все вокруг. Но разведчики недр обуздали стихию.

Можно назвать сотни имен победителей в борьбе за кембрийскую нефть. Это В. И. Ефименко, оператор, который первый узнал о приближении нефти, первый увидел ее, бросился отбирать пробы для анализа и погиб, отравившись газом. Это сибирский гео-

лог А. К. Овченков, заложивший марковскую скважину, кандидат геолого-минералогических наук Г. А. Кузнецов, отстаивавший право на разведочные работы в Прибайкалье, и многие, многие другие геологи, буровики и, конечно, В. М. Сеников, авдвевший в жизнь метод опорного бурения.

С глубокой благодарностью вспоминаю Василия Михайловича академика И. М. Губкина и В. А. Обручева.

— Обручев дал мне большую силу ориентации, положительно ответил на вопрос, существовала ли органическая жизнь до кембрия. Его выводы позволяли доказывать нашим противникам, что органическая жизнь в кембрии получила мощное развитие.

В кабинете Василия Михайловича, на стуле, придвинутом к стене, лежат десять аккуратно переплетенных томов рукописей. «Кембрий мира» — написано на их обложках. Это результат работы, которую вел Сеников с 1940 по 1949 год. Сейчас Василий Михайлович посылает книгу повыми данными.

Василий Михайлович — страстно увлеченный человек, для него вся жизнь — работа, и работа — это его жизнь. Когда слушаешь его, незаметно завидуешь геологам, этой замечательной и мужественной профессии.

И СНОВА ОЗЕРО...

Называлось оно Лесное. Говорят, когда-то вокруг него шумели заповедные леса и где-то совсем рядом бесчинствовала помещица-самодурка Салтычиха...

Какое же отношение имеет подмосковное озеро к происхождению нефти?

Еще в 80-х годах прошлого столетия узнали о существовании в обычном озерном иле микроорганизмов, способных разлагать органическое вещество. На болотах можно наблюдать выделение пузырьков газа — метана. Это результат деятельности микроорганизмов, которые «едят» все, что, отмирая, опускается на дно водоема.

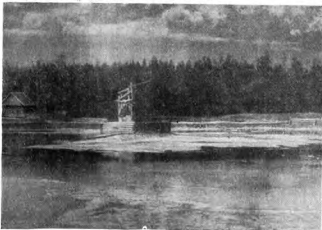
Согласно органической теории происхождения нефти, нефтяные углеводороды образовались из остатков растений и животных путем сложных биохимических преобразований.

Открытие микробиологом Т. А. Гизбург-Карагичевой микробов, живущих на больших глубинах и питающихся нефтяными углево-

дорадами, подтвердило участие микроорганизмов в нефтеобразовании. Поэтому многие ученые (и среди них учитель В. М. Сеникова академик И. М. Губкин) считали, что именно органические, или, как их называют, биогенные, илы и образовавшиеся из них породы являются тем материалом, из которого возникла нефть.

Василий Михайлович решил тщательно проследить за тем, как образуется этот материал, какие микроорганизмы участвуют в про-

микроорганизмы, а за ним ухажив и рыба. И наоборот, в туман, в дождь клевет всегда прекрасный: уровень воды повышается, рыба плавает на поверхности. Так и у нас: спустили воду, понизили уровень — вот вам и регрессия моря в модели. Все живые организмы — микробы, бактерии — удирают на дно, образуют скопления, концентрируются. Подняли уровень — трансгрессия моря. Живые организмы рассредоточиваются по всему объему.



Озеро Лесное.

цессе, почему в пресных озерах и болотах идет только образование торфа и что надо сделать, чтобы появились нефтяные углеводороды. С этой целью и было начато исследование на Лесном.

Во времена геологических эпох, например, в кембрийский период, моря наступали на сушу (так называемая трансгрессия моря), потом отступили (регрессия моря), оставляя после себя донные осадки. Можно ли сейчас создать условия, в которых происходило бы то же, что и миллионы лет назад?

Озеро Лесное соединили трубами с другим водоемом, а всевозможные притоки воды ликвидировали. Это позволяло менять уровень воды в озере.

— Переливание из пустого в порожнее, — шутится Сеников, — а по существу... Представьте себе, сидит на озере рыбак. Погода великолепная, солнце, а рыба не ловится. В чем дело? Вода испаряется, незаметно для человеческого глаза снижается уровень озера. Уходит глубже планктон, то есть

Василий Михайлович рассказывает, что на озере моделируются вибрации земной поверхности, ведутся наблюдения за воздействием на живые организмы силовых линий магнитного поля, изучается влияние радиоактивного излучения. Так в течение нескольких лет идет кропотливая работа по отгадке тайн природы.

К озеру Лесному стекают результаты исследований биологов, химиков, почвоведов, микробиологов, ведущих наблюдения за пресными и солеными водоемами нашей страны. Лесное — это маленькое, но энергичное сердце, работающее в такт мыслям, делам ученых и инженеров.

На берегу озера расположено несколько домиков. Это озерная лаборатория. Здесь исследования ведутся в резервуарах, заполненных слоями глин, озерного ила и песка. Никаких внешних воздействий: ни повышенного давления, ни повышенной температуры — только песок, глин, ила и вода...

Путем экспериментов удалось

получить нефтеподобные продукты, которых не было в озерном иле. Газ, выделившийся в результате реакции, содержал не только метан, но и его производные.

— Может быть, метан и есть та петелька, с которой микроорганизмы начинают вязать сложную сеть нефтяных углеводородов? — Василий Михайлович лукаво смотрит на меня и легко бежит дальше по деревянным мосткам, что, словно параллели, опоясали поверхность озера.

Как же на практике, в промышленном масштабе проверить правильность сделанных предположений, уточнить роль микроорганизмов в нефтеобразовании?

Василий Михайлович обратился за помощью к Елшано-Курдюмскому месторождению Саратовской области. Здесь, на Елшанке, в трудные годы войны вместе с другими геологами В. М. Сеюкова открыл газовое месторождение. Отсюда был проложен первый в Союзе крупный газопровод Саратов — Москва. Разведка Елшанского месторождения, кстати говоря, велась в очень тяжелых условиях: не хватало людей, оборудования, плохо было со строительными материалами. Ил для буровых вышек вылавливали в ледяной воде. Этими работами руководил Василий Михайлович — пригодилась юношеская профессия лесосплавщика.

Когда некоторые скважины Елшано-Курдюмского нефтегазового месторождения стали давать меньше нефти и газа, в них закачали специально обработанный ил со дна Лесного. Расчет был прост: если производительность скважины уменьшилась — значит, поры пласта, по которым движутся нефть и газ, закупорены тяжелыми нефтяными остатками, смолой. Микроорганизмы, содержащиеся в иле озера Лесного, питаются нефтяными углеводородами, должны разрушить смолы, и тогда нефть и газ смогут опять свободно передаваться по пласту.

Результатов ждали с нетерпением. Прошло несколько суток, и скважины стали давать нефть и газ в значительно больших количествах, чем прежде. Газ содержал меньше сероводорода («сработали» бактерии, питающиеся им). Это очень важно, так как сероводорода

разъедает промышленное оборудование и трубопроводы.

Ил Лесного озера является геобиореагентом. Геобиологическое



Буровня на реке Толбе. Якутия. 1935 г.

воздействие на пласт — метод бурящего. Василий Михайлович мечтает о том времени, когда можно будет взять ил, поместить его в какую-нибудь посудину и спустя несколько часов получить нефть. «То, что делает природа, должны делать и мы» — девиз В. М. Сеюкова.

✱

Я перечитала роман Ф. М. Пудалова «Лощман Кембрийского моря». Зырянов-геолог заражал своим энтузиазмом окружающих его людей. Зырянов — литературный герой заражает читателя своим активным отношением к жизни.

По всему чувствуется, что автор романа очень любит своего героя, очень верит в него. Ф. М. Пудалов в молодости тоже водал пласты. И отец его и дед были лесорубами. Возможно, это сблизило автора со своим героем и его прообразом. Необыкновенная судьба Сеюкова, в прошлом неграмотного мальчонки зырянина-лесоруба, поразила и привлекла писателя. «Познакомившись с Сеюковым», — рассказывает Ф. М. Пудалов, — я понял: это мой герой. «Лощман» — это роман о человеке, который всю свою жизнь безоглядно отдает любимому делу. У Сеюкова-Зырянова — проломный характер. Это плот, который идет напролом. И хотя большая часть романа называется «Стоит ли истратить жизнь на ошпбку?», для людей, подобных Сеюкову-Зырянову, таких вопросов не существует. Они уверены в своей правоте и заставляют верить им».

Нелегко было путь этой книги: вызвала сомнение тема романа — кембрийская нефть, вызвала недоверие и главный герой — Василий Зырянов. Василий Михайлович с грустью вспоминает:

— В то время Федор Пудалов был чуть ли не единственным нашим единомышленником, человеком, который поддерживал нас идейно и морально. Он верил нам, и мы старались его не подвести.

Только в 1956 году роман впервые увидел свет, и читатели познакомились с его героями — мужественными людьми, что, преодолевая жизненные трудности, искали кровь земли — кембрийскую нефть.

В январе 1964 года в Якутии, где еще в 30-е годы экспедиция В. М. Сеюкова обнаружила кембрийскую нефть, сотрудник института геологии А. К. Бобров защитил кандидатскую диссертацию о перспективах нефтегазоносности северо-восточной части Предбайкалья. А. К. Бобров — ученик и последователь Василия Михайловича. Он также посвятил свою жизнь поиску кембрийской нефти — этой нефти нефтей, как называют ее геологи. И, наверное, недалек тот день, когда к нефтяным скважинам села Марково добавятся новые, возвестив о рождении промышленной нефти Якутии — Большой нефти северо-востока нашей страны.

— III —

Пользуясь поводом...

Недавно в Художественном институте имени В. И. Сурикова показывали свои работы восемь художников, в свое время отлучившихся от факультета. Б. Аверьянов, Ю. Атаманов, Н. Воронков, Г. Ефимочкин, К. Калинычева, К. Назаров, В. Попков и И. Шкубер выставляли свои последние произведения — гравюры, литографии, офорты и живопись.

В этом номере «Юности» публикуются некоторые работы с выставки.

Первое, что привлекает внимание, — это содержательность произведений молодых художников. Почти у всех авторов главная тема — поэтическое изображение труда нашего народа. Рыбаки Севера, лесорубы, труженики целины, строители Братска, углекопы, градостроители, колхозники живут на листах и полотнах, исполненных зачастую с большим мас-

терством. Дыхание современности ощущается во всем. Творчество молодых художников не только поэтично, но и серьезно, гражданственно. Оно пронизано чувства ответственности перед зрителем. Одновременно с этим бросается в глаза и разность индивидуальностей авторов.

Напористый, прямо и стремительно идущий к цели Попков видит жизнь яркой, труд — красивым, людей — интересными.

Чудесный рисовальщик Воронков работает с врожденной повадкой мастера, чуждого дилетантизму. Взгляд у него острый, точный, пристальный.

Атаманов обыденное видит романтически, приподнято. В старинной технике офорта он сумел обнаружить новые возможности, которые позволили создать большие листы монументального характера.

Ефимочкин неторопливо и креп-

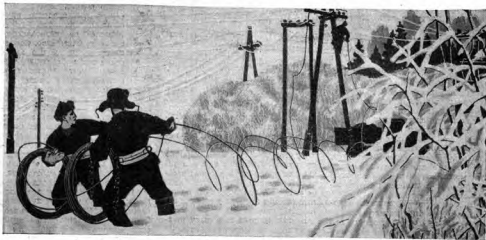
ко строит сложные композиции, которые воспринимаются просто и цельно. Он наблюдателен, правдив. Есть мужественная красота в его лучших гравюрах.

Аверьянов — художник тонкий, лиричный, прекрасно знающий колхозную жизнь, изображает ее с большой любовью и проникновенностью.

Назаров — темпераментный, мятущийся, увлекающийся — неуверенно стремится найти выход тому, что его восхищает в действительности.

Калинычева и Шкубер — каждая по-своему очень женственные, отзывчивы на черты милого, трогательного, привлекательного в жизни и в людях.

За этими общими характеристиками следовало бы подробнее анализировать отдельные произведения. Установить, как полагаются, их достоинства и недостат-



Б. Аверьянов.

Монтеры.

ки. Но вместо этого мне хочется коснуться двух вопросов, связанных не столько с творчеством упомянутых художников, а вообще с некоторыми настроениями молодого поколения, с тем, что осталось в памяти от споров и разговоров об искусстве за последнее время.

Мне недавно пришлось слышать очень характерную фразу: «До сих пор я изображал то, что видел в жизни; те же факты и ее проявления, которые меня поражали. Сейчас я буду выражать себя, свое отношение к жизни, и вот тогда будет видно, есть ли у меня художественный талант».

Эта мысль, мне кажется, присутствует в умах многих молодых художников.

Я отлично знаю творчество автора этого изречения. Знаю с первых шагов его в искусстве и ясно вижу, что в годы, когда он, как ему казалось, «просто изображал факты жизни», он был глубоко оригинален. Ибо, имея одну заботу — как можно ярче и сильнее выразить то, что он видел, чувствовал, — он, изображая жизненные явления, одновременно полностью выражал себя: свой взгляд на жизнь, свое понимание, свой художественный темперамент.

Оригинальность художника проявляется только тогда, когда он страстно увлечен тем, что он любит в жизни, и искренне высказывает это в своем произведении, отыскивая пластические средства, точно передающие его мысль и чувства.

Стало быть, для этого он должен, во-первых, любить, не быть равнодушным; во-вторых, он должен быть искренним в выражении своих пристрастий (хотя не надо забывать, что искренне можно сказать и глупость и пошлость), и, наконец, в-третьих, он должен стремиться к совершенству в художественном исполнении, ибо только при этом стремлении он может найти наиболее точную форму для воплощения своего замысла.

В этом один из коренных законов искусства. Самому художнику кажется: он просто из всех сил старается честно и ярко выразить то прекрасное, что он увидел

в жизни. Художник так влюблен в это прекрасное, у него такая непреодолимая потребность выразить свое чувство, что меньше всего он в этот момент думает о том, как бы покрасоваться и удивить своим произведением зрителя. И когда художник так относится к делу, он на самом деле выражает свое своеобразие, если, конечно, оно ему присуще.



К. Назаров.

Шерит рыбу.

Но когда художник ставит целью «демонстрировать» себя, свою личность, стремится покрасоваться перед зрителями и удивить их, он впадает в пошлость, и творчество его теряет очарование, перестает быть оригинальным.

Оригинальность нельзя нарочно состригать. Либо она есть — и тогда она проявится в честном и самоотверженном творчестве, либо ее нет — и тогда потуги на оригинальничанье вызовут у зрителя одно раздражение.

В этом вопросе коренится главная проблема искусства — отношение художника к жизни.

Второй вопрос, тесно связанный с предыдущим, — это разговор о «свободе выражения». Вопрос древний. Мечта всех художников прошлого — работать так, как птица поет, естественно, свободно, будучи не связанным «чистописанием», школьными прописями. Это мечта об артистичестве исполнения, осуществлением только на вершине мастерства. Стремилась к этому все. Удавалось немногим.

И имена тех, кому удавалось — самые славные в истории мирового искусства.

Кто может творить свободно, непринужденно, с захватывающей непосредственностью? Либо ребенок, ничего не знающий, либо мастер, в совершенстве владеющий своим ремеслом.

Ничего не поделаешь, этого закона не обойти. Всякая попытка избрать легкий путь — неизбежно ведет к уродливой форме, к антихудожественности.

Работать так, чтобы не думать о хорошем рисунке, может только тот, у кого этот «хороший рисунок» настолько «сидит в руке», что получается сам собой. Это приходит только после огромного труда и далеко не к каждому художнику. Между прочим, я с огорчением замечаю, что иногда по-настоящему талантливый молодой художник как бы стыдится того, что он отлично рисует, и старается скрыть это, нарочито прибегая к чрезмерно грубой технике, не позволяющей проявить мастерство. Совершенно очевидно, что здесь сказывается влияние той среды, которая ведет к интеллижке. И мне хочется предостеречь таких самозванных молодых товарищей.

Два затронутых мною вопроса не имеют как будто бы никакого отношения к делу, так как произведения, о которых идет речь, отнюдь не дают оснований говорить о данных аспектах идеи «самовыражения». Наоборот, работы этих молодых художников полны жизни. Просто я воспользовался поводом и, говоря о молодых художниках, поднял заодно некоторые злободневные проблемы — об опасностях, коварно стоящих на пути молодого искусства.



«...ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ...»



Письма и записки Георгия Савченко

Письмо родным из подполья

...Если когда-либо встретимся, на что я, несмотря на усложненную обстановку, не теряю надежды, то расскажу побольше. А пока опишу вкратце, что было со мной за последние девять-десять месяцев. Этот период в моей жизни более богат событиями, чем все, вместе взятые, предыдущие годы. За это время пришлось перенести разное — начиная от боевого крещения и кончая концентрационными лагерями и избиением палками.

До августа с боями отступали на восток. Затем наше соединение окружили, и вот здесь началось! Плен. Лагерь. Побег. Несколько дней на свободе. Снова плен. Снова побег. И опять плен. На этот раз заключен в Бобруйскую крепость. Началось избиение палками, после которого около двух недель пролежал. Как только поправился, совершил побег. Решил идти в Днепротетраск, чтобы увидеть семью, попрощаться с ней и снова продолжать борьбу.

Какие причины толкают меня на это?

1) Я коммунист. Не на словах, а прошедший большую коммунистическую школу. Партийный билет — это моя жизнь, а не ширма, которой нужно в удобный момент прикрыться от всяких житейских бурь и невзгод.

2) Вся моя жизнь заставляет принять именно это решение. Я жил, рос, воспитывался и учился в годы Советской власти. Она вошла в мою кровь и плоть, и жизнь без или вне этой власти для меня немислима. Все силы и старания я приложу к тому, чтобы над нашей страной и родным городом развеялось красное знамя и моя земля была освобождена от этих горилл, бандитов, кровососов.

3) Все те лишения, которые мне пришлось пережить здесь за время хозяйничанья фашистов, трудно описать словами. В первом плену из меня сделали выжидное животное, на которое безжалостно грузили что вздумается: камни, бревна, котлы — и при этом за малейшее пошатывание жестоко стегали кнутами, били кулаками, ногами, били все, начиная от поганого, вонючего венерического солдата и кончая офи-

церами. В Бобруйске меня избили палками и присолили солью, чтобы не испортился.

Думаю, что этого достаточно для того, чтобы питать к этим сволочам лютую ненависть и уничтожать их, как бешеных собак, везде, где только есть возможность. Какая ненависть кипит в груди! Ни один половец и фашист, попавший ко мне в руки, не уйдет живым. Смерть гадам, которые осквернили нашу родную землю!

Если где-нибудь погибну, то знайте, что отдал все за освобождение Родины, умер за вас, мои родные.

Надеюсь, что «до свидания».

Крепко целую. Ваш сын и брат
Юрий. 19 марта 1942 года.



Георгий Савченко.

Большое спасибо родным и близким, которые оказали мне всевозможные услуги, помогая всем, чем могли.

Жил все время у Ксены и тети Нацы. Они меня полностью освободили от забот, создавая этим возможность заниматься нужным делом. Все остальные тоже принимают во мне самое теплое участие.

Остальное, конечно, далеко не подробно, о моей жизни расскажут они сами.

Юрий.

Записки из фашистского застенка.

Тема — К. А. Шепитько

Спасибо за хлеб и особенно за белье, дорогая тетя. Мне жалко, что я причинил тебе и всем родным столько горя. Отсюда я, наверно, уже не выйду. Нас всех должны расстрелять сегодня или завтра. Знай, я ни о чем не жа-

лею. Правда все равно будет на нашей стороне. Передавай Клавде, чтобы воспитывала Гаю честным, справедливым человеком. Тяжело ей будет без мужа; а дочке — без отца. Пусть выходит замуж, если найдет друга по душе. Я отдаю жизнь за Родину. Прощайте.

Товарищам по борьбе

Благодарю вас за теплое участие, которое вы проявили в моей горькой судьбе. Эта записка, по всей вероятности, является моим последним «прости».

Дело мое уже закончено, и я не сегодня-завтра ожидаю своего конца. Скоро меня, безусловно, уничтожат, на другой конец я и не надеюсь.

Прошу, если когда-либо встретите моих родителей, поцелуйте их крепко за меня и передайте им мое последнее «прощай».

Крепко целую вас всех.

Ваш Юрий.

21/XII—1942 г.

Эти короткие и волнующие письма и записки, за каждой строкой которых обжигающее пламя героической борьбы, были написаны в трудные для нашей Родины дни. Первое письмо — в подполье, на оккупированной фашистами территории, а две последние записки — в мрачных застенках гестапо, на рубеже жизни и смерти. Их автор — Георгий Петрович Савченко, молодой советский офицер, политрук роты, ставший в суровые годы фашистской оккупации одним из руководителей днепропетровского подполья.

Юра, как его ласково называли в подполье, был совсем молодым, 23-летним. Перед войной он закончил школу в Днепропетровске, которая сейчас носит его славное имя. Друзья таянули в металлургический институт, но он пошел на завод имени Петровского.

— Сначала поработало, а там будет видно.

Георгий мечтал о профессии радиста, но вышло по-другому. Началась война, и он попал на передовую линию. Там коммунист Савченко назначили политруком. Простой, веселый, находчивый, безудержно смеялся, он как-то сразу пришелся по душе бойцам. В сентябре случилась беда. Во время штурма вражеского дота Георгий был контужен и захвачен фашистами в плен.

Две недели метался в жару больной политрук, а когда ему стало чуть легче, тихо пропал под лежачему рядом красноармейцу:

— Бежим, Борис, иначе поздно будет, убьют гады.

Стояла темная дождливая ночь. Съехавшись от холода, прикорнул часовой. И вот у колочей проволочной промелькнули две тени и тут же исчезли.

Куда идти? К фронту? Но фронт уже откатился далеко за Днепр. И пошел политрук Савченко с другом-земляком Борисом Сондаком в родной город, где прошил его детство и юность.

Вот он, Днепропетровск, большой, притихший и мертвый город. Безжизненно стоят домы, мартены, прокатные станы. Замерли трамваи. Зловеще громяхают на ветру сорванные вывески.

Юра думал о родном городе, о жизни и борьбе, которую нужно начинать. И вот в конце сентября на старой квартире по 4-му Краснофлотскому переулку, № 5, собрался немногочисленный дружок. Пришли те, на кого можно было положиться — Борис Сондак, Игорь Дементьев, Дуся Кулакова, Игорь Клазев.

— Товарищи, надо брать за дело. Насмотрелись на фашистскую погань — и хватит, — сказал Юра и вдруг закашлялся. Достал из кармана своего потрепанного пиджака аккуратно сложенный платок, быстрым движением прижал его к губам. Отворнулся, глянул на скомканный платок и увидел на нем пятна свежей крови. Вспомнил Бобруйскую крепость, рыжего эсэсовца Карла, досадно попомогавшего и махнул рукой. — Значит, договорились. Теперь за работу.

И загорелась земля под ногами оккупантов. То в городе нарушалась телефонная связь, то в квартире, где останавливались гитлеровские офицеры, исчезало оружие, то кто-то выпрыгивал пробки из бензино-

Прошу простить меня за все причиненные беспокойства. Жить очень хочется, но умираю спокойно, зная, что я не один и вместо меня будут тысячи.

Р. С. Белье постирайте и передайте в отдельном пакете. Передачи можете не носить.

Взых бочек. В один из ненастных вечеров на окраине города, где заканчивалась Полевая улица, наскочил на мину и взорвался грузовик с солдатами, а на рассвете в другом конце города, на Чечеловке, запылала автобаза.

Фашистам не стало житься. За каждым их шагом неуслышно следили патриоты.

«Точно установлено», — писал в своем приказе извещенный военный командант города, — что в Днепропетровске существует радиосвязь с Красной Армией, в результате чего зажигаются костры, подаются сигналы красными ракетами; это служит ориентиром советским самолетам, после чего каждый раз бывают бомбардировки переправ».

На тех предприятиях, где оккупантам удавалось начать восстановительные работы, усиливался саботаж. С трудом пущенные объекты выходили из строя. Так было с воздушной завод имени Петровского: недалеко она поработала, а потом была повреждена. Так было с одиннадцатой трансформаторами, при бывшими на завод имени Артема прямо из Берлина: не успели их сгруппировать, как трансформаторы оказались уже негодными.

В паровозном депо Днепропетровска вышедшие из ремонта локомотивы, не проработав и двух дней, снова шли в ремонт: то в дымогарных трубах оказывался шлак, то в буксах находили песок или металлическую стружку.

В городе свирепствовали эсэсовские зондеркоманды и полицейские агенты. Шли облавы и массовые аресты. На стенах обгорелых домов висели угрожающие приказы оккупационных властей. Но советские патриоты не боялись угроз. По утрам свежий ветер разносил по городу сотни синих листовок с красной звездочкой сверху.

«...Товарищи Днепропетровцы! Не выполняйте приказов и распоряжений немецкого командования».

...Всячески тормозите работу на производстве, уничтожайте материальную часть и боеприпасы фашистов!..»

Борьба разгоралась, с каждым днем обретая все больший размах.

Поздно ночью 15 декабря 1941 года на Володарской улице, в доме № 47, у молодого рабочего Крайченко собрался подпольщики. Савченко читал им записанную папануеву сводку Совинформбюро.

— «13 декабря недалеко от станции Днепропетровск партизаны взорвали поезд с военным грузом и солдатами противника; уничтожено 110 солдат, 12 орудий, 4 танка, 15 грузовых машин и 7 мощных прожекторов...»

Георгий Савченко сделал паузу, отодвинул занавеску и быстро глянул на темную безлюдную улицу, заперенную снегом. Задержав окно и, повернувшись к товарищам, негромко сказал:

— Почивать на лаврах еще рано.

Поросшее рыжеватым пушком лицо его сделалось серьезным и решительным.

Подполью потребовалось оружие. Попытка раздобыть его не увенчалась успехом. Георгий Савченко вместе с Игорем Дементьевым, своим другом, членом подпольного комитета партии, выходит на Запорожское шоссе. Дует поземка. Скрипит под ногами мерзлый снег. Два смельчака поджидают пражские машины. Как только подойдет машина и шофер, заглушив мотор, зайдет в закусокную погребаться, они начинают шарить в кузове... Так было раздобыто несколько автоматов и виштовок, десять гранат.

Прибывший в город летом 1942 года секретарь подпольного обкома партии Н. И. Сташков официально утвердил Г. Савченко секретарем горкома партии.

Подпольный комитет вплотную занялся организацией печатной газеты. Разыскали классы со шрифтом, старенький печатный станок. В районе кирпичных заводов был арендован небольшой домик, в котором должен был поселиться Николай Токмаков, незадолго до этого фактивно обвенчанный с подпольщицей комсомолкой Верой Хитюк.

Борьба все больше захватывала героев-подпольщиков. Началось формирование новых боевых групп, и горком даже стал помышлять о восстании и захвате власти в Днепропетровске в момент подхода наступающих частей Красной Армии. Но эти планы были сорваны гнусным предательством. В ночь с 8 на 9 июля 1942 года были арестованы участники подполья Игорь Дементьев, Юрий Шохов и другие — всего 32 человека. В ту же ночь гестаповцы окружили дом Ксении Шенитко, чтобы взять живым секретаря подпольного горкома. Но фашистам не удалось арестовать Савченко. Его предупредили, и он успел скрыться.

Вскоре были арестованы и остальные активные участники подполья: Захар Демяченко, Игорь Клюев, Яков Цыганенко, Евдокья Кулакова и с ними еще 24 человека. Оставались на воле только Савченко и несколько подпольщиков, его близких друзей.

— Уходи, Юра, всем сердцем прошу, уходи, пока еще не поздно, — молила со слезами Ксения Алексеевна Шенитко, — тебя ищут по всему городу.

— Не могу, тетя Ксена.
— Тебя убьют гестаповцы.
— Смерти я не боюсь.

Днем 14 октября на углу проспекта Карла Маркса и улицы Ленина, когда Савченко шел восстанавливать прерванные связи, его опознали полицейские ищейки, схватили и доставили в гестапо.

Бесстрашно встретил свой смертный час герой-коммунист. Попытки не сломили его волю.

Из тюрьмы Георгию Петровичу Савченко удалось передать две короткие записки. Первую записку — Ксении Алексеевне Шенитко, которую выпустили из заключения незадолго перед арестом Юрия Савченко. Она уговорила надзирателя передать Юре буханку хлеба и смену чистого белья. Через час надзиратель принес записку, наспех нацарапанную на клочке тонкой оберточной бумаги. Вторую записку — товарищам

по борьбе — Юрий запрятал в воротнике рубашки, которую передали из гестапо Ксении Алексеевне незадолго до его казни.

Развязка приближалась. Мужественных подпольщиков повели на расстрел. Когда крытые машины ехали по притихшим улицам, Юрий успел крикнуть:

— Товарищи! Нас везут на казнь. Но им, проклятым гадам, никогда не уничтожить нас, нашу партию!

✱



Дом, где помещался комитет партии и где находился Г. Савченко.

Недавно во время отпуска я, побывав в родном Днепропетровске, встретился с бывшими партизанами, своими товарищами по партизанскому отряду, действовавшему под Днепропетровском. С Георгием Савченко я был немного знаком до войны. В военный период я с ним не встречался, но знал, что он возглавляет патристическую группу. И я не мог не зайти на 4-й Краснофлотский переулок (ныне Патова), № 5. Вот тихий дворик с вышневым садиком возле дома. В те грозные годы в приземистом глинобитном доме с подвалом и покосившимися окнами жил руководитель днепропетровского подполья Георгий Петрович Савченко. Тут жили до войны его родители, жена с ребенком, бабушка, жилая его близкие родственники — тетя Ксена и тетя Наца, то есть Ксения Алексеевна Шенитко и Анастасия Алексеевна Назарова — родные сестры матери Георгия. Эти простые

и мужественные женщины давали принят подпольщикам, стояла часами у калитки, высматривая в темноте, не идут ли гестаповцы или полицайи.

Я не застал в живых бабушку Агафию Родионовну, не повидался и с тетей Надей, как ее любил называть Юра: Анастасия Алексеевна тяжело хворала, и я не решился ее беспокоить. Мы вышли с Ксенией Алексеевной в сад и сидели под вишнями, где часто в теплые летние ночи спал Юра. Заходили мы и в подвал, где по ночам собирался подпольный комитет, побывали в комнате Ксении Алексеевны. За окном играло яркое солнце, и легкий ветерок нежно шевелил листву.

— Здесь Юра отдыхал Юра. Вот его кровать, книжный шкаф и табуретка. Вот столик. За ним при свете лампы Юра писал первое письмо родным из подполья.

Комната маленькая, чистенькая. Стены белые. На стене портрет. Прямо на нас смотрит, чуть улыбаясь, Георгий Петрович. Рядом небольшая семейная фотография и старая картина, за рамкой которой случайно после войны Ксения Алексеевна обнаружила письмо Георгия к родным.

Комнатным сном кажется Ксения Алексеевна все пережитое и выстраданное. Сколько раз у нее допытывались гестаповцы про подполье. Мужественная женщина осталась верна делу, которому советский офицер, коммунист Георгий Петрович и его верные друзья посвящали свои молодые жизни.

Илья ВЕТРОВ,
участник партизанского движения
на Днепропетровщине.

— 11 —



Это не просто. За то и люб Войнович шофер Гоша Яроной, что умеет не поддаться будничной беспримечности, чутьем, натурой отличает гадкое. Умеет пожать общественный смысл честного поступка и построить свою судьбу сообразно с этим пониманием. Об этом рассказывает в повести «Мы здесь жили» (издано «Советский писатель», М., 1983).

Писатель в поиске, после первой книги появляются новые его произведения, нуждающиеся в главную тему творчества.

«В конце концов хороша у меня работа или плоха — она единственная. И если эту единственную работу я буду делать не так, как хочу и могу, зачем тогда вся эта возня?» — это уже старший прораб. Самолюбие из нового рассказа «Хочу быть честным», не воншедшего в книгу.

Войнович наблюдает за социальным недугом как за оттопыренными пальцами и проглаженной, явно ему симпатизирующей, явно ему симпатизирующей.

руа. Недвижим не хочет, не может, не умеет строит себе карьеру.

Но сумеет ли он выломать главное в жизни, настоящего? По избранному пути старший прораб идет тяжело, порой аступаясь. Вот-вот затанцует его туча мелочей, несовершенств. Но удивляешься, хотя нет в нем упрямой злободости Гоши Яроной. В такие моменты писатель относится к нему настолько, что можно, излучение.

Как покажет себя человек? Он может показать себя и скверно: равнодушным, тупым, себялюбивым.

И тогда Войнович суров. Сбежит с уст рассказчика легкая улыбка, застенчивый юношеский голос крепнет, звучит резко. Ожидание романтического, высокого приносит свою меру и требовательное, трезвое название жизни.

Далеко ли до звездных тропинок? Это как мерить...

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ

С появлением первой книги стихов Дмитрия Сухарева «Дань» (издательство «Советский писатель», М., 1983) одним поэтом стало больше. Совершенно, это не такая неожиданность: Сухарев был известен читателям и раньше — например, по коллективному сборнику «Общественные», в котором он

шел себя, письмо обречено единую эстетическую манеру. Это не делает его однородным, но, наоборот, повышает отчетливые выходы поэтического харианта. Индивидуальность, свести все цвета радуги в едином остром цвете: Белый цвет, он не цвет.

«Служение» — суть этой книги. Не «служба», а поэтическое служение, не просто проповедь добра, но искусство, которое есть добро, и добро, которое есть искусство.



Вот дерево. Сосна сосной. Вот птица с дерева слезла. Так знай: они кладут мной. Я подчиняюсь им всецело. Стоит ли пересказывать стихи? Никогда еще ничего путного из этого не находило, разумеется, если стихи — поэзия. Довершая же поэту, он сам умеет рассказывать о времени, о себе, о нас с вами.

О. ИВАНОВ



«Н а пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы» — так поется в любимой песне космонавтов, слова которой написаны В. Войновичем. Далеко ли до этих тропинок? Владимир Войнович меряет не миллионами километров, которые предстоит пролететь ракете, а душой подготавливает человека.

Простая честность — это главное. Быть совестливым в житейской мелочи и в крупном деле.

Хороший вкус, добротная речевая ткань, законченность и цельность отличают книгу. И на высоте ее геологической откровенности далеко видна земля, которую надо узнавать, обнимать и украшать, потому что именно ради этого в сердце возрождаются прекрасные строения.

Н. ЗЛОТНИКОВ



«Я художник, написавший картину «Фрау»», — пишет Ленинский, — «мы видим огромные, широко распахнутые окна в лабораторию писателя. Это окна в мир. Тот мир, из которого художник берет материалы для своих произведений. Художник — это человек, который четче, проницательнее и глубже видит, чем те, кто наблюдает и не чувствует. И по всему этому отношению. Он не бесстрастный наблюдатель его литературного процесса, он — участник. Он боится. Его стандарт — искусство».

Г. КРАСУХИН

тонацией и особой убежденностью, которая дается душевно щедрым людям.

..в нас живет спокойствие
лесное.
Задумчивость рощины
и реки.
И все слова высокие
Глубоко,
Как клады, как бесценные
дари,
Текат в душе..

Первый рассказ Паустовского по появился в печати в 1912 году, и, значит, Константин Георгиевич работает в литературе с детства. В ранние годы он охотился на зайцев, рыбачил, наблюдал за реками, лесами, деревнями, пережил революцию, исторические катаклизмы и метастрофы. Паустовский не понаслышке знает войну. И если его повесть не затерялась среди других, голосов, раздающихся в эти годы, голосов, которые калечились очень рано, если его голос сегодня не знает, что имя читателя Паустовского носит не только человек, но и государство, то, что его книга отсылает и отсылает к его личным воспоминаниям, — это не случайно вышло. В своей монографии о К. Г. Паустовском — первой книге моего цикла (Л. М. Мелинкова «Паустовский. Советский писатель», М., 1963),



К сборнику В. Скоряткина надо отнести с большим вниманием: это, бесспорно, новая анкета.



ред Ордой, в полярном Мурманске, «где траулер колышется у мола, блестя на солнце сельдью, как слюдой», — все это на-

Валентин Скорятин в 1963 году окончил Литературный институт. В том же году в Ростове, где живет молодой поэт, вышел первый сборник стихов — «Весна молнии». В предисловии к нему Илья Сельвинский пишет:

«Ступи В. Скоритина — это созидание, потрясающее великим событием нашей эры — завоеванием космоса... Скоритин в миссионерских космонавтах как бы впервые увидел небо, молнии, звезды. Он уже ни в чем другом не может думать... В быту, в мышлении, в сегоднешнем, он живет звездами и небом... О чем бы он ни говорил, что бы ни касался, — это речь вторичная Вселенной...

первой книге Олега Дмитриева, «Перспективы и проблемы» (изд-во «Советский писатель», М., 1963), мы встречаем стихи о мальчишеской военной породе, игравших в войну, о вратаре Коле Сахарову, потерявшем на фронте ногу и стоявшем в порогах на козлы, о старомладшем и младшем Женьке, о товарище, перенульшемся из дальней эскадрильи...

Порою кажется, что книгу эту мы начали читать давно. Но каждый раз казние-инбо принципы нас отрывали от нее. И вот только сейчас мажонел, и вперые читаем ее от пер-вой строки до последней. И эти строчки, знакомые нам, подоб-ные точным ориентирам, обоб-щают позитивные маршру-ты поэта по нашему веку, и его просяткам и просам.

И что бы ни происходило с нами в Сидри, где шумит, дажужулище, тагда, в драва-хуагуншисе, который устой пе-

ЧЕЛОВЕК В БЕДЕ

Перед нами письмо. Оно пришло из Риги от Валерия Г. Вот что он пишет.

Здравствуй, «Юность»!

Я хочу рассказать о частице моей жизни, о душевной боли, хочу просто посоветоваться. Как жить? А стоит ли вообще жить, считая себя ненужным человеком?

Почему я стал таким пассивным ко всему окружающему? Почему? Каждый день я задаю себе эти вопросы и не могу на них ответить.

Взрослею. 27 апреля будет семнадцать. Пройдет год, в котором я потерял самого любимого человека — маму, год, когда я стал понимать жизнь (хотя, может быть, и не совсем).

Мама тяжело болела. Я каждый день бегал к ней в больницу. Надеялся, верил, и она милой дрожащей рукой теребила мне волосы и говорила: «Потерпи, держись, Валерка, все будет хорошо». Если бы ты знала, мамочка, как трудно держаться, когда нет тебя рядом! Когда некому ругать и жалеть! Когда не с кем поделиться радостью и печалью! А ведь так часто тебя не слушался, огорчал тебя своими двойками. Я не понимал, что, кроме всего, на свете существует вечная разлука — смерть.

Вчера было 8 Марта. Целый день я бродил по городу, смотрел на счастливые лица женщин — и молча, незаметно плакал. Среди них не было моей мамы, еще не успевшей поседеть.

Жив отец, но нас разделяют расстояния дающие в километры, дающие в вечность. Пишет письма, просит, чтобы я приехал в Баку, в его благоустроенную квартиру. Письма не читаю. Не распечатывая их, разрезаю аккуратно ножницами на маленькие квадратики и пускаю через окно на свежий воздух. Разве можно отвечать этому человеку, который ради своего благополучия несколько раз нас бросал, часто обманывал маму, а когда мы обращались к судопроизводителю с жалобой о неуплате алиментов, он написал заявление, что его сын Валерий давно умер! Я соб-

ственными глазами читал эту бумагу, которая окончательно оттолкнула меня от отца.

Вчера вечером, придя домой, я в первый раз выпил, четвертинку. Водка обожгла мне горло. В глазах появились какие-то крупы. На работу ушел с большой головой. Вроде бы недавно меня называли маленьким сыночком. Я больше всех любил маму. Я был всегда с ней в трудные минуты. Смотришь на счастливые лица мальчишек и даже не веришь, что все кончено, промелькнуло детство, в которое хочется вернуться хоть на минуту, час, день. Я стараюсь держаться. На книжных полках «Молодая гвардия» Фадеева, «Как закалялась сталь» Островского, томик Владимира Маяковского, серия «Жизнь замечательных людей», собрания Бальзака, Стендаля, Марка Твена, Джека Лондона и томик стихов Есенинко.

Я ходил к маме в больницу и часами читал ей стихи. По маминим щекам катились горькие, непослушные слезы. Это были ее последние слезы...

Что делать? «Юность», дорогая, скажи! Кем я буду, какое у меня призвание? Может быть, оно и есть, но пока это только мечта. Пока слесарничую на заводе, зарабатываю на существование. Есть у меня любимая песня:

Здесь, у самой кромки бортов,
Друга прикроет друг;
Друг всегда уступит готов
Место в лодке и круг.

Песня хорошая, но как ее тяжело знать, когда нет друга! Это дико, когда не с кем посоветоваться, поспорить, дружить. Помогите мне в этом, дайте адрес любого мальчишки.

Пускай эта просьба не кажется глупой. Ведь мне так нужна дружба! Вот и все! Я вас очень прошу, не отсылайте мое письмо в следующие инстанции. Вы первые, с кем я советуюсь так открыто. Помогите, как лучше узнать жизнь, учиться у нее и находить из любого положения правильный выход.

Жду ответа, он будет чем-то решающим в моей жизни.

Валерий Г.

ОТ РЕДАКЦИИ:

У человека случилась беда. Но вышло так, что поделиться ему было не с кем. О своем горе он написал в «Юность».

Конечно, редакция могла бы ограничиться своим ответом Валерию (истати сказать, письмо ему мы тотчас отправили). Но то, о чем пишет Валерий, на наш взгляд, имеет общественный интерес. И вот мы печатаем это письмо.

Почему?

Мы уверены, что наши читатели тоже откликнутся на письмо Валерия, и он найдет многих друзей, которые будут помогать ему решать возникшие и возникающие перед ним вопросы. Уверены мы и в

том, что те, кто прочтет это письмо, тоже задумаются над многим и многим. Задумаются те, кто сам оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах. Задумаются те папы и мамы, которые решают свои семейные конфликты, не считаясь с тем, как эти конфликты отразятся на детях. Задумаются и те, кто не переживал ничего подобного горе, обрушившемуся на Валерию, кто чувствует себя счастливым, но не ценит и, может быть, даже не замечает собственного счастья. Задумаются и те, для кого слово «мама» слишком привычно, и обычно, и буднично... Задумаются, может быть, и о другом, каждый о своем. Ведь каждому есть о чем подумать...





ПИСЬМО С БЕРИНГОВА МОРЯ

Это письмо я посылаю из сельдяной экспедиции в Беринговом море, где работаю на среднем рыболовецком траулере «Уссурийск».

Уже не первый год наш траулер выполняет социалистические обязательства; экипаж по праву носит звание коллектива коммунистического труда. Работает на «Уссурийске» только молодежь. Почти все — комсомольцы. Среди молодых экипажей траулеров в прошлом году мы заняли второе ме-

сто. Надеемся, что и впредь будет не хуже.

В непродолжительные часы отдыха можно увидеть, как ребята занимаются любимым делом: читают (у нас есть своя библиотека), играют в шахматы или шашки, подбирают знакомые мелодии на аккордеоне, гитаре или мандолине. Желющие смотрят в кают-компани фильмы. А студенты-заочники готовят учебные задания...

Я посылаю несколько страничек из своего дневника за этот год и

несколько своих зарисовок — может, они помогут яснее представить нашу жизнь.

27 января. ...Конец месяца, а мы почти полностью выполняли квартальный план. С утра появилось солнце, но, как говорится, светит, да не греет. Море было несколько дней спокойно, но с утра подул суровый, северный ветер, не обещающий ничего хорошего.

...К вечеру погода окончательно испортилась. Сдать улов на рефрижератор невозможно. Нужно солить селедку. Объявили аврал. Все свободные от вахты — на засолку. Пошли против зыби — на волну, на нора, там во льдах стоят плавбазы, куда можно сдать засоленную рыбу и получить еще соль и бочки.

Острый ветер с брызгами хлещет, как плетью. Идем малым ходом: кажется, что стоим на месте.

Рядом со мной работает Игорь Паинкин: он заливает в бочки рассол. Игорь — демобилизованный моряк. Служил во флоте и решил навсегда остаться на море. Осенью собирается поступать в мореходное училище.

Бочки за бочкой опускаются в трюм. А рыбы осталось еще больше половины. На палубе вспыхнуло наше «солнышко»: так мы называем прожектор на мачте.

Мороз все сильнее. Он оставляет на шапках и на волосах свои следы. У матроса Володи Лобаса усы стали белыми, а у Юсифа Сайфулинова с шапки свисают сосульки.

Только поздно ночью закончили солить рыбу. Шторм продолжается.



Когда улов удачен, вся палуба завалена рыбой!

На верхнем рисунке — средний рыболовецкий траулер «Уссурийск» пробивается во льдах и плавбазе.

23 января. Утро туманное. На траулере все обледенело. По палубе бежит вода и, замерзая на ходу, не успевает стекать.

Из репродукторов звучит голос капитана:

— Аврал! Все на сколку льда!

И снова работа. Борьба за живучесть судна. Ведь если не скалывать лед, судно может перевернуться.

Мы сбиваем ледяные наросты, а отяжелевшая носовая часть врежется все глубже в волну и покрывается новым слоем. И так без конца.

После обеда снова за работу. Пока обедали, судно успело обрести льдом. А брызги летят, и с пронзительных курток не успевает стекать вода. Она замерзает, и куртки покрываются коркой льда. Я и Володя Лобас скалывали лед на брашпиль. Участок работы невыгодный. Когда набегает волна, она заливает нас первыми. Я стоял лицом к корме и не видел, когда очень большая волна накатила сзади. Огромный поток воды ударил меня по спине, подхватил и понес. В первое мгновение я полумыл, что очутился за бортом. Резкий удар головой о что-то твердое. Через мгновение последовал второй удар, и тут же я почувствовал, что как будто мою шею зажали в тиски. Что-то, барахтаясь, рядом со мной несло по течению вниз по палубе. Я почувствовал в руках леера и крепко уцепился за них, пока схлынула вода. Когда открыл глаза, увидел Володю. Он обхватил мою шею и сидел рядом, прижавшись ко мне.

— Ты что за мою шею держишься? — спросил я.



Матрос Л. Васильев.

— Жив... — ответил он, улыбаясь от радости.

Мы встали и почувствовали, что насквозь промокли. Шапок на голове не оказалось.

30 января. Проснулся от трескотни за переборками. Это траулер врежется в лед. После завтрака вышли снова скалываться. Кое-где из воды между льдами высываются сивухи. А на одной льдине собралось целое семейство морских львов. Они посмотрели в нашу сторону и быстро исчезли в воде.



Помощник тралмастера
Ю. Сайфудинов.

Одинокие чайки кружат над траулером. Наверно, они надеются, что кто-либо из матросов бросит им рыбешку.

31 января. Стоим у плавбазы: будем сдавать рыбу и брать соль и бочки. Свободное время. Сколоди окончательно лед и после обеда устроили шахматный турнир. Выпустили и повесили в кают-компанию свежий номер сатирической газеты «Край». Начали крутить кинофильм, но посмотреть не успели: подошла наша очередь сдавать рыбу. Взяв бочки и соль, поспешили в район лова, чтобы не терять дорогого времени. Вечером, собравшись в кают-компанию, прослушали информацию капитана о новостях по стране и за рубежом. После информации смотрели новый фильм, который взяли на плавбазе; там же я обзавелся новой шапкой.

2 февраля. Сегодня воскресенье, но яряд ли кто из ребят помнит об этом. Во время работы забываем, когда суббота, когда воскресенье. Здесь все дни одинаковы.

Настроение у всех сегодня отличное. Лов проходит удачно. Сей-



У штурвала — матрос Е. Захаров.

час идем к рефрижератору, чтобы сдать рыбу.

Сдав рыбу, созвали комсомольское собрание. Живо обсуждали предложение взять новые обязательства. В конце концов решили: вместе с другими передовыми экипажами области за два последних года семилетки выполнить два с половиной годовых плана; снизить себестоимость лова, а сэкономленные деньги передать в фонд развития большой химии.

3 февраля. С утра дует чистый морд. Море неспокойно. В рулевой рубке — третий помощник капитана Виталий Крайнев. Смотровое стекло опущено, так как стекла замерзли и занесены снегом. В открытое окно врывается холодный ветер. В рубке холодно. У штурвала Владимир Тарутин. Он в полушубке, но все равно перемывается с ноги на ногу. Ноги мерзнут.

У Крайнева в глазах появляются смешинки. Он всегда так оживляется, когда у него рождается какая-нибудь новая идея, способная заинтересовать ребят. Он наш комсорг. Сейчас Виталий оживлен оттого, что появился хороший косяк рыбы.

В рубку входит капитан Степан Данилович Удовенко. И вот уже из рупоров звучит его голос: — Парни, пошла в замат.

Снова будничная работа...

Вечером на борту «Уссурийска» — более трехсот центнеров рыбы. Но погода испортилась совсем. Шторм усилился. Кажется, скоро опять скалывать лед...

Генрих ПОЖИДАЕВ,
матрос «Уссурийска».

В РАСКАЛЕННОЙ ПЕЧИ

При 130 градусах жары твердый металлический сплав из олова, свинца и висмута превращается в кипящую синюю жидкость... При 130 градусах жары вспыхивает одежда...

...Через черный провал печи проходит цепь подвешенного конвейера. День и ночь на его металлических подвесах покачиваются громадные пакеты генераторов электродвигателей. Пройдя через жерло печи, они движутся к сборочному цеху. А потом...каждое утро с аэродрома вылетают транспортные самолеты. И в каждый раз пилоты читают на стенках добротных ящиков адрес получателя: «Куба».

Ереванский завод «Армэлектрон» выполняет заказ для героического острова Свободы. Каждую смену комсомольские бригады генераторного цеха перевыполняли план. Хорошо начиналась и эта смена. Но вот незадолго до окончания работы в цехе раздался тревожный сигнал:

— Встал конвейер!

— Обрыв!

Рабочие столпнулись около печи. Прибежал сюда и секретарь комсомольской организации цеха Агаси Акопян.

Заглянув в черный провал, откуда дышало жаром, он увидел, что цепь конвейера оборвалась и разошлась на пять метров. Чтобы устранить обрыв, надо остудить печь. Это займет два-три дня. Ремонтные работы продлятся семь часов. Значит, под угрозой государственный план.

— А может, попытаться исправить сейчас, прямо в печи? — неуверенно предложил Агаси и оглянулся на ребят. Замолчали все: токарки, слесари, обмотчики.



Впереди — рабочий Манук Агрян; в следующем ряду (слева направо) — рабочий Размик Исраелян и Айастан Галстян, секретарь комитета комсомола цеха Агаси Акопян, бригадир Рафик Саркисян; сзади — корпусной механик Арамис Аветисян и рабочий Никитос Алаваджян.

— Может, не надо, ребята? — высказала сомнение начальник цеха А. Акопян. Но, посмотрев на молодежь, понял: решили — уже не останешься...

Агаси заглянул в печь, потянулся на руках и исчез в черной, зияющей дыре. Долго длилась минута, которую он провел там. Наконец Акопян показался из провала.

— Работать можно. Будем смеяться друг друга...

Так начался подвиг. Ребята выходили из печи почерневшие, с тлеющей одеждой. Обливаясь водой, тут же у конвейера отдыхали минут десять и снова шли в печь.

Четыре часа длился поединок. Четыре часа молчаливого ожидания многотысячного коллектива завода. Но вот вздрогнула и медленно двинулась в путь лента конвейера.



Они вышли победителями — секретарь комитета комсомола цеха Агаси Акопян, корпусной механик Арамис Аветисян, бригадир Рафик Саркисян, слесари Размик Исраелян, Манук Агрян, Айастан Галстян, Никитос Алаваджян. План был выполнен. Генераторы для Кубы были сданы в установленный срок.

А. СТЕПАНЯН

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ПОЭЗИЯ»

В тридцатых годах прошлого века в Петербурге на Невском проспекте праздновалось своеобразное новоселье.

В доме книгоиздателя Александра Смирдина собрались известные русские писатели, чтобы отпраздновать открытие «Книжной лавки».

На званом обеде присутствовали Пушкин, Жуковский, Гоголь, Вяземский, Крылов, Одоевский, Языков и другие замечательные поэты и прозаики. Открытие «Книжной лавки» Смирдина было крупным событием в истории нашей культуры.

Литературный салон Смирдина

стал местом встречи писателей и читателей. Здесь обсуждались самые насущные вопросы развития русской литературы. Недаром В. Г. Белинский, разделяя историю нашей словесности на периоды, назвал рядом с карамзинским и пушкинским периодами и смирдинский.

Все это невольно вспоминалось мне после того, как я посетил в Харькове магазин «Поэзия». Харьковские книголюбцы относятся к нему, как к любимому ребенку.

В январе 1964 года харьковчане отмечали годовщину этого магазина.

В Центральном лектории города на сцене в президиуме сидели три скромные девушки-продавщицы этого магазина во главе с директором Светой Алексеевой. В зале негде было яблоку упасть. В фойе активисты магазина продавали поэтические сборники. Шло торжественное заседание. Поэты читали свои стихи, артисты поздравляли «юбиларна», секретарь обкома партии подарил магазину бюст Т. Г. Шевченко.

Вдумайтесь, пожалуйста, в этот факт! Магазин, торговая точка — и вдруг такаа, я бы сказал, народная любовь! Торговая точка, влияющая на умы, формирующая вкус.

Популяризируя стихи советских поэтов, магазин «Поэзия» проводит в харьковских школах «Дни поэзии». Задача такая: летом во время каникул каждый школьник должен прочесть побольше стихов, выучить одно, наиболее любимошееся, наизусть и на школьном «Дне поэзии» прочесть его товарищам. В жюри этого своеобразного конкурса — продавщицы из магазина «Поэзия» (кстати, все они окончили библиотечный институт).

Активисты магазина «Поэзия» — архитектор Альфред Тульчинский, инженер — конструктор Михаил Манзон, педагог Юрий Хазанов, математик вычислительного центра Иосиф Клаутман, инженер Виталий Орлов — вспоминают тот день, когда магазин впервые открыл свои двери перед покупателями: «Первая покупательница — старый геолог — пришла к магазину в шесть часов утра. К открытию вся площадь перед магазином была полна народу. Приехали секретарь обкома партии, начальник управления культуры, работники обкома АКСМУ».

В первый день магазин распродал все (!) книги, и на следующий день... пришлось его закрыть, так как нечем было торговать и нужно было

срочно пополнять запас. Добавим только, что перед открытием директор магазина Света Алексеева и ее подруги объездили базы книготорга и забрали в магазин все поэтические сборники, годами пылившиеся на полках складов. Оказалось, что поэзия любима народом и нужна ему, стоит только взяться за это людям с горячими сердцами, влюбленным в поэзию и в свое дело.

Прошел год. Год поисков. Год общения с читателями. И выяснилось, что магазин «Поэзия» превратился в клуб поэзии, занимающийся не только продажей, но и популяризацией книг.

После работы за прилавком становятся активисты: инженеры, рабочие, студенты, писатели... Они рассказывают покупателям о книге, помогают выбрать необходимое, будят интерес к литературе. Магазин радиофицирован: в определенные часы здесь звучат голоса Маяковского, Светлова, Багряцкого, Слуцкого и других наших поэтов.

Магазин работает по принципу «1+20». Это значит, что каждый покупатель, хоть раз посетивший



Это короткое слово над входом привлекает в магазин сотни людей...

магазина, должен привести потом двадцать своих товарищей.

Каждое предприятие Харькова имеет своего общественного распространителя поэтических книг. В совет содействия магазину вошли харьковские поэты Б. Котляров, Б. Чичибабин, заслуженная артистка А. Лесникова, мастер художественного слова, популяризатор и знаток молодой поэзии С. Новожилова, критик Г. Гельфанд-Бейн и другие.

Снят короткометражный любительский фильм о магазине «Поэзия», выпущен памятный значок, собирается библиотека автографов. В магазине можно купить билеты на поэтические вечера, устраиваемые в городе. Представители Таллина, Вильнюса, Воронежа и других городов приезжают в магазин «Поэзия», чтобы перенять опыт.

Когда-то А. Смирдин в одной из своих статей, опубликованных после смерти Пушкина в 1839 году в журнале «Библиотека для чтения», с горечью писал: «Нет русских стихов... Решительно не стоит труда и издержек печатать русские стихи, особенно отдельные книжками; никто стихов не покупает, торговля стихами совершенно упала на Руси».

А сегодня харьковскому магазину «Поэзия» уже тесно в маленьком помещении, не приспособленном для той большой просветительной работы, которой он занимается.



После работы за прилавком магазина становятся любители поэзии — инженеры, врачи, рабочие...

Илья СУСЛОВ

Она стояла в скромном балетном платье с оголенными худыми руками и плечами. Ее широко раскрытые глаза удивленно смотрели на меня. «Ну зачем это нужно, — как бы говорил они, — нельзя ли обойтись без этого интервью? Ведь еще неизвестно, как все получится!»

Но Наташа еще не была Наташей. До этого чудесного превращения оставалось десять — пятнадцать минут, а пока передо мной стояла и разговаривала молодая, двадцатидвулетняя актриса Люся Савельева, исполнявшая роли Ростовой в снимающемся фильме «Война и мир».

Мы беседовали в коридоре студии, и мимо нас, сверкая бриллиантами, жемчугами, золотом орденов и эполет, проходили военные, дамы, господа — гости Элен Безуховой. Через несколько минут должна была последовать за гостями и Люся, чтобы радостной, оживленной Наташей влорхнуть в гостиную дома Элен и закружиться в плавном танце с Василием Лановым — Анатодем Куратиным.

— Люся, скажите, пожалуйста, нашим читателям несколько слов о себе, как началась ваша работа в кино?

— Очень трудно что-либо рассказывать, когда сделано еще так мало. Родилась в 1942 году в осажденном Ленинграде. Родители мои служащие. Поступила в школу. После третьего класса меня приняли в Ленинградское хореографическое училище. В училище была комсоргом класса. Три года назад, после окончания учебы, меня зачислили в балетную труппу театра имени С. М. Кирова. Как я стала сниматься в кино? В Ленинграде меня пригласили на пробу для участия в фильме «Когда разведет мосты...» по сценарию В. Аксенова. Но мой дебют не состоялся. Меня «забрали» в Москву.

ИНТЕРВЬЮ с Наташей Ростовою



Наташа Ростова (Люся Савельева).

Фото В. Уварова.

— Люся, а как же балет?

— Конечно, не забываю. Как только выдаются свободные часы, я занимаюсь танцем. Моя мечта... Как балерины — партия Жизель в балете Адама. Что я люблю? Поэзию и скульптуру. Произведения Родена и античных художников. В них столько чувства, силы, страсти! Вы только посмотрите, как точно их жесты передают со-

стояние человека. Я думаю, что именно балет заставил меня полюбить скульптуру. А произведения Родена и греческих мастеров помогли мне в танце.

— Как вы работаете над ролью?

— Боюсь ответить на этот вопрос точно. Все зависит от того, какую сцену готовлю, что было перед этим, что будет потом. Во всяком случае, прочла много книг о Лье Николаевне Толстой. Перед каждой съемкой, наверное, в сотый раз перечитываю нужные страницы «Войны и мира». Очень помогли мне воспоминания Т. А. Кузминской.

И знаете, может быть, это удивит вас, но образы Наташи и Пьера мне кажутся удивительно современными... или, как говорит, «актуальными». Ведь раздумья Наташи и Пьера — это общечеловеческие раздумья о красоте душевной, о порядочности, честности, о жизненном призвании — дороги нам, очень волнуют нас и сегодня...



Люсю — Наташу приглашают в павильон.

Всех, конечно, интересует: какая она, Наташа? Ведь еще у многих свежи в памяти кадры из американского фильма «Война и мир», где роль молодой Ростовою исполнила талантливая актриса Одри Хепбери. В будущем специалисты, историки кино, наверное, напишут подробные исследования о фильме и сравнят его с американским, но мне пока хочется высказать свое

мнение: я лично всегда, с первого прочтения «Войны и мира», представлял себе Наташу именно такой, как внешне выглядит Люся Савельева и как она ее играет. Впрочем, каждый в недалеком будущем сможет дать свою оценку. Ждать появления первой серии фильма на экранах страны осталось немного.

Ю. МАКСИМОВ



ПОПУТНОГО ВЕТРА!

Рассказывают члены клуба «Алые паруса»

Конечно, сначала надо представить:

— Здравствуйте. Мы литературный клуб «Алые паруса» 239-й школы Ленинграда. Редакция «Юности» попросила нас рассказать о себе. И вот мы спорим: о чем нам писать?

— Я бы прежде всего объяснил, почему наш клуб называется «Алые паруса», — говорит капитан клуба Женя Друбецкой. — Об этом сказано у нас в манифесте: «Алые паруса... Наверное, каждому снились они, наверное, каждый мысленно стоял у штурвала алого фрегата, вспоминая гриновскую сказку. И для того, чтобы она никогда не умирала, вселяя в сердца людей большую, настоящую тревогу, мы создали наш клуб. Мы зовем к себе тех, кто любит людей и книги, дороги и море. Тех, кто любит

Землю. Тех, кто любит Поэзию. Тех, кто умеет спорить. Тех, кто умеет мечтать. Алый цвет — цвет нашего полного романтики времени. Мы за вечное беспокойство сердца, за поднятые тугие паруса».

Мы родились из снапок Грина. Они учили нас дерзать. Мы в экипаже Бригантины И мчим на алых парусах...

— Итак, вы уже знаете, что у нас, как в каждом экипаже, есть капитан. — Это вступает в разговор старпом Саша Зильбергейт. — И, как у всякого капитана, у него есть кортик — символ капитанской власти. В день рождения клуба, когда «Алые паруса» отплывают в свой следующий год (а мы уже в пути третий год), прежний капитан передает кортик новому. Принимаемая кортик, новый капитан клянется «вести Бригантину по бурному морю жизни и искусства, не страшась мелей и рифов», клянется «крепко держать штурвал, чтобы никогда не повисли алые паруса». Есть у нас также испытанный лоцман — учительница литературы Ида Ильинична Славина. И об

этом, я думаю, нужно тоже рассказать в статье.

— И еще о том, что наш клуб не для каких-то литературных сверхталантов, а для всех, кто просто любит искусство, литературу и кто делает в них свои первые шаги, — говорит Наташа Большакова, наш художник. — Да, многих из тех, кто создавал клуб, уже нет в школе, но они с нами. Ведь их стихи, рассказы, повести печатаются в нашем альманахе, их письма летят к нам со всех уголков страны. А в день рождения клуба мы собираемся все вместе, и «старички» рассказывают. Письма... Они приводят нас в далекий Владивосток, где сейчас живет Володя Медведев. На далеком Севере строит новый город Маша Шейкина — командир нашего первого походного отряда. В Риге нас встретит Володя Иванов. Он давно мечтал стать летчиком и сейчас учится в институте ГВФ.

— Все это так, ребята, но мы же не сказали еще о литературных «пятницах». А с них, собственно, все и началось! — восклицает Миша Ивашко. — Еще не было клуба, но были любители литературы и искусства, любители споров и обсуждений. И был кабинет литературы, в котором можно было задержаться после уроков, поговорить, поспорить. И самым удобным днем для этого оказалась пятница... А потом, когда уже родился клуб, стали собираться не успех, после уроков, а вечерами, с предварительной подготовкой. Наши секции — литературная, музыкальная, творческая — готовят каждая свою «пятницу». Предусматривается все — от тематики вечера до оформления помещения. Бывают «пятницы-встречи», «пятницы-беседы», «пятницы-диспуты». И каждый раз кабинет литературы преобразуется. То он превращается в арену для споров: два длинных стола для команд «за» и «против», стол для судей, места для болельщиков. То — в театральный зал. То — в кафе поэтов или таверну под поэтическим названием «Дырка в парусе». Сколько интересных людей побывало у нас! Всеволод Рождественский и



Члены клуба «Алые паруса» в гостях у «Юности». О клубе рассказывает его капитан Женя Друбецкой. Наверху — значок членов клуба «Алые паруса».

Лев Успенский, Леонид Борисов и Константин Симонов, молодые поэты Виктор Соснора и Леонид Палей, артисты Ю. Толубеев, И. Горбачев, главный режиссер ТЮЗов З. Корогодский, композитор Сергей Слонимский — этот список может быть очень большим. Многие из них стали почетными членами клуба, и мы бережно храним письма и книги К. Паустовского, С. Маршака, Вс. Рождественского. И сколько жарких споров, сколько крайних мнений сминали стены нашего кабинета литературы!

Мишу перебивает Лариса Якушкина:

— Я недавно в клубе. Хочу сказать, что те, кто приходит на наши «пятницы», недолго остаются просто зрителями и слушателями. Всем находится дело. Я навсегда запомню ту «пятницу», в подготовке которой первый раз приняла участие. Она была «о людях, что ушли, не дожив, не докурив по последней папироске». Раньше я и не знала о Павле Когане, Николае Майорове, Василии Кубаневе, Всеволоде Багрицком, Сергее Чекамаеве, которые так же, как и мы, стремились идти в жизнь под алмами парусами. ...Погас свет в кабинете. Только светятся на доске слова: «Мы лобастые мальчики невиданной революции». Я очень волновалась, когда вступила в освещенный круг и начала читать те-

перь дорогие мне стихи Павла Когана. Эту «пятницу» мы потом повторяли на студии телевидения. «Алые паруса» вышли в эфир!

— Нет, «пятницы» — это еще не клуб, — как всегда, хором говорят две сестры Рождественские — Таня и Милена. И Таня рассказывает:

— Клуб родился в походах. Дорога — символ движущегося вперед времени, и вот уже в третий раз мы отправляемся в путь. Мы никогда не забудем нашей первой поездки летом 1962 года в Ясную Поляну и Тарусу. Потому что без ясныхполянских парков и тарусских дорог в лугах над Окой, без поленовского дома и стихов у памятника Маяковскому в Москве не родилось бы то, что нас объединило, — желание не только принимать, но и отдавать то хорошее, что мы получали. Здесь выросла наша дружба. А летом 1963 года мы поехали в Пушкинские Горы и Псков. Вспоминаются роцци Михайловского, дорога в Тригорское по берегу озера Маленец, темные аллеи Петровского парка, облака над Соростью и простой мраморный обелиск на могиле поэта у стен Святогорского монастыря... Близится лето, и нас ждет новый путь — в Крым. Мы хотим увидеть городок, где жил и умер человек, придувавший «Алые паруса», на-

учивший нас мечтать, — Александр Грин.

— Нужно, по-моему, рассказать и о нашем творчестве, — вмешалась Наташа Афанасьева. — Помните плакат: «Алые паруса» приглашают начинающих авторов на чашку кофе. Кабинет литературы превратился в милое, уютное кафе. Лариса Бессекерская, наш первый капитан, представляла поэтов. Каждый открывался по-новому. Помню, Милена Рождественская прочитала свое «Давнее»:

Половодьем пути отрезаны
В город мой, что высок и бел.
Я пишу «чертамы» и «резамы»
На бересте письмом тебе.
Ты — мой солнцем и сердцем

Так снова мой говорит, велено,
Я пишу его очень медленно...
Целых десять веков подряд.

Потом с успехом выступали со своими стихами Додик Раскин, Юра Блатинский, Таня Рождественская, Володя Иванов и другие.

— Ребята, — говорит снова Женя Друбецкая, — вы не находите, что заметка для «Юности» уже готова? Собственно, каждый сказал то, что считает самым важным в жизни нашего клуба. И, по-моему, закончить надо куплетом из нашей песни:

...Каждый прожитый год —
Это новых дорог километры.
Всем, кто с нами идет,
Пожелайте попутного ветра.



ПОЭТЫ «ЮНОСТИ» В СИБИРИ

Поэтический Олимп в Новосибирске находится в электро-техническом институте. Только поэты погружаются там не в надмирное уединение, а в тысячеглазое, тысячеголосое море, которое часами может поглощать стихи. «В НЭТИ лирика, как физика, обязательный предмет» — эти слова студенческой песни любят повторять Евгений Рополот, руководитель литературного объединения этого института.

С 25 марта по 1 апреля в Ново-

сибирские на традиционной весенней Неделе поэзии выступали авторы «Юности» — москвичи: Игорь Волгин, Олег Дмитриев, Инна Кашежева, Станислав Лесневский, Булат Окуджава. Вместе с ними во встречах участвовали поэты-новосибирцы: Илья Фоняков и Леонид Чикин.

На этих встречах — а их было четырнадцать — побывало около десяти тысяч слушателей. Авторы журнала посетили также и знаменитый теперь на весь мир го-

род науки под Новосибирском. Хозяева лабораторий гостеприимно встретили поэтов.

Удивительная и прекрасная черта нашего времени — небывалая тяга к поэзии — была воочию продемонстрирована сибиряками.



Электрокардиоманометр — подарок НЭТИ журналу «Юность». Своего рода «электрослушатель»!

РАЗГОВОР ВЕДЕТ ПЕДАГОГ

В какой мере повести, рассказы, стихи, очерки, печатаемые в «Юности», помогают решать задачи коммунистического воспитания юношества? Как использует учитель материалы «Юности» в своей работе по идейному и эстетическому воспитанию школьников?

Большой разговор об этом состоялся в первых числах апреля у писателей с педагогами в Центральном Доме литераторов. Эта конференция-дискуссия была устроена Творческим объединением детских и юношеских писателей московской писательской организации и Институтом художественного воспитания Академии педагогических наук РСФСР.

В дискуссии, помимо авторов и работников журнала «Юность», приняли участие специально приглашенные учителя Москвы, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Магнитогорска и других городов РСФСР. Пришла и группа старших школьников, пожелавших принять участие в разговоре на темы, непо-

средственно затрагивающие их интересы.

В выступлениях педагогов отмечалось, что произведения, появляющиеся в «Юности», всегда вызывают у школьников живой интерес, жаркие споры на уроках и вне школы, помогают учителю развить у юношей и девушек любовь к литературе, разумное отношение к прочитанному.

Тов. Т. Д. Полозова из Института художественного воспитания Академии педагогических наук РСФСР рассказала, что в процессе подготовки к этой встрече были собраны и проанализированы тысячи читательских писем, проводились специальные собеседования со школьниками старших классов.

Много добрых слов было сказано о романах Ю. Пилыра «Люди остаются людьми» и В. Орлова «Соленый арбуз», о повестях Ю. Семенова «При исполнении служебных обязанностей», М. Красавицкой «Если ты назвался смелым», М. Прилежаевой «Третья Варя» и некоторых других произ-

ведений молодых прозаиков. Ребята с воодушевлением читали письма Володи Корнилова, напечатанные в журнале «Юность» № 8 за 1963 год, под заголовком «Человек нашего времени».

Преподавательница Э. Н. Горюхина из Новосибирска и ряд других педагогов упрекали отдельных авторов «Юности» в том, что они в какой-то мере снизили нравственные критерии при создании литературных персонажей своих повестей и рассказов. С этой точки зрения критиковались повести В. Аксенова «Апельсин из Марокко», А. Гладилина «Первый день нового года» и Г. Садовникова «Суета сует». Однако, как показала дискуссия, и по поводу этих по многим спорным произведениям существуют разные точки зрения.

Дискуссия прошла оживленно, показала высокую заинтересованность педагогов в дальнейшем улучшении идейного и художественного уровня журнала «Юность».

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ



В Большом зале Политехнического музея на одном из очередных вечеров лектория для учителей состоялась встреча педагогов столицы с авторами журнала «Юность» и сотрудниками редакции.

Краткое сообщение о планах работы «Юности» сделал ответственный секретарь редакции А. Железнов.

После выступлений педагогов, учащихся, старших классов и научных работников поэты Б. Ахмадулина, Ю. Друнина, Ф. Искандер, М. Львов, А. Юдахин, критики А. Лазарев, Ф. Кузнецов, сотрудники сатирического отдела «Пилесос» А. Арканов, Г. Горин, М. Розовский читали свои произведения и делились мыслями о работе журнала.

Юлия Друнина читает свои стихи на вечере в Политехническом.

Последний ДОМ



Леонида Плешакова влекут морские просторы. Юрист по образованию, журналист по профессии, он плывал матросом на рыболовецком судне, участвовал в кругосветной научной экспедиции из негласитной шхуны «Заря». Выступает с заметками и корреспонденциями в газетах. В журнале печатается впервые.

МОРЯКА

Вечером 7 августа 1962 года из бухты «Золотой Рог» в Японское море вышло трехмачтовое парусное судно. Покидая Владивосток, единственная в мире нематингная шхуна «Заря» Академии наук СССР начинала свой шестой научно-исследовательский рейс по изучению магнитного поля Земли на поверхности океана. Впереди лежал путь более чем в 30 тысяч морских миль. Это десять месяцев утомительного рейса с дикими холодными штормами Охотского моря и северной части Тихого океана, одуряющей духотой Океании и невыносимым зноем экватора. Но каждый из членов экипажа «Зари» знал и другое: путешествие будет интересным. Япония, Камчатка, Канада, США, Гавайи, Фиджи, Таити, Маркизы, Мексика, Панама, Куба, Дания. Чтобы побывать в этих местах, каждый согласился перенести невзгоды трудного морского путешествия.

Во всяком случае, автор этих строк, узнав, что «Заря» зайдет на остров Таити и в Сан-Франциско, сменял работу в областной газете на должность матроса в потом техника шхуны «Заря».

От Сан-Франциско рукой подать до Джеклондской Луинной Долины. Всего миль семьдесят.

Таити. Я не могу объяснить, почему привлекал меня этот остров. Я знал о нем все, что можно было прочитать. Но книги — это одно. А пройти по мокрому от прибоя песку, где когда-то ходил Джеймс Кук, — это другое.

И Самоа. С тех пор, как я впервые прочел «Остров сокровищ» Стивенсона, я мечтал попасть на остров Самоа, где писатель провел свои последние годы, где он похоронен самонами на вершине горы. Из русских мореплавателей только Макарову удалось побывать на Самоа — и то лет восемьдесят назад.

И вот в конце 1962 года, когда шхуна «Заря» шла с Гавайи на острова Фиджи, нам прислали из Моск-

вы телеграмму, в которой рекомендовалось после Фиджи зайти с визитом дружбы в порт Аппа, столицу нового самостоятельного государства — Западного Самоа. Оно только в 1962 году провозгласило свою независимость и было сразу же признано Советским Союзом.

Весь экипаж «Зари» радовался случаю первыми из советских людей побывать на островах Самоа. Ну, а я рад был вдвойне.

Не буду рассказывать о стройных кокосовых пальмах, склонившихся к океану, об узких самонаских пирогах с балансирами, которые встретили нас. И даже о прекрасной, отороченной коралловыми рифами бухте, где в сотне метров от берега торчат проржавевшие останки германского крейсера «Адлера». На то здесь и тропики, чтобы росла кокосовая пальма. На то и Океания, чтобы были люди с балансирами. На то и бывшая колония, чтобы империялисты оставляли следы своего хозяйничанья.

Первым из европейцев на Самоа побывал в 1722 году голландец Роттенев, позже — французский мореплаватель Бугенвиль. Он назвал их островами Навигаторов (Мореплавателей). Далекие земли были лакомыми кусочками для колонизаторов. Жаркий, влажный климат. Вечное лето. Самоанцы говорят: если в нашу землю воткнуть расческу, вырастет пальма.

Сначала на острова пришли миссионеры: англичане, немцы, американцы. Потом купцы и консулы: немцы, американцы, англичане. На крошечных островах, затерявшихся в Тихом океане, соперникам было тесно. И тогда к островам приплыли военные корабли: английские, немецкие, американские. В марте 1889 года они стали на рейде города Аппа, тщательно прищипывая в бронированные бока друг друга. Решить спор, чьи бока крепче и чьи пушки мощнее, помешал ураган, который разразился 16 марта. Он потопил три американских и три немец-

ких корабля. Англичане успели уйти в открытое море, где и переждали непогоду. Ржавый остов «Адлера» — памятник той бурной ночи.

В 1899 году острова Самоа поделили между собой США и Германия. Американцам досталась восточная часть архипелага, немцам — западная. После первой мировой войны западная часть перешла под управление Новой Зеландии в качестве мандатной территории. С 1947 года это — подопечная территория Новой Зеландии. И только в январе 1962 года Западное Самоа получило политическую независимость. Восточное Самоа до сих пор — подопечная территория Соединенных Штатов Америки.

В воскресенье утром Аппа не похожа ни на какой другой город. Набережная, охватившая полу-крутом бухту, пустыня. Закрыты двери крошечных магазинчиков. И бесчисленные церквушки еще не тревожат прихожан звоном колоколов. Нет ни автомашин, ни велосипедов. Нет даже рыболовов у берега.

Еще накануне парин-самоанцы показали нам гору Ваза и сказали, что до вершины, где похоронен Стивенсон, четверть миль... две миль... пять миль... и вообще рукой подать. Можно просто сесть в такси и объехать гору по дороге, ведущей к плантациям какао, подняться по тропинке за четверть часа.

Нас было четверо, и мы решили плонуть на такси и на асфальтовую дорогу к плантациям какао. Мы просто пошли к подножию горы, под которой раскинулась Аппа, смеюясь, что одна из трех вершин этой горы обязательно будет та, что нам нужна, и что ребята со стивенсоновской «Испаньолы» поступили бы точно так же.

...Пока мы шлепаем по мокрой после дождя дороге к подножию горы, я познакомок вас с нами. Впереди иду я. Меня зовут Старик. Потому что я старше всех. Сегодня последний день мне тридцать лет. Завтра стукнет тридцать один. Весь этот поход — моя затея. И я единственный, кто видел в каком-то журнале фотографию могилы. Следом за мной идет Док. Ему 25. Он с Волги. На Волге нет пальм, и Док целакает «Зорким» налево и направо, забывая менять диафрагму и выдержки. Я уверен, пленка получится дрянная, и вечером он, как обычно, будет выклянчивать у меня кадрички. Завершают группу два дружка: Князь и Сибиряк. Им по 21. Мальчишки. Первый долго жил в Тбилиси, поэтому и кланча — грузинский Князь. А Сибиряк — потому что из Сибири. У Князя, как всегда, нелады с «Фадом», а Сибиряк отстал из солидарности.

Мы нарочно не называем друг друга по имени. Настоящее путешествие не терпит имен. Такова обычай. Мы шлепаем по мокрой дороге и видим, как начинается воскресное утро города. По бокам, в буйной зелени кокосовых пальм, бананов и хлебных деревьев — дома самоанцев. Столбы подпирают высокую крышу из пальмовых листьев. Между столбами натянуты стены — циновки. Сейчас стены подняты или сняты и растелены по двору для просушки. Поэтому все, что делается в доме, видно и прохожему и соседу. Кто завтракает, а кто только готовится завтрак. В одном доме бешено стучит зингеровская швейная машинка, в другом усердно отбивают поклоны, слушая радиопередачу утренней мессы. Прибавьте к этому вырвавшиеся откуда-то крик джаза, визг полосатых длинноногих поросят, де-рущихся в канаве, лай собак — и вы поймете, что в городе наступил новый день.

Скоро мы уперлись в подножие горы, не представляя, куда идти дальше. Из соседней хижинки нас по-

звали. Подошли. Питеро мужчине сидели вокруг огромной деревянной чаши с какао. Чашечка из скорлупы кокосового ореха ходила по кругу, и каждый с блаженным потягивал эту мутную жидкость с привкусом древесных опилок. Рядом два парня толкали булыжниками сухие корни дикого перца, чтобы, забавая на воде полученную муку, приготовить еще порцию любимого напитка полинезийцев. Кава на островах Океании — то же самое, что чашечка кофе в Бразилии. Нас уверяли, что она утоляет жажду, бодрит и благотворно действует на ноги. Однажды на Фицджеральда мы целый вечер пили в гостях каву, а потом четыре мила шли пешком. И прошли бы еще десять, если бы не хотелось после кавы спать и пить.

Но каву еще и напиток дипломатии. Тут без нее не принято вести серьезных разговоров. Мужчины зачерпнули нам по чашечке, и мы выпили. Они заинтересовались, кто мы. И вежливо сказали, что рады познакомиться с первыми людьми из Советской России. Потом они спросили, когда мы запустим человека на Луну, и остались довольны, узнав, что скоро. На островах не любят быстрых разговоров. Тем более за чашкой кавы. Тут можно просто думать вслух. Никто тебя не перебивает. Но у нас не было времени. Когда один из мужчин предложил нам полюбоваться самоанской татуировкой — сплошным синим орнаментом, покрывшим его тело от колен до самого пояса, — я скромно оставил вопрос:

— Вы не можете нам указать дорогу на могилу Стивенсона?

— Могилу Тузилата? Я сейчас вам нарисую карту, — сказал один.

Я чертыхнулся, что забыл на корабле блокнот и авторучку. Но мужчина взял коробку сигарет и обгорелой спичкой стал рисовать карту.

— Это одна тропа, это другая. Это третья. Вы идете по четвертой. Тут равнина. И снова три тропы. Но вы идете по одной на первую вершину. Тут снова две тропы. Вы идете по правой, потом сворачиваете влево...

На корабке уже не осталось свободного места, а он все говорил и говорил.

— Хорошо, — сказал я. — Мы ничего не поняли, но пойдем.

— Хев зо биг найф? — спросил мужчина. Я показал ему перочинный ножик. Он засмеялся. — Без большого ножа там нечего делать. Я вам дам провожатого, он укажет дорогу.

Мы успели выпить еще по чашечке кавы, когда подошел стройный смуглый парень лет 18. Кусок пестрой материи, обернутый по самоанскому обычаю вокруг бедер от пояса до колен, составлял его единственную одежду. В руках он держал огромный тесак, который в Латинской Америке зовут матете...

...Тропинка бежит в гору между стволами кокосовых пальм и развесистыми хлебными деревьями. В их душистой, прогретой тени млеют двух-трехметровые кусты какао. Их темно-зеленые, розоватые и багровые листья мерцают глянцем, точно в испарине. Огромные разноцветные плоды кажутся неестественными на коротенькой, тоненькой плодоножке. И уж совсем экзотично выглядят переползающая через тропу пасть обыкновенной тывки с желтым сочным цветком и лопушистыми листьями.

Наш провожатый пружинистой легкой походкой идет впереди. На развилке он останавливается, поджидая нас, а потом снова уходит вперед, и оттуда доносится только шелест его «биг найфа», которым он рубит заросли. Мы не знали даже, как его зовут. При знакомстве он сказал свое имя, но оно состоя-

по главным образом из гласных звуков, что-то вроде Аллизатоэ. Запомнить его было невозможно. Я еще раз пожалел, что забыл записную книжку и ручку, и успокоился, убедившись, что наши имена парень тоже не в силах ни произнести, ни запомнить.

Я старательно выбирал для своих парадных мокасин более или менее сухие участки в той невообразимой каше, в которую превратили тропу дождь и острые копыта поросят. Док отрывисто щелкал у меня над ухом, а Князь с Сибиряком старался обуздать строптивый характер своего «Феда».

Поляна открылась неожиданно. Это была одна из ложных вершин горы, поросшая высокой жесткой травой вроде нашей осоки. Наш проводник вынул из-за пояса бутылку с деревянной пробкой.

— Самоанское вино, — сказал он.

Мы отхлебнули по глотку напитки, который напоминает чем-то домашнюю бражку, и присели передохнуть. Проводник ушел в заросли и скоро вернулся с пучком длинных прямых прутьев. Потом он срубил ветку потопче, затесал ее, вбил в землю, содрал с прутьев кору и ловко сплел из лыка пуги, какими обычно стреноживают лошадей. Он надел их на ноги и, ухватившись за ствол пальмы руками, подтянулся. Потом, упруго упершись ногами в ствол, перехватил руками вышле. Со стороны казалось, будто он прыгает вверх по вертикальному столбу. Добравшись до кроны, он стал бросать вниз огромные кокосовые орехи. А спустившись, срубил верхушки орехов и подал нам. Мы напiliśmy кокосового молока.

— Наверку нет воды, — сказал он, — эти мы возьмем с собой. — И, подобрав оставшиеся орехи, насадил их на заостренный кол, счистил толстую волокнистую оболочку, а ядра связал лыком.

Мне кажется, мы идем целую вечность. Солнце поддает змею жару, и та, потев, обволакивается душной пленой испарений. Наши мокрые рубашки можно стелать, не окуная в воду. Влага течет с лиц за ворот рубашки, где и без того не сухо. И воздух одуряюще пахнет распыренной травой, как пахнут японские сенюсы где-нибудь под Эльцом. Голос нашего проводника теряется далеко вперед.

Мы миновали расчищенный от джунглей участок с молодыми побегами кокосовых пальм и уперлись в темную стену первобытного леса.

— Это первая вершина, — говорит наш проводник и, срубив верхушки у орехов, дает нам напиться. Мы сидели на траве, оттягивая момент, когда нужно будет встать и войти в темную гущу леса. Не думайте, что мы из робкого десятка, но в тот момент я никогда не удивился бы, если бы вдруг за спиной услышал любимую песню капитана Фанита:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рома!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рома!

И действительно, в кустах раздался гортанный крик. И наш проводник сразу же ответил таким же криком.

— Ну, братцы, умрем достойно, — сказал я.



Наш проводник.

сверху раздаются выкрики, но мы не знаем, кто это: обезьяны, попугай или еще какие-нибудь животные.

Тропы давно нет. Она базисно отступила перед лесом, бросив нас на опушке. Наш проводник безостановочно рубит ланан, прокладывая путь к гробу. Он испотел, и смуглая мускулистая спина лоснится в сумраке, точно спина обнаженного шахтера в забое. Ноги скользят по сочной, как хвощ, траве, одетой глыбы каменной платиной ковров. Ноги проваливаются в щели между глыбами. А сверху сыплются нудные теплые капли воды.

Мы выбираемся на гробень и преодолеваем последние метры. Вот уже мы стоим на второй, самой высокой вершине горы. Далеко под ногами лежат два ровных ряда соломенных крыш католического колледжа. Оттуда доносятся звон колокола и гуакие сложные переборы деревянного барабана лани. Между нами и колледжем кружится стая рыжих коршунов. Штук сто. Они как-то странно взмывают крыльями, сходящимися треугольником от головы к хвосту.

— Летящие лисцы, — сказал кучерявый.

Проводник срубил в зарослях гроздь бананов и подал кучерявому. Бананы должны были еще полежать с неделю, чтоб созреть. И мы решили, что ребята хотят отнестись их домой. Минут через десять перед нами неожиданно открылся расчищенный поляна. По ее краям росли высокие кусты китайской розы, усыянные красными цветами.

В центре поляны на низком, плоском постаменте стояло скромное надгробие. Кое-где с него была содрана штукатурка, и оно все было испещрено росчерками посетителей. На передней и боковых сторонах надгробия были укреплены бронзовые плиты. Мы прочли:

Роберт Луис Стивенсон
1850 — 1894.

Дальше шли восемь строк стихов.

— Это его «Реквием», — сказал кучерявый и запел приятным дискантом:

Под широким и звездным небом
Выройте могилу и положите
Радостно я жил, и радостно умер,
И охотно лег отдохнуть.
Вот что напишите в память обо мне:
Здесь он лежит, где хотел
Домой вернуться моряк,
домой вернулся он с моря,
И охотник вернулся к холмов.

— Это теперь наша народная песня, — сказал кучерявый. — Мы ее все поем. С другой стороны ее написана по-самоански. А впереди плита поставлена его женой Фанни Осборн в двадцатую годовщину его смерти.

Вверху, на плите с самоанским текстом, мы прочли:

«О ле Оли Олиаса о Тузитада».

«Тузитада» по-самоански — «слагатель историй». Это имя самоанцы дали Стенсену, когда появилось первое печатное произведение на самоанском языке. Это был стенисоновский рассказ «Дьявольская бутылка», и тема его была заимствована из полинезийских сказок. Писатель стал любимцем самоанцев. Они любили и уважали его еще и потому, что пять лет жизни на Самоа были для Стенсена годами борьбы против угнетения и грабежа туземного населения империалистическими колонизаторами. Он пишет гневные статьи и письма, разоблачая колонизаторов. Он даже обращается к германскому императору с призывом остановить бесчинства и боюры его чиновников на Самоа.

Пусть все это не дало результата, пусть далекие острова только сейчас, через 70 лет после смерти писателя, получили самостоятельность. Но он жил в сердцах внуков и правнуков тех туземцев, чьи права он защищал. Они помнят его и считают своим.

Мы удивились, когда ребята-самоанцы уселись на надгробии, а наш проводник улеся спать на постаменте, положив под голову бутылку.

— Он сказал, чтобы после его смерти мы приходили сюда и отдыхали на его могиле. И охотник, что охотится здесь, чтобы пришел посидеть на этом камне, и моряк... Кучерявый говорил «она», не называя Стенсена по имени, как будто это был его хороший приятель. — И место для него мы выбрали, чтоб отсюда он видел и море, и небо, и лес.

Место было действительно отличное. Слева, насколько хватало глаз, простирался океан. Он сливался с небом, границы не было видно, и от этого он казался еще бесконечнее. Белая нитка прибоя, коралловые рифы, голубые спокойные бухты, пальмы, соломенные крыши домов, плантации.

Каждый из нас всем хороним и плохим, что в нем есть, обязан людям. И если во мне есть несколько крупин хорошего, одной из них я обязан Стенсену. Это он первый убедил меня, что море прекрасно, что оно стоит того, чтобы побродить по нему. Он сказал мне, что поиск — великая штука и что нужно искать, не боясь трудностей. Другие тоже говорили мне это. Но позже. Он был первым.



Могилка Стенсена.

— Вы можете ножом расписаться на могиле, — сказал кучерявый. — Или отколоть на память кусочек камня. Так делают все туристы. Все равно ее покрывают каждый год новым слоем цемента.

— Нет, старина, мы не будем откалывать камень, мы поступим так, как поступали его герои, как поступил бы он сам.

Док вырезал machete кусок дерна у левой стороны постаamenta и выкопал ямку. Мы пожалели еще раз, что не захватили с собой ни бумаги, ни карандаша. Но мы нашли выход. Опустили в бутылку советские значки с видом Кремля и Красной площади, значок с нашей ракетой, летящей к Луле, несколько спортивных. Мы закупорили бутылку и осторожно закопали ее. А когда прикрыли дерном, то нельзя было уже определить, где наш тайник.

— Вы возьмете бананы? — спросил я кучерявого.

— Нет. Они останутся тем, кто придет позже. Пусть дозреют.

Теперь можно было уходить. Мы в последний раз взглянули на серый камень и пошли по тропе, которая зигзагом уходила вниз, к дороге на плантацию. Мы прошли сквозь лес и искупались в водопаде, сфотографировали на память глубокое ущелье горной реки и через час были на дороге. Но отсюда, снизу, уже не было видно могилы. Мы повернули к шхуне...

Если кто-нибудь из прочитавших эти строки когда-нибудь попадет на остров Уполу, пусть он поднимется на гору Ваза — там покинется хороший человек Роберт Луис Стенсен. С северной стороны могилы в полутора метрах от передней стены он откопает бутылку с советскими значками. Опустите в нее записку с нашими именами.

Владимир Матвеевич (живет сейчас во Владивостоке) и Виктор Манохин (уроженец Алтая), курсанты Владивостокского высшего мореходного училища, матросы шхуны «Заря». Анатолий Гусаров (из Калинин), доктор нашей шхуны, и я, Леонид Плешаков, техник «Зари» [родился в Донбассе, а жить пришлось всюду].



«МОЛОДЫЕ



ВЕТЕРАНЫ»

Восьми чемпионатах Европы — семь первых мест и одно — третье. В двух чемпионатах мира — одно первое место, одно — третье. В трех Олимпиадах — три вторых места. Таков послужной список сборной мужской баскетбольной команды СССР. Как видите, она имеет моральное и юридическое право именоваться сильнейшей на континенте и второй в мире.

Мне хочется рассказать об одной из причин, которой объясняется на редкость ровная игра команды в течение всей ее 17-летней истории. Речь пойдет о проблеме, с которой приходится сталкиваться не только баскетбольным тренерам, но и их коллегам: футболистам, хоккеистам, волейболистам — короче говоря, всем тренерам, работающим с командами. Я хочу поделиться своими раздумьями о принципах комплектования сборной.

Кандидаты в сборную команду (все равно какую — города или страны, баскетбольную или хоккейную) делятся обычно на две группы. Первая — это игроки, в отношении которых нет никаких сомнений: они обязательно нужны в сборной. Вторая — те, которым еще требуется сдать экзамен на право быть принятым в команду. Зачастую складывается такая ситуация. Один кандидат, как говорится, уже в возрасте, но у него есть опыт, накопленный в турнирных боях. Второй же еще не нюхал пороха, но у него в активе задор молодости. Вот тут-то тренеру и приходится решать древнюю, как сам спорт, задачу: «Кому отдать предпочтение — ветерану или новобранцу?»

Не думайте, что я сейчас раскрою вам формулу, с помощью которой можно решить эту задачу. Такой формулы нет. В каждом конкретном случае задача эта ре-

Встреча американской и советской сборной весной 1964 года. Американец «оседлал» Армена Алчачана.

Фото Ю. Маргулис.

шается по-разному. Каждый тренер решает ее по-своему, причем каждый убежден, что прав именно он, а не его коллега, который предлагал иное решение. Нет, я не собираюсь давать готовых рецептов. Я просто расскажу, как эту проблему разрешили мы, тренеры сборной баскетбольной команды СССР.

Сборная команда страны родилась в 1947 году. С тех пор почти перед каждым турниром она пополнялась одним, а то и двумя новичками, которые, казалось бы, не должны были «призываться» в сборную. В стране были баскетболисты и посильнее. Но мы руководствовались интуицией, поступая так.

Уже много лет спустя мы получили доказательства, что такой метод комплектования сборной команды страны был правильным. Своим печальным примером это подтверждали наши друзья. В 1955 году сборная команда Венгрии, обыграв всех своих соперников, в том числе и нашу команду, завоевала титул чемпиона Европы. «Погоду» в венгерской команде делали для Йоноша — Гремнигера и Шимона. Первый был великолепным дирижером, второй — таким же великолепным центровым. Тезки были еще не стары, но уже достаточно опытные: в их активе значились Олимпиада в Хельсинки и московский чемпионат Европы 1953 года. Спустя шесть лет после того, как венгерская сборная стала чемпионом континента в 1961 году, в ней по-прежнему на первых ролях были Гремнигер и Шимон, но команда уже перекочевала в разряд середнячков. Столь же неприятную метаморфозу претерпела и сборная Болгарии, в которой вот уже на протяжении 8—9 лет задают тон центровые игроки Илья Мирчев и Виктор Радев.

Гремнигером, Шимоном, Мирчевым, Радевым восторгаются, называют их ностальгическими ветеранами.

Если подходить к вопросу комплектования команды с позиций формальной логики, надо будет признать, что венгерский и болгарский тренеры были правы. Эти четыре игрока все время были сильнейшими, следовательно, на них и нужно было делать ставку. Но в команде, где ставка делается только на ветеранов, искусственно создается разрыв между ними и молодыми игроками. Молодые действительно оказываются слабее, потому что проводят больше времени на скамейке запасных, чем на площадке в игре.

Конечно, «эзакат» сборных команд наших друзей объясняется не только этой причиной, хотя убежден, что она одна из главных. Насколько мне известно, это поняли и тренеры команд Венгрии и Болгарии. Они сделали правильные выводы, и, по всей вероятности, в ближайшее время болгарская и венгерская сборные вновь станут грозными для соперников коллективами.

Мудрая давнишняя поговорка



Геннадий Вольков «кладет» мяч в корзину.

гласит: «Если б юность знала, если б старость могла». Это изречение имеет прямое отношение и к спорту. Ветеран, для которого уже нет секретов, многого, увы, не может. Новобранец же может многое, но еще большего не знает. Вот почему на первых порах интуицию, а затем сознательно мы призывали в сборную тех, у которых все было еще только впереди. Не в наших силах омолодить ве-

теранов: в борьбе со спортивной старостью тренер так же бессильен, как и врач, борющийся со старостью обыкновенной, — в том и другом случае успехи незначительны. Но зато мы могли и обязаны были создать новый тип ветерана — молодого игрока, который вопреки грустной поговорке уже все бы знал и к тому же все умел. Такого игрока в теплице не вырастишь. Из всех известных мне способов обучения плавать лучший тот, когда новичка бросают в воду.

В 1952 году мы повезли в Хельсинки еще совсем зеленую пару — Стасиса Стокуса и Майгана Вадманаса. На следующей Олимпиаде, в Мельбурне, дебютировали Ваддис Муйжикнекс, Михаил Студенецкий и Виктор Зубков. Чемпионат Европы 1957 года был первым в спортивной карьере Гурара Минашвили. Через год в сборную призвали Юрия Корнеева, в 1959 году — Александра Петрова и Геннадия Волькова.

Я назвал тех, кого через некоторое время уже знал весь баскетбольный мир. Конечно, нам встречались и такие новички, которые так и не вышли из разряда подающих надежды. Но подобные ошибки были редкими, а поэтому и не смущали нас. Не останавливали нас и то, что всякий раз молодой парень ехал вместо того, кто был в этот момент сильнее, но, как говорится, уже «донгрывал». Конечно, команда из-за этого кое-что тердела. Но через несколько лет нанесенный ей ущерб полностью возмещался. И даже с лихвой. Муйжикнекс и Зубков ничем особым не проявили себя в Мельбурне. Но через год на чемпионате Европы в Софии команда получила от них даже больше, чем ждала.

Незаметными были дебюты и других игроков, о которых я говорил. И это не удивительно. Зато вторые турниры каждого из них становились триумфом, таким же, как у Зубкова и Муйжикнекса. И это тоже не удивительно: в свои 22—23 года игроки уже многое знали, уже все умели. В свои 22—23 года они были ветеранами, «молодыми ветеранами».

Я сам кончила играть, когда мне исполнилось 41 год, и хорошо знаю, как рассчитаны ветераны, как берегут они силы. А неумевая юность, как ей и положено, горяча. Приход в команду молодых подстегивал и ветеранов, заставляла их работать в полную силу, заставляла их отдавать все, что они имели. В пены сборной вливались мо-



Три «молодых ветерана» советской сборной: № 11 — Юрий Корнеев, № 13 — Геннадий Вольнов, № 12 — Александр Петров.

лодая, горячая кровь, пульс команды бился учащеннее.

Мы всегда стремились освободить место в команде для молодого за счет того игрока, который уже не может или не хочет расти. Так, например, когда в сборную пришел Виктор Зубков, он был слабее Альфредаса Лауритенаса. Но мы были убеждены в том, что Лауритенас уже достиг своего потолка, а Зубков еще будет расти и расти.

Не считайте меня, однако, врагом ветеранов. Разве можно упрекнуть в чем-нибудь 34-летнего Арменака Алачачяна? Да и разве скажешь, что этому игроку уже 34 года? Возраст может узнавать только тот, кто увидит его паспорт. На площадке же ему не больше 25 лет. Такие ветераны как

раз и нужны команде. Они отличные учителя для новобранцев.

У сборной СССР за 17 лет ее существования ни разу не было даже намека на кризис. Ни разу не было в команде такого положения, при котором половина игроков была бы опытная, но уже заканчивала карьеру, а другая в это время только делала свои первые, робкие шаги. И это стало возможным только потому, что у нас были «молодые ветераны». Это они ни разу не позволили команде состариться...

Я не случайно завел этот разговор накануне XVIII Олимпийских игр. Мне кажется, что мы должны готовиться не только к тактическим сражениям, но и к тем, которые предстоит вести через несколько лет.

Не буду лезть в чужой монастырь со своим уставом, не буду навязывать нынешним тренерам сборной СССР Александру Гомельскому и Юрию Озерову кандидатуры будущих олимпийцев. Это тем более ни к чему, что в апрельском матче нашей сборной против сборной США удачно выступил игрок из команды юниоров Модестас Паулаускас. Всеобщее одобрение вызывает игра Василия Окипняка, киевского гиганта, который, верю, станет достойным преемником наших лучших центровых. Разговор идет не о конкретных игроках. Дело в самом принципе.

У команды никогда не бывает последнего турнира. Поэтому никогда нельзя жить только сегодняшним днем.





И В ШАХМАТАХ ЕСТЬ КОМПОЗИТОРЫ...

Составление задач и этюдов — искусство не менее интересное, чем практическая игра. И как во всяком искусстве, здесь есть свои законы, школы, жанры. Каждая задача или этюд — это придуманная позиция с определенным заданием: мат в два, три, четыре хода, выигрыш, ничья и тому подобное. В этюде не может быть ни одной лишней фигуры или пешки, все должно быть обязательно учтено в игре. В основе всякой композиции должна лежать интересная идея, ради которой и составлена задача или этюд.

Часто композицию называют «позицией шахмат» — в отличие от суровой прозы практической игры. И действительно, в задаче или этюде можно осуществить самую парадоксальную, самую неожиданную комбинацию. «Шахматная композиция», — писал заслуженный мастер спорта П. А. Романовский, — это глубоко эмоциональное искусство. Она полна ярких образов, раскрывающих перед ее исследователем всю глубину комбинационного творчества, все его беспредельное многообразие».

Именно за эти особенности любил шахматную композицию В. И. Ленин. В минуты отдыха он с большой охотой и удовлетворением решал задачи, и этюды.

Советская шахматная композиция сформировалась и развивалась стараниями А. В. Галицкого (1863—1921), А. А. Троицкого (1866—1942), А. И. Куббеля (1891—1942) и других наших замечательных мастеров. Характерно, что А. А. Троицкому в 1928 году за блистательные шахматные композиции было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.

Любителям шахмат хорошо известны имена молодых советских гроссмейстеров М. Талля, Б. Спасского, Е. Корчного, Л. Полугаевского, Е. Васюкова. Но, к сожалению, немногие знакомы с молодыми талантливыми мастерами шахматной композиции. А за по-

следние годы на всесоюзных и международных конкурсах заслуженных успехов добились Я. Владимиров, Э. Лифшиц, Э. Потосян, В. Руденко, В. Чепижный и другие.

Наши молодые композиторы, принимая участие в Олимпийских конкурсах, внесли свой весомый вклад в советскую «олимпийскую копилку». На Олимпийском конкурсе 1960 года, в котором участвовали композиторы из 31 страны, по разделу двухходовых задач золотую (в соавторстве с Л. Лошинским) и серебряную медали завоевал В. Чепижный; по разделу трехходовых серебряную медаль получила Я. Владимиров, а бронзовую — В. Чепижный (в соавторстве с Л. Лошинским). Следует отметить, что и остальные медали по этим разделам, а также все медали по разделу этюдов завоевали советские мастера.

Рассмотрим несколько задач, составленных молодыми композиторами.

Яков Владимиров в 1963 году с отличием окончил Московский университет и оставлен в аспирантуре. Он уже дважды выполнил норму мастера спорта по шахматной композиции. Я. Владимиров работает главным образом в области трех- и четырехходовых задач. Вот одна из ранних его композиций, получившая второй приз на международном конкурсе памяти М. И. Чигорина. Эта задача-миниатюра обошла всю мировую шахматную печать (диаграмма 1).

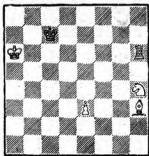
Красивый первый ход 1. Се6! отдаст черному королю еще два поля (двумя свободными полями он располагает в начальном положении); основные варианты получатся при ходах черного короля на освобожденные поля: 1... Крd5 2. Кf5 Крc7 (или Крc5) 3. Лh8 (Лh4) Крb6 4. Лc8 (Лc4) X.

Еще красивее второй главный вариант: 1... Крb6 2. Крb6 Крe5

3. Се4! Крe4 4. Леб X. Но этим не исчерпывается содержание замечательной задачи, она имеет «близнецов»: надо переставить белую пешку с поля e3 на поле c3, и получится новая задача с новым решением. Новую задачу решает ход 1. Кg6 — (снова черному королю отдаются два свободных поля) Крc6 2. Ке7+ Крc7 3. Кd5+ Крd8 4. Лh8 X. И второй вариант с тихими, без шахов, ходами: 1... Крd6 2. Крb6 Крd5 3. Лh4 Крd6 4. Лd4 X.

Во многих задачах белый король — фигура бесполезная: его надо оберегать от нападения, то есть вводить в задачу лишние фигуры и пешки, которые утяжеляют позицию, а в идейной игре участия не принимают. Но есть такие задачи, в которых белый король — главная фигура: К числу

Диаграмма 1



Мат в четыре хода.

таких редких композиций принадлежит эффектная задача, приведенная на диаграмме 2. После ошеломляющего первого хода 1. Кр :с7!! создается неочевидная угроза: 2. Кd2+ Крc5 3. Ф :b6 X. Но белый король теперь поддается наскокам черных фигур, проследите внимательно за его выпадами, остроумными и уничтожающими:

1... Аg7+ 2. Крd6! Лd7+ 3. ed X.
1... Аc5+ 2. Кр :b6! Аc6+ 3. be X.

1... Се5+ 2. Крc6! (грозит 3. Кd2 X) Сс3. А :c3 X.

Виктор Чепижный, окончивший механико-математический факультет, работает в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. Несмотря на молодость, он своей эрудицией, скромностью и выдающимися успехами на любимом поприще снискал всеобщее

Диаграмма 2



Мат в три хода.

уважение и доверие наших шахматных композиторов. Чепижный избран капитаном сборной команды проблемистов СССР.

Молодой капитан охотно создает двухходовые и трехходовые задачи. Оригинальную идею он облачает в безупречную форму, что, как известно, в любом искусстве требует долгих поисков, о которых неискушенная публика может только догадываться. Зато находка — единственная и неповторимая — покоряет и умудренных знатоков и начинающих.

На диаграмме 3 — двухходовая В. Чепижного, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийском конкурсе.

Попытаемся решить задачу ходом 1. Сg5 (угрожая 2. Ae3×); если черные защищаются 1... Сb6, то 2. Kg6× (слон перекрыл свою ладью e6); если 1... g6 (освобождая королю поле f5), то 2. Кс6× — пользуясь тем, что черные перекрыли пешкой линию

Диаграмма 3



Мат в два хода.

действия своего ферзя. Но черных — есть единственный ход 1... Фg6! и мат нет. Значит, попытка 1. Сg5? несостоятельна. Задача решается ходом 1. Kg4! (угрожая 2. Кс5×). От этой угрозы черные защищаются ходами, знакомыми нам по первой, неудачной попытке:

1... Сb6 (или 1... Ag6) 2. Cf6×, перекрывая линию действия черного ферзя (или одновременно ладьи и ферзя),

1... g6 (или 1... Фb6) 2. Cd6×, перекрывая линию действия черной ладьи (или одновременно ферзя и ладьи).

Валентин Руденко — первый из молодых проблемистов, кому Международная шахматная федерация (в 1961 году) присвоила звание международного мастера по шахматной композиции.

В. Руденко окончил механико-математический факультет Днепрпетровского университета, занимается композицией с 1953 года. Он с одинаковым успехом работает во всех жанрах шахматной композиции: в области задач двухходовых, трехходовых, многоходовых и в области этюда. Многие задачи В. Руденко составил в сотрудничестве со своими товарищами.

Диаграмма 4



Выигрыш.

земаками В. Чепижным, Э. Лифшицем и другими.

В этюде, изображенном на диаграмме 4, казалось бы, «битая ничья», но белые серией единственных ходов добиваются победы: 1. a6 Cf4! 2. b6! c6 3. Kpb5, e4 4. a7! (если: 4. С: e4? Сb8 5. Kp: b6 Cf4 и ничья) e3. Обе стороны одновременно проводят пешки в ферзи, и теперь уж, кажется, ничья неминуема. Но 5. Ch1!! e2. 6. Фа8 Fe1 7. Фf3+

Диаграмма 5



Мат в четыре хода.

Kpg1 8. Фg2×. Белый слон как бы прокладывает путь для будущего белого ферзя. Этот прием, так удачно представленный в настоящем этюде, называется «темой прокладки пути» и встречается сравнительно редко.

В шахматной композиции есть любопытная область — так называемые «сказочные шахматы», где существуют новые фигуры — «сверчки» и «всадники».

На диаграмме 5 коллективная задача (авторы В. Руденко и В. Чепижный), получившая первый приз на 3-м конкурсе Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На поле b1 «сказочная» фигура — «сверчок», который ходит, как ферзь, но не по свободной линии, а обязательно перескакивая через фигуру (безразлично, свою или чужую) и становясь на следующее за ней поле. В позиции на диаграмме белый сверчок может пойти на поле b3 или взять черную пешку g6; других ходов у него нет. Задание в этой позиции — «обратный мат в 4 хода» — кажется нелепым: у белого короля восемь (!) свободных полей, черные могут играть пешкой на три разных поля, что усложняет задачу белых. Посмотрим решение: 1. Kpf2 — выжидательный ход. Теперь, в зависимости от ходов черной пешки, получаются три неожиданных варианта:

1... gf 2. Kpf1 f4 3. Сверчок b1—f1 f3 4. Фd1 f2×.

1... g5 2. Kpf1 g4 3. Сверчок b1—g1! g3. 4. Фe1 g2×.

1... gh 2. Kpg1 h4 3. Сверчок b1—h1! h3 4. Фf1 h2×.

Три изысканных «эхо-мата» (варианты, в которых на разных полях повторяется аналогичная матовая картина, называются эхо-матами), содержащиеся в этой задаче, возможны благодаря свойствам «сказочной» фигуры — сверчка.

В ПРИЕМНОЙ «ПЫЛЕСОСА»

Сегодня у меня приемный день. Я принимаю молодых сатириков. На моих дверях висит объявление: «Примем со 106-й по 109-ю страницу». Снизу жду. Молодые сатирики долго не появляются. Пишут. А может, просто стесняются показать то, что написали. Я удобно устраиваюсь в кресле и начинаю думать о сатире. Думаю, думаю, думаю....

Вдруг слышу, хлопнула дверь. Поднимаю глаза — двое молодых людей с рукописями в руках смотрят на меня. Один с длинными прямыми волосами, а другой с едва заметной бородной.

- Здравствуйте, — говорю я.
- Здравствуйте, — говорят они.

— Садитесь, — приглашаю я.

Садятся.

— Вы молодые сатирики?

— Да, — скромно отвечают юноши.

— В «Юности» ни разу не печатались?

— Ни разу

— Очень хорошо. Вы-то как раз нам нужны. Ваши фамилии?

— Гоголь и Щедрин, — отвечали юноши.

Я уже вижу целую толпу гоголей и щедриных. Они напирают на меня и протягивают ручки. Собираю последние силы и кричу:

— Товарищи! Я так не могу работать! Не все сразу. Гоголи, пожалуйста, приходите в четные дни, щедрины — в нечетные.

— Войдите, — осторожно говорю я.

Входят пятеро юношей с рукописями в руках.

— Как ваши фамилии? — сразу спрашиваю я.
— Пургалин, Дробиз, Самойлович и Кашаевы

Так я познакомилась с пятью молодыми са-
чатаются на страницах нашего Журнала.

Галка ГАЛКИНА



Галка ГАЛКИНА

Герман ДРОБИЗ



оля сидел на лекции по гидравлике и скучал: лектор, по его мнению, переливал из пустого в порожнее. Коля загрузил и начал мурлыкать модную песенку:

Я люблю тебя, Катюша,
Послушай,
Вот случай!
Где найдешь такого мужа?
Послушай,
Я лучший!

Эти строчки настолько понравились Коле, что он достал нож и вырезал на нижней полке своего стола первую фразу: «Я люблю тебя, Катюша». Это категорическое заявление как будто бы не налагало никакой ответственности. Но наутро Коля обнаружил в сто-

СТРОКИ ЛЮБВИ

по записку: «А вас как зовут?»

Коля умел мыслить последовательно. Он понял, что во вторую смену за этим столом сидит вполне осязаемая, предельно конкретная девушка Катюша. Легкомысленное послание запало в ее доверчивое сердце. «А вас как зовут?» Коля долго размышлял: ответить или не ответить? Наконец, взялся за нож и аккуратно вырубил: «Николай». Подумал и добавил: «Надо встретиться».

С этого дня ящик стола стал почтовым.

«Согласна. Но как?» — гласила записка.

«Заклейте координаты!»

«Не понимаю, какие координаты?» — вопрошала записка.

«Боже, ну и дура! (Тщательно соскреблено.) «Имелось в виду свидание — где, когда».

«Поняла. Сегодня, в восемь вечера, у библиотеки».

Ровно в восемь у дверей библиотеки к Коле подошла ослепительной красоты девушка. Три серьезных молодых человека следовали за ней.

«Соперники — это даже интересно», — подумал Коля, сжимая в кулаке записку, и ласково прошептал:

— Вот вы какая... Здравствуйте, Катюша!

— Здравствуйте, Коля,— сказала Катюша.— Вообще-то я не Катюша.

— Здравствуйте, Коля,— сказали три молодых человека.— Вообще-то мы из рейдовой бригады по охране институтского имущества.

— Ремонт стола, Коля,— добавила не Катюша,— стоит десять рублей.

ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ



сли бы всем нам выдали дополнительную стипендию, мы не были бы так ошарашены: застрашенный экзамен по физике будет принимать у нас электронная машина!

Утром работники кафедры автоматических устройств внесли в экзаменационную аудиторию металлический шкаф с множеством кнопок, шкал, экранов и лампочек. Они водрузили его возле стола и подключили к электросети. Молодой аспирант сел в отдалении — следить, чтобы не было подкасок. Чудовище свернуло желтым взглядом, расположенным там, где у нормального человека находится нуп, и четко произнесло:

— Доброе утро, товарищи! Прошу ответить. Кто первый?

Наступила пауза. Никто не хотел идти, как теперь уже было ясно, на верную гибель: машину не разжалобишь — железные нервы.

В этот момент дверь открылась, и в аудиторию ворвалась Зойка, наша знаменитая растяпа и лентяйка Зойка, которая, как всегда, опоздала. Вчера она вообще не приходила в институт и ничего не знала о новом экзаменаторе.

Не успела она опомниться, как мы посадили ее к машине, нажав кнопку, чудовище прочитало Зойкин билет и сказало:

— Слушаю вас, товарищ.

Зойка принялась плести полнейшую чепуху, и после каждого ее ответа машина чеканила:

— Неверно. Дальше.

— Я вас боюсь, у меня мысли путаются, — захныкала Зойка.

В недрах машины раздалось легкое подобие вздоха.

— Спросите еще, — канючила Зойка.

— Хорошо. Самый простой вопрос. Объясните принцип моего устройства.

— Принцип вашего устройства? — задумалась Зойка. — Вы знаете, что я вам скажу?.. Я вам откровенно скажу: в принципе вы устроены хорошо. И даже здорово.

Механическая рука экзаменатора раздраженно пробарабанила пальцем по столу:

— Но что я такое?

— Подскажите первую букву, — предложила Зойка.

— Ну, ээ...

— Элегантность — это да, это у вас есть!

— ...тель! — подхватила Зойка. — Правильно! Великие преобразователи физики: Эйштейн, Галилей, Ньютон. Хотите, расскажу пятый закон Ньютона?

— Пя-то-го-нет! — Стрелки всех шкал машины ушли за красную черту.

— Тогда шестой.

— И-шес-то-го-нет! — прохрипела машина,



мигая тремя рядами лампочек.

— А вы не придирайтесь! — Зойка всхлинула. — Конечно, вы преобразователь, но ведь и я человек! Я очень люблю физику! — Что-та-ко-е-фи-зи-ка?

Сильнейшая вибрация сотрясала экзаменатора.

— Фи-зи-ка... это такой учебник... очень толстый... я его очень, очень люблю... — И Зойка заплакала навзрыд.

— А ну вас к черту! — проревела машина, шлепая «уд» в Зойкину занотку. — С вами все диоды посадишь!.. Эй! Кто-нибудь! Отнесите меня обедать!



Воображение Нади Рушевой

Впервые о Наде Рушевой я услышал от ее подружек по художественной студии в Московском Дворце пионеров, что на Ленинских горах.

— Ой, вот у нас одна девочка до чего интересно рисует! — рассказывали они. — Ею руководит Людмила Александровна Магницкая. Нет! Вы бы посмотрели, как она работает! А ей только двенадцать лет! И знаете, она рисует все по воображению...

А потом мне позвонили из редакции «Юности»:

— Не хотите ли посмотреть работы одной девочки? Очень занятные рисунки.

Там я и увидел множество чрезвычайно выразительных и удивительных по точности художнического зрения рисунков, которые отбирались для выставки (ими были завалены все столы, стулья и диван в редакционном кабинете). Ныне несколько из них воспроизведено в этом номере журнала. Меня познакомили с автором этих рисунков — худенькой чернявой длинноростовой девочкой, молчаливо и как-то отчужденно, безразлично слушавшей все, о чем громко и восхищенно толковали писатели, редакционные сотрудники, журналисты, перебиравшие ее рисунки. Оказалось, что это и была Нади Рушева.

Вскоре я побывал дома у Нади, и ее родители Наталья Дойдаловна и Николай Константинович показали мне еще многие десятки ее рисунков, которые буквально заполнили и комнату и шкафы.

Я застал Надю за рисованием. Она рисует целые дни. Все свобод-

ное время. Рисует «по воображению». А оно, воображение это, у нее поразительно емкое и дальноразное.

Когда Нади была в редакции, ей показали обломок античного барельефа — подарок Маноласа Гlezоса редактору журнала Б. Н. Полевому. На осколке изображен старик, вся фигура и поза которого



выражают тяжкую скорбь... (См. снимок сверху)

Пока все разглядывали работы Нади, она успела сделать два рисунка (вы видите их на этой странице), воспроизводящие в двух вариантах то, что отсутствует на обломке, и с отличным ощущением стили и настроения домыслила древний сюжет.

Началось это давно. Мне показали фотографию. Снимок сделан был, когда Наде исполнилось пять лет. И под снимком записано то, что услышал фотограф, незаметно снимавший Надю за рисованием. Она рисовала и приговаривала, вглядываясь в то, что возникало на бумаге: «Какая-то слона получается... Или нет! Это, пожалуй... пароход. Ах, нет, нет! Это печка. А Емелка две подушки положил и ушел...» Игра воображения шла и запечатлевалась на бумаге.

Так это и считалось игрой.



Но потом, когда Наде исполнилось уже восемь лет, Николай Константинович, сам по профессии художник, увидел, что рисунки Нади — это не просто игра, а утоление какой-то все возрастающей творческой потребности. И родители стали относиться к рисованию Нади с осторожным, не назойливым, но заинтересованным и поощряющим вниманием.

А она рисовала. Изображала героев сказок, греческих мифов, которые ей любила читать отец. Как, например, интересно и комично представляло ее воображение всю историю с Троянским конем или подвиги Геракла! Какие точные зарисовки людей, животных, жанровых сценок с многочисленными и разнообразнейшими персонажами подсказывала ей по-настоящему художническая зрительная память!

С декабря 1962 года Надя Рушева стала заниматься в студии Дворца пионеров. Наставница Нади Людмила Александровна предоставляет ей полную свободу воображения, давая лишь организующие задания, которые помогают Наде развивать ее великодушную творческую фантазию. И Нада рисует с неутолимым рвением.

Воображение у нее действительно неиссякаемо. В прошлом году на страницах «Пионерской правды» печатались ее иллюстрации к повести польского писателя Тадеуша Ункевича «Эльмис профессора Рембовского». И Нада сумела по своему разглядеть и изобразить таинственный и чудодейственный «Электромикроскоп», действующий в повести. Она без конца придумывает необыкновенные маскарадные костюмы, и ее эскизы часто используются в пионерских карнавалах на Ленинских горах.

Вы видите на страницах «Юности» некоторые из ее работ. Я не художник и, возможно, допущу какие-то неточности в оценках, но меня прежде всего поразило в работах Нади Рушевой необыкновенное, почти волшебное композиционное чутье, чудесный глазомер, позволяющие Наде с безошибочной точностью построить рисунок, расположить его на пространстве любой формы так, что кажется, лучше уж и нельзя сконструировать изображение. Благодаря этому рисунки, хотя сделала их 11—12-летняя девочка, кажутся в чем-то артистически законченными.

Вас, вероятно, как и меня, захватит тематическое разнообразие этих рисунков, бросакая сила изображения, изысканная компоновка сцен, вагальная убедительность мгновенно схваченных жестов, сво-



Встреча.



Базар в Элладе.



Олени.

бодная и в то же время реалистическая грация каждой фигуры. Под всеми студийными домашними работами Нади написано: «Рисунок по воображению». Да, все сделано не с натуры — это пока еще Нада как раз делать не умеет; ее учебные школьные рисунки ничем не отличаются от работ других ребят в классе. Но творческое воображение у нее на самом деле многообещающее. Сколько движения и яркости в ее «Боксерах», выставленных на стендах «Юности». С каким ироническим пригладом рассмотрела она «Модниц!» Как изыскан полудетский бег оленей!

Или вот лошади и девочка из другой, уже русской сказки; младенец, выглядывающий из колыбели. Музыкальное движение гимнасток, изображенных смелым сочетанием техники пера и заливки тушью. Струщиеся складки одежды на фигурах «Базара в Элладе». Пленительно, с добрым вниманием нарисованные телята и телата. Подсказанные жаждой фантазией нашей юной современницы марсианки и космонавты... Какое разнообразие сюжетов, какой диапазон выдумки и воображения, какие точные зрительные представления!

Обратите внимание на то, что ни у одного из персонажей, изображенных на рисунках Нади, не запечатлены уши. Автор рисунков старается найти такие ракурсы, чтобы можно было обойтись без ушей. Уши вообще решительно не нравятся Наде. «Самое некрасивое у человека», — утверждает она.

Долгое время Нада отказывалась и от цвета. Краски мало интересовали ее. Ей казалось, что они мешают передавать форму и движение. Воображение подсказывало ей черно-белые образы. Но постепенно пестрота и яркость мира, в который так зорко выглядывается Нада, заставляли ее попробовать и краски. Она обращается с ними очень своеобразно, как бы доверяясь цветовой пятнам, смутно расплывающимся на влажном фоне. Вы можете убедиться в этом, взглянув на 3-й страничке обложки журнала ее акварель «Маугли».

«А что будет дальше? — слышу я естественный вопрос читателя. — Станет ли Нада настоящей художницей? И надо ли ей учиться? Не помешает ли это ей, не стеснит ли ее воображение?»

Дальнейшее, несомненно, зависит и от самой Нади и от тех, кто будет помогать росту ее творческого умения, работая с ней бережно, думчиво, не захлебываясь в последних восторгах и предвещая к чрезвычайно одаренной де-



Из сказки собственного сочинения.



Маша пашет...



Гимнастка с обручем.

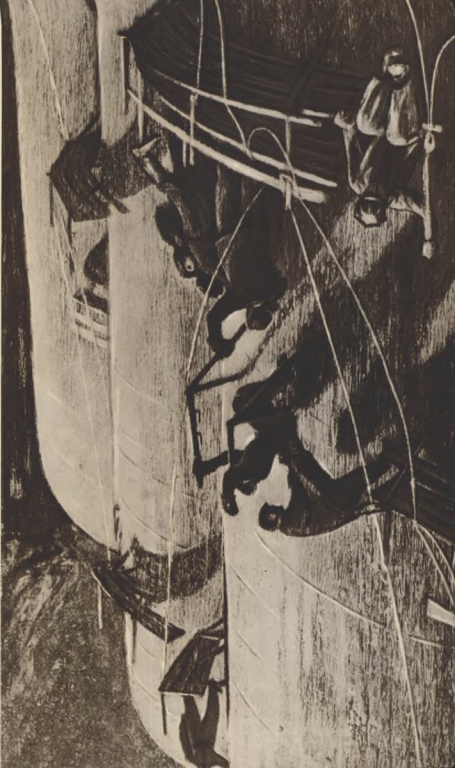
вочке требования, соответствующие ее немалым возможностям. Один из старших наших художников, прославленный анималист Василий Алексеевич Ватагин, по раз видевший работы Нади и высоко их оценивший, написал на одном из рисунков: «Все хорошо, но старайся лучше».

Нада рисует сегодня «по воображению». Детская непосредственность счастливо сочетается у нее со свободой представлений, подсказанных живым ребячьим чувством и зоркой памятью. Но все это лишь первые шаги на трудном и долгом пути к подлинному мастерству. Чтобы стать настоящей ху-

дожницей, Наде предстоит еще долгие годы работы и учения. Один из известных московских художников-педагогов, П. П. Пашков, придерживавшийся в работе с ребятами принципов известной школы Чистякова, любил говорить своим питомцам: «Сначала воображение, потом соображение и, наконец, изображение».

Рисунки Нади Рушевой сегодня позволяют говорить о ее чудесном памятном воображении и перл, что в будущем она сумеет обрести два других необходимых для зрелости компонента мастерства, о которых говорил старый художник.





Ю. АТЛАНОВ.

С участием приглашенный молодой художник, окончивший Московский институт имени В. И. Сурикова.

Высотинки.

На стендах
«ЮНОСТИ»

О выставке рисунков
школьницы V класса
Нади РУШЕВОЙ
смотрите материал
в этом номере.



Иллюстрация к «Маугли».

Надя РУШЕВА.

Иллюстрация к сказке «Аленький цветочек».





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120